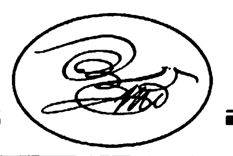
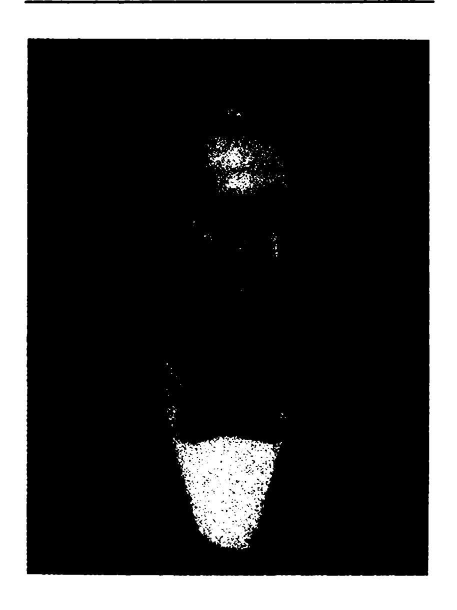


СТАРЫЙ
ПУШКИНИСТ



П. В. Анненков

Пушкин в Александровскую эпоху

МИНСК «ЛИМАРИУС» 1998

УДК 947.0:82.09+929 Пушкин
ББК 63.3(2)
А 68

Серия «Старый пушкинист» основана в 1997 г.

Председатель редакционного совета серии И. Е. Егоров
Составитель серии А. И. Гарусов
Оформление серии Г. И. Мацур

Тексты работ П. В. Анненкова печатаются по изданиям:

1. Анненков П. В. «А. С. Пушкин в Александровскую эпоху» — Спб., 1874.
2. Анненков П. В. «Общественные идеалы Пушкина» // Вестник Европы. — 1880, №6 — Стр. 595—637.
3. Анненков П. В. «К истории работ над Пушкиным» // П. В. Анненков и его друзья: Литературные воспоминания и переписка. — Спб., 1892 — Стр. 383—485.

Анненков П. В.
А 68 Пушкин в Александровскую эпоху /Сост. А. И. Гарусов. — Мн.: «Лимариус», 1998. — 360 с.

ISBN 985-6300-04-5

ББК 63.3(2)+84(2)

ISBN 985-6300-04-5

К ЧИТАТЕЛЮ

Настоящим томом издательство «Лимариус» начинает выпуск библиотеки «Старый пушкинист», посвященной 200-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

За время, прошедшее со дня выхода в свет «Материалов для биографии Александра Сергеевича Пушкина», — написанной Павлом Васильевичем Анненковым первой биографии величайшего русского поэта, — появилась целая отрасль гуманитарного знания — пушкинистика. Среди тех, чьи труды входят в ее золотой запас, — Петр Бартенев и Виктор Гаевский, Павел Щеголев и Юрий Тынянов, Михаил Гершензон и Борис Томашевский, Мстислав и Татьяна Цявловские. Они начинали изучать творчество Пушкина в конце прошлого и начале нынешнего века. Их произведения, значительная часть которых не переиздавалась со времени первой публикации, тем не менее хорошо известны специалистам, имеющим доступ к большим библиотечным фондам. Но есть огромный слой читательской аудитории, которые знакомы со многими работами этих и других выдающихся пушкинистов лишь по сноскам в изданиях книг современных исследователей, по статьям в энциклопедиях и справочниках. А ведь читателей, любящих Пушкина, интересующихся его творчеством, — миллионы. Это не только профессиональные ученые — филологи и историки, но и школьные учителя, студенты, просто читатели. Спрос на качественную, классическую «пушкинистику» не ослабевает.

Вот почему сегодня многие издательства в самой России и в других странах СНГ пытаются удовлетворить этот спрос. Переизда-

но «большое» академическое собрание сочинений поэта, начат выпуск доброго десятка «Пушкинских библиотек». Но мы надеемся, что книги нашего издательства не затеряются среди них и найдут своего читателя.

В перспективном плане библиотеки «Старый пушкинист» — около трех десятков томов, каждый из которых посвящен творчеству одного из классиков русской пушкинистики. Первый том, который вы, читатель, сегодня держите в руках, посвящен творчеству первого русского пушкиниста — Павла Анненкова. На выходе из типографии следующие тома библиотеки, в которых собраны работы Петра Бартенева, Павла Щеголева и Виктора Гаевского. При их подготовке редакторы-составители стремились прежде всего не только дать читателю максимальное представление об их творчестве, но и включить в состав томов те произведения, которые длительное время не переиздавались. Особо хочется отметить том посвященных молодому Пушкину и Дельвигу работ Виктора Павловича Гаевского, которые никогда не выходили в свет отдельной книгой и не перепечатывались после их журнальных публикаций в XIX веке.

Составляя тома избранных работ Павла Елисеевича Щеголева и Михаила Осиповича Гершензона, наши редакторы стремились переиздать не только их произведения, посвященные собственно Пушкину, но и труды, рассказывающие о пушкинских современниках, людях, с которыми общался поэт и без кого мы не представляем себе полной пушкинской биографии. Таким образом мы надеемся помочь читателю полнее реконструировать в своем сознании пушкинскую эпоху, время, ставшее частью нашей общей Истории.

Издательство «Лимариус» будет радо, если наш проект получит своего читателя, а читатель (и профессиональные пушкинисты в том числе) откликнется предложениями к дальнейшему сотрудничеству по пропаганде творчества Пушкина и его эпохи.

С уважением
Марина ШИБКО,
директор издательства «Лимариус»

ПУШКИНСКАЯ ТРИЛОГИЯ П.В.АННЕНКОВА

Имя Павла Васильевича Анненкова принадлежит к плеяде тех замечательных деятелей русской культуры прошлого столетия, которые после 1917 года были преданы почти полному забвению. Если не считать переизданного в 1928 году томика его «Литературных воспоминаний», быстро ставших библиографической редкостью, да мемуаров о встрече с Н.В.Гоголем в Риме в 1841 году, об Анненкове обычно упоминали только в связи с А.В.Дружининым и В.П.Боткиным как об одном из оппонентов революционеров-демократов. Попытки представить его объективный портрет носили единичный характер, а их результаты становились известны только узкому кругу специалистов[1].

Положение стало меняться к лучшему в 80-ые годы, когда начинают переиздаваться сперва отдельные литературно-критические статьи Анненкова, затем его «Литературные воспоминания», «Парижские письма» и, наконец, в 1984—85 гг. дважды переиздаются его «Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина». Опубликованные большим тиражом, снабженные обстоятельными вступительными статьями и комментариями, эти книги не только расширили представление современного читателя о литературной и общественной жизни России и Западной Европы почти за три четверти минувшего столетия, но и представили крупным планом портрет своего автора. Тем не менее, возвращение П.В.Анненкова в со-

---

[1] См.: Егоров Б.Ф. Эстетическая критика без лака и дегтя: В.П.Боткин, П.В.Анненков, А.В.Дружинин // Вопросы литературы. — 1965. — № 5.

временную культуру нельзя считать целиком состоявшимся. И дело здесь не только в том, что переиздано далеко не все его литературно-критическое наследие, но и в том, что из самой ценной части его исследований — из его пушкинистики — читателю-современнику доступны лишь уже упомянутые «Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина».

Между тем сама эта работа является только частью пушкинских штудий Анненкова. Подготовленные к 1853 и изданные в 1855 году, «Материалы...» первоначально были задуманы их автором как завершенное исследование биографии и творчества великого русского поэта. Однако немало документов, собранных Анненковым в процессе работы над «Материалами...», осталось за его пределами. Причины, по которым это произошло, носили не творческий, а цензурный характер. Сам Анненков, несмотря на восторженные оценки современников, осознавал неполноту публикуемой им биографии и объяснял это в письме к известному историку М.П.Погодину давлением внешних обстоятельств: «Что в молодости и кончине (А.С. Пушкина — И.Е.) есть пропуски — не удивляйтесь. Многое даже из того, что уже напечатано и известно публике, не вошло и отдано в жертву для того, чтобы, по крайней мере, внутреннюю жизнь поэта сберечь целиком»[1].

Каков был характер внешних обстоятельств, подтолкнувших первого биографа Пушкина на пропуски «в молодости и кончине» поэта, можно судить по опубликованным им в семидесятых годах мемуарным запискам «Любопытная тяжба». Заметки эти посвящены истории борьбы Анненкова с цензурным комитетом в пору подготовки им собрания сочинений Пушкина. Воспроизведем только один, но вполне характерный эпизод этой борьбы, связанный с пушкинской статьей «Российская академия».

Цензурный комитет, в частности, запрещает публикацию пушкинской выписки из журнала «Собеседник любителей русского слова» за 1783 г., где приводятся вопросы Д.И.Фонвизина и ответы на них императрицы Екатерины II: «Вопрос фон-Визина: Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне имеют и весьма большие? Ответ: Сей вопрос родился от свободоязычия, которого наши предки не имели.» Издатель (Анненков) разъясняет цензорам: «Первое есть выписка из старого журнала, в котором уча-

[1] Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П.Погодина: В 22 т. — СПб, 1888—1910. — T.XIV. — С.170.

ствовала, как небезызвестно, сама императрица Екатерина II. На дерзкий и неосновательный вопрос фон-Визина она возразила строго, что заставило, как тоже небезизвестно, самого фон-Визина просить прощения в неосмотрительности своей»[1]. Несмотря на эти разъяснения издателя, цитата из вполне благонамеренного журнала минувшего столетия цензурой окончательно отвергается.

В таких условиях нечего было и думать ни об изложении даже в самой лояльной по отношению к правительству форме умонастроений Пушкина периода южной и северной ссылок, ни о последних годах его жизни, прошедших в атмосфере глухой неприязни властей к поэту. По свидетельству брата пушкинского биографа Ф.В.Анненкова, многочисленные документы, собранные в начале 50-х годов, уже первоначально разделялись на два свода — документы «для сведения» и документы «для печати». Первый из них пролежал под спудом почти двадцать лет, пока в начале семидесятых годов П.В.Анненков не получил возможность заполнить «пропуски в молодости» Пушкина, подготовив фундаментальную работу «Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху. По новым документам.» Опубликованная сперва в «Вестнике Европы», в 1874 году она вышла отдельной книгой. Спустя шесть лет, в 1880 году, в том же «Вестнике Европы» Анненков публикует крупную статью «Общественные идеалы А.С.Пушкина. Из последних лет жизни поэта», заполняя таким образом последний «пропуск» в своей пушкиниане. Издаваемые с большими интервалами на протяжении четверти века, три этих исследования, тем не менее, обладают большим внутренним единством и целостностью, которые объясняются не столько единством предмета, сколько единством метода исследования и личности исследователя.

Сущность этого метода П.В.Анненков изложил в предисловии ко второй биографической книге о Пушкине, полемизируя со своими оппонентами: «По всему смыслу их возражений и обвинений необходимо заключить, что, в их мысли, образы замечательных людей русской земли должны быть создаваемы на каких-либо особых основаниях, а не на истине и неопровержимых фактах. Мы протестуем всеми нашими силами против этого растлевающего учения и думаем, основываясь на успехах общественного нашего развития, что такое учение мало найдет себе последователей в среде читающей нашей

[1] П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка 1835—1885 годов. — СПб, 1892. — С.420—421.

публики, в какой бы скрытой или наружно-благовидной форме ей ни предлагалось»[1].

То, что пушкинская биография Анненкова основана на «неопровержимых фактах» — рукописях поэта, периодике его эпохи, мемуарах современников, — стало одной из причин, обеспечивающих ей долгую жизнь. Одной, но не единственной. При всей своей неприязни к доктринерству, подчиняющему преднайденной идее всю полноту противоречиво-богатой действительности, первый биограф Пушкина был столь же решительным противником позитивизма.

В черновом варианте предисловия ко второй части своей пушкинской трилогии Анненков писал: «Достоинство и правда каждого жизнеописания состоят вовсе не в верности его слагаемых разноречивым историческим законам, собранным им (биографом — И.Е.) о лице, а в верности собственному своему представлению лица, которое возникло или должно было возникнуть у него при разборе этих данных, и потом в живой передаче своего представления. По крайней мере, все европейские биографии, способствовавшие водворению того или иного понимания замечательных лиц западной цивилизации, достигали предложенных ими целей не иначе, как осуществляя тип или идеал, сложившийся в уме их автора при изучении источников для своего труда»[2].

Может показаться, что две декларации анненковского исследовательского метода — верность «неопровержимым фактам» и «верность собственному своему представлению» — отражают непоследовательность и противоречивость мышления первого пушкинского биографа. Таким непоследовательным оно представлялось и многим его современникам. По свидетельству А.Я.Панаевой, И.С.Тургенев однажды сказал: «Заметили ли вы, господа, что от Анненкова никогда не услышишь его собственного мнения. Я часто для потехи говорю ему одно, и он глубокомысленно поддакивает, через несколько времени говорю другое, и он опять поддакивает»[3]. Аналогичное впечатление сохранилось и в памяти Л.Н.Толстого: «Анненков весел, здоров, все так же умен, *уклончив*...» (выделено мною — И.Е.)[4].

[1] П.В.Анненков. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху. 1799—1826 гг. — СПб, 1874. — С.VIII.

[2] Цит. по: Фин Л.А. П.В.Анненков, первый издатель и биограф Пушкина // А.С.Пушкин. 1837—1937. — Саратов, 1937. — С.142—143.

[3] Панаева А.Я. Воспоминания. — М., 1948. — С.231.

[4] Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 20 т. — М., 1965. — Т.17. — С.176.

Между тем противоречивость, непоследовательность и «уклончивость» Анненкова при более внимательном отношении к нему оказываются мнимыми. Действительно чуждый групповых и партийных пристрастий, способный присоединиться к известной автохарактеристике А.К.Толстого «двух станов не боец, а только гость случайный», Анненков, однако, достаточно рано определил свою общественную и нравственную позицию. В качестве ее декларации можно рассматривать его статью «Литературный тип слабого человека», опубликованную в 1858 году в журнале «Атеней» и явившуюся полемическим откликом в адрес Н.Г.Чернышевского, автора статьи «Русский человек на rendez-vous».

Непосредственным предметом этой полемики, как известно, послужила повесть И.С.Тургенева «Ася», но мысли, которые Анненков высказал по этому поводу, выходят далеко за пределы собственно изящной словесности. В центре анненковских суждений находится оппозиционная пара «цельный характер» — «слабый человек», которые он рассматривает как два полярных типа русского национального характера. «Мы разумеем под «цельными характерами», — пишет Анненков, — тех людей, которые следуют в больших и малых вещах одним потребностям собственной природы, мало подчиняясь всему, что лежит вне ее, начиная с понятий, приобретенных из книг, до мыслей, полученных процессом собственного мозгового развития»[1]. В противоположность им «слабый человек» характеризуется способностью соизмерять «собственную природу» с тем, что «лежит вне ее», с потребностью слушать и слышать не только собственный голос, но и голоса жизни. Не причисляя своего оппонента к «цельным характерам» и не отождествляя себя самого со «слабым человеком», Анненков тем не менее отдает предпочтение последнему: «... круг так называемых слабых характеров есть исторический материал, из которого творится самая жизнь современности. Он уже образовал как лучших писателей наших, так и лучших гражданских деятелей, и он же в будущем даст основу для всего дельного, полезного и благородного»[2].

При всем внешнем несходстве предметов рассуждения в статье о тургеневской повести и в методологическом предисловии к монографии о Пушкине, они внутренним образом связаны. И в том, и в

[1] <Анненков П.В.> Воспоминания и критические очерки. Сборник статей и заметок П.В.Анненкова. Отдел второй. — СПб, 1879. — С.150.

[2] Там же. — С.172.

другом случае Анненков восстает против произвольного конструирования действительности в угоду «каких-либо особых оснований» или «потребностей собственной природы. И то, и другое, согласно его убеждениям, должно органическим образом вырастать из «истины и неопровержимых фактов». Такая позиция сродни пушкинскому мироотношению, высказанному поэтом в «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы»:

Жизни мышья беготня...
Что тревожишь ты меня?
....
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу...

Изучению языка пушкинской жизни и посвятил Павел Васильевич Анненков почти три десятилетия. Теперь плоды этого изучения становятся доступны современному читателю в полном объеме. Нам остается надеяться, что они, говоря словами самого нашего первого пушкиниста, дадут «основу для всего дельного, полезного и благородного» и нынешней культуре.

Игорь ЕГОРОВ



Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху

При составлении этих очерков первых впечатлений и молодых годов Пушкина мы имели в виду дополнить наши «Материалы для биографии А. С. Пушкина», опубликованные в 1855 г., теми фактами и соображениями, которые тогда не могли войти в состав их, а затем сообщить, по мере наших сил, ключ к пониманию характера поэта и нравственных основ его жизни. Несмотря на все, что появилось с 1855 г. в повременных изданиях наших для пополнения биографии поэта, на множество анекдотов о нем, рассказанных очевидцами и собирателями литературных преданий, на значительное количество писем и других документов, от него исходивших или до него касающихся; несмотря даже на попытки монографий, посвященных изображению некоторых отдельных эпох его развития, — личность поэта все-таки остается смутной и неопределенной, как была и до появления этих работ и коллекций. Характеристика поэта, как человека и замечательного типа своего времени, не только не подвинулась вперед с эпохи его неожиданной смерти в 1837 году, но еще спуталась, благодаря тенденциозности одних толков о нем и одностороннему панегирическому тону других. В виду близкого открытия памятника, которым Россия намеревается почтить заслуги Пушкина делу воспитания благородной мысли и изящного чувства в отечестве, на совести каждого, имеющего возможность пояснить некоторые черты его нравственной физиономии и тем способствовать установлению твердых очертаний для будущего его облика — лежит обязанность сказать свое посильное слово, как бы маловажно оно ни было. Исполнению этой обязанности мы и посвятили наш

очерк первого, Александровского периода Пушкинской жизни, — периода, который положил основание всему дальнейшему развитию его идей и направления. Если нам удастся одинаково устранить два противоположных воззрения на Пушкина, существующие доныне в большинстве нашего общества, из которых одно представляет его себе прототипом демонической натуры, не признававшей ничего святого на земле, кроме своих личных или авторских интересов, а другое, наоборот, целиком переносит на него самого всю нежность, свежесть и задушевность его лирических произведений, считая человека и поэта за одно и то же духовное лицо, — то цель очерка будет вполне достигнута. Прибавим в заключение, что мы положили себе правилом не повторять в нем фактов и подробностей, однажды напечатанных, так как полагаем, что русской публике должно быть известно все сообщенное ей об одном из замечательнейших ее соотечественников. В крайнем случае, где мы были приведены ходом рассказа к такому повторению, мы указываем на источники, откуда почерпнули известие. Такому же воздержанию от повторений мы подчинили себя и при изложении литературных мнений, явлений и журнальных споров той эпохи.

Издавая ныне наши очерки отдельной книгой, мы не можем, однако, не сказать несколько слов о той части современной нам журналистики, которая, при первом появлении нашего труда отдельными статьями на страницах «Вестника Европы», устами своих публицистов выразила мнение, что трудом нашим оскорбляется память поэта и понижается его личность. Конечно, мы не имеем права ставить в вину подобным публицистам того, что они не распознали наших намерений и не могли усмотреть в первой попытке правдиво отнестись к характеру и жизни поэта — настоящей ее цели, а именно, поставить это великое имя вне и выше смутных толков его недоброжелателей, а также и непризванных его судей, которых у него еще много и доселе. Все это уже не зависело от воли самих критиков нашего труда. Но есть черта в их полемике, которую мы никак не можем пропустить без внимания. По всему смыслу их возражений и обвинений необходимо заключить, что, в их мысли, образы замеча-

тельных людей русской земли должны быть создаваемы на каких-то особых основаниях, а не на истине и неопровержимых фактах. Мы протестуем всеми нашими силами против этого растлевающего учения, и думаем, основываясь на успехах общественного нашего развития, что такое учение мало найдет себе последователей в среде читающей нашей публики, в какой бы скрытной или наружно-благовидной форме ей ни предлагалось.

П.А.

I.

ДО ЛИЦЕЯ.

1799 — 1811.

Две фамилии: Ганнибалы и Пушкины. — Легендарная биография Абрама Ганнибала. — Записки его сына Петра. — Связи, воспитание и настроение Пушкиных. — Детство поэта. — Проект собственных его записок о своем детстве и пребывании в лицее.

Не надо быть рьяным поклонником учения о неотразимом действии физиологических и нравственных свойств родоначальников семей на все их потомство, чтобы верить в возможность фамильной передачи некоторых крупных психических особенностей со стороны отца и матери своей ближайшей отрасли. Некоторое изучение характера и натуры А.С. Пушкина неизбежно приводит к заключению, что в основе их лежат унаследованные черты и отличия двух родов — Ганнибаловых и Пушкиных, только значительно переработанные и облагороженные их знаменитым потомком. Любопытно, поэтому, присмотреться ближе к двум элементам, которые, так сказать, вошли в состав нравственного существования А.С. Пушкина и частью определили его.

Нет никакой надобности для этого повторять здесь еще раз факты и сведения о семействе будущего поэта, собранные и опубликованные прежде. Отсылая по этому предмету читателей к нашим «Материалам» и к позднейшим сборникам, мы ограничиваемся в настоя-

щем случае только задачей обрисовать несколько полнее, чем было сделано доселе, два своеобразных фамильных типа, которые дали жизнь поэту и сообщили ему первый психический материал, развившийся потом в замечательную личность с другим выражением и с новыми, неизмеримо высшими нравственными стремлениями и задатками: один из этих типов был коренной русский и дворянский, тот самый, который возник в среде помещиков прошлого столетия, еще помнивших эпоху Петра I-го (представителями его были Ганнибаловы), а другой — полу-русский и полу-французский, который образовался к концу царствования Екатерины II-й и хорошими представителями которого можно считать Пушкиных с отцом поэта, Сергеем Львовичем, во главе.

Дети знаменитого негра Абрама Петровича, родоначальника фамилии Ганнибаловых, не отстали, как известно, в чинах от своего отца: так, Иван Абрамович, более всех их дельный и отличившийся на службе, был генерал-поручиком, а брат его, Петр, носил званье генерал-аншефа от артиллерии. Со всем тем можно полагать, что образование их нисколько не превышало уровня общего домашнего воспитания, получаемого тогда всеми дворянскими недорослями. Они имели перед ними одно только преимущество: отец их, прошедший через руки Петра I-го и побывавший за границей, сообщил им, вероятно, ту часть математических познаний, которою сам обладал. Этого одного уже достаточно было для устроения им хорошей карьеры: они жили в то время, когда, по свидетельству записок почтенного секунд-майора Данилова, даже простое знание русской грамоты, делавшее человека способным на занятие учительского места, могло освободить его от торговой казни за уголовное преступление и перевести с площади прямо в школу. Вообще, не следует забывать, что многое после Петра I-го творилось у нас скорее через посредство вдохновения, энтузиазма и решимости, чем через посредство знания и опытности. Что-то в роде «благородного риска» присутствовало всюду, и, благодаря политическому состоянию Европы, замыслы и планы, подсказываемые этим «риском», часто венчались полным успехом. Если можно было командовать флотом и одерживать морские победы, в роде Чесменской, без опыта и основательных сведений в мореплавании, то нет причины полагать, что строитель Херсона, генерал-поручик Иван Ганнибал, воспетый Пушкиным, был чудом своего века и отличался солидным образованием и высоким государственным умом. По крайней мере брат его, упомянутый выше генерал-аншеф от артиллерии, Петр Ганнибал, получивший с ним

одинаковое воспитание, оказывается в сущности очень простым, почти безграмотным человеком, как увидим ниже из собственноручной его записки.

Да и сам родоначальник фамилии, сделавшийся, благодаря нашему поэту, почти что историческим лицом, негр Абрам Ганнибал, при ближайшем рассмотрении является совсем не тем блестящим человеком, каким представил его Пушкин в образцовом своем романе «Арап Петра Великого». По этому поэтическому свидетельству, арап вполне отдался влиянию двора французского регента Филиппа Орлеанского, к которому был послан для окончания образования, переняв у тогдашней французской аристократии ее приемы, внешнее достоинство и тон самоуважения в самой служебной и всякой другой подчиненности. Точные исследования академика П. П. Пекарского, который в своем капитальном труде «Наука и литература при Петре Великом» приводит письмо Ганнибала из Парижа в Петербург, показали, что Абрам Петрович просто записался во Французскую инженерную школу, жил в крайней бедности, сделал поход в Испанию и рад был возвратиться на родину. Это — далеко от шумного, светского и привольного существования военных придворных двора регента, которые, поэтому, и не могли сообщить ему лоска своей образованности. Конечно, с типом арапа, представленным А.С. Пушкиным, весьма мало вяжется следующая черта, им же приводимая из жизни Абрама Петровича. Укрытый, после самовольного бегства со службы, близ Ревеля, арап наш провел десять лет в постоянном трепете за себя и вздрагивал при всяком звуке почтового колокольчика, напоминавшего ему роковую курьерскую тележку, — что осталось у него на всю жизнь, по замечанию того же биографа. Даже сотоварищество его с незнатной молодежью Франции не могло изменить его абиссинскую, мягкую, трусливую, но вместе вспыльчивую природу. Она вполне сберегла все свои родовые особенности, а в том числе и наклонность к невообразимой, необдуманной решимости, к тому, что французы называют «un coup de tête». — Черта замечалась потом у многих ближайших его потомков и заменяла у них настоящее мужество и нравственную выдержку.

Мы сейчас упомянули о бегстве со службы: легенда о жизни негра Абрама Петровича передает это известие в следующем виде. После смерти Петра I-го всесильный Меньшиков (1727) удалил его от двора, дав ему командировку в Сибирь, которую он самовольно покинул, но возвращенный с дороги, три года пробыл арестантом в гор. Томске. Долгорукие, которых он был сторонником, вероятно по

ненависти к Меньшикову, не спешили, однако же, его восстановлением и, как кажется, по одной причине со свергнутым ими временщиком: и они, как Меньшиков, не любили сближать с Петром II-м людей, близко знавших его великого деда. Со всем тем к концу своего владычества, Долгорукие, оставив его в Сибири, назначили майором в тобольский гарнизон. Ганнибал этим не удовольствовался, конечно, и прибег к обычному своему средству: он вторично убежал со службы и, на этот раз благополучно добравшись до С.-Петербурга (1730), явился прямо к Миниху. Это уже совпадало со страшной эпохой бироновщины. Пушкин замечает, что хотя Миних был и не робкого десятка человек, но испугался за своеобычного майора. Он его скрыл, как сказали, близ Ревеля, а в 1833 г. выхлопотал ему отставку, в которой Ганнибал и состоял до 1740 г., постоянно ожидая преследований и гибели, как заметили прежде. В этом году Миних, сделавшись главою государства, в свою очередь, при правительнице, не позабыл о беглом майоре, которому, вероятно, особенно покровительствовал за инженерные познания, столь им ценимые, и принял его снова на службу, дав ему место подполковника артиллерии в ревельском гарнизоне. С восшествием на престол Елизаветы, знавшей его еще мальчиком у отца, судьба Ганнибала достигла высшего своего апогея, давно желанных почестей и богатства. Не есть ли это карьера простодушного, взбалмошного, но счастливого авантюриста? Все эти качества не исключают и замечательных способностей к чистым наукам, какие должно признать за Абрамом Петровичем[1].

В числе бумаг, оставшихся после А.С. Пушкина, есть несколько выписок из рукописной немецкой биографии его прадеда, о которой он упоминает в своих заметках о нем, рассеянных по его сочинениям. Самые заметки эти основаны большею частью именно на этих выписках с прибавлением нескольких фамильных преданий, но есть между выписками и такие, которых поэт не употребил в дело, по причинам нам неизвестным. Как ни мало их число, но в общем рас-

[1] После краткой, но обстоятельной и дельной монографии А.П. Ганнибала, составленной М.Н. Лонгиновым и помещенной в «Русском Архиве» 1864 г., № 2-й, все данные для жизнеописания знаменитого арапа, кажется, исчерпаны. М.Н. Лонгинов имел под руками и формуляр Абрама Петровича. Некоторые догадки и заключения, вызванные показаниями этого формуляра, отчасти подтверждаются, отчасти дополняются дальнейшим нашим рассказом, но общий характер биографии знаменитого негра остается, несмотря на эти официальные данные, все еще с оттенком легенды и предания, и признаков полной исторической правды вряд ли когда-либо и получить.

сказе Пушкина о своем предке они заслуживают получить свое место, как и те, которые им уже были приняты и обработаны — достоверность их совершенно одинакова. Таким образом, например, Пушкин полагает, что имя Ганнибала дано Абраму Петровичу Петром I, и тем противоречит немецкому биографу, который утверждает наоборот, что сама фамилия абиссинских князьков, из которой вышел Ганнибал, возложила на себя это громкое имя в память карфагенского Аннибала, от которого горделиво вела свое происхождение. Трудно теперь объяснить себе, почему Пушкин предпочел первую версию второй. По тому же немецкому свидетельству, абиссинские князьки составили в прошлом столетии союз с целью сопротивления туркам, были разбиты ими наголову, и Абрам попал, вместе с другими детьми, аманатом в Константинополь. Свидетельству этому не противоречит и другой документ: просьба, поданная самим Абрамом Петровичем в 1742 г., в сенат о снабжении его рода надлежащим гербом. Она, будучи чисто формального содержания, не заключает в себе ничего особенно любопытного, кроме начала, где проситель говорит о себе, не без тайной гордости, что родился «во владении отца моего, в городе Лагоне, который (sic) и, кроме того, имел еще под собою два города». Он прибавляет далее, словно не желая или стыдясь упоминать о своем пребывании в константинопольском серале: «выехал в Россию при графе Саве Владиславовиче волею своею в малых летах». Кроме попытки сберечь честь фамилии, в этом показании есть еще и благонамеренная служебная ложь, посредством которой истец старается обойти неприятные или щекотливые воспоминания для своего начальства, ибо сын Абрама Петровича, уже упомянутый Петр Ганнибал, в другом документе, который сейчас увидим, замечает просто о своем отце: «выкраден из константинопольского двора», — что согласнее с историей. Цель этого странного воровства заключалась, по мнению немецкого биографа, в том, что великий преобразователь России хотел показать своим русским, что образованность может быть доступна всем человеческим породам, и в новом русском государстве, им устроенном, открыть каждому человеку без различия происхождения путь к отличиям. Объяснение несколько натянутое и фальшиво глубокомысленное, ибо приобретение разными способами арапчиков и других иноплеменных экземпляров выходило из желания придать новому петербургскому двору вид пышности, а уже гений Петра I, забывая о первоначальной цели такого приобретения, принимался за развитие способностей, как только их находил в человеке, и давал ему потом поприще, соответ-

ственное их силе и объему[1]. Кроме этих подробностей, выпущенных Пушкиным, много еще и других, касающихся до Ганнибала и сбереженных им в известном его собрании анекдотов (Table talks — «Россказни за столом»), не пущены им в дело. Все они имеют характер семейных преданий. Так, Пушкин рассказывает, что Абрам Ганнибал, состоя при Петре, переписывал у него, между прочим, то, что ночью, в темноте — приводим слова поэта — «вечно трудящийся дух царя чертил несвязно на аспидной» доске. Он сам учил его математике и языкам[2]. Абрам Петрович добивался потом княжеского титула и оставил свои хлопоты только по совету старшего сына своего Ивана, говорившего, что для княжеского титула надо и княжеское имение.

Сводя в один краткий рассказ изыскания русских биографов, показания немецкого биографа и семейные предания, как они были записаны А.С. Пушкиным, судьба Абрама Ганнибала в последние годы царствования Петра Великого и затем в царствования четырех его преемников представляется в следующем виде. Два года (с 1723) Ганнибал прослужил в чине поручика бомбардирской роты л.-гв. преображенского полка, куда помещен был, по возвращении из Франции, своим благодетелем, а по смерти Петра I-го, завещавшего Абраму Петровичу 2000 дукатов и поручившего его дочери своей — Елизавете, Ганнибал был определен учителем математики к Петру II-му: таково сказание немецкого биографа, принятое и Пушкиным. Об удалении арапа из Петербурга, о двукратном бегстве его из Сибири и о появлении его у Миниха было уже сказано. К последней подробности немецкий биограф прибавляет, что Миних скрыл его на

[1] Замечание это подтверждается еще и тем, что множество арапчиков было выписываемо и прежде и после Абрама Петровича из того же Константинополя ко двору и частными лицами. Многие из них и назывались Абрамами — именем, как будто уже усвоенным этим несчастным детям. Академик Пекарский упоминает о служителе арапе Абраме, отданном Петром I в обучение в школу при Александроневском монастыре, где он проходил букварь. Это было в 1725 г., когда наш Абрам Петрович уже возвратился в Россию из Франции и произведен в гвардии-поручики. В «Русском Архиве» 1867 г. помещено еще известие о высылке П.А. Толстым из Константинополя к вице-канцлеру гр. Головнину трех других арапчиков в подарок, причем один тоже назывался Абрамом.

[2] Решаемся привести здесь еще анекдот из «Россказней», касающийся Ганнибала, и убеждены, что он не покажется странным в печати. Пушкин записывает: «Однажды маленький арап (в рукописи зачеркнуто Ганнибал), сопровождавший Петра I-го в его прогулке, остановился за некоторой нуждой и вдруг закричал в испуге: «Государь, Государь! Из меня кишка лезет». Петр подошел к нему и, увидя в чем дело, сказал. — Врешь; это не кишка, а глиста, — и выдернул глисту своими пальцами. Анекдот довольно не чист, но рисует обычай Петра».

первых порах в перновском гарнизоне, дав ему звание инженер-майора, а как никому не приходило в голову искать его в Лифляндии, то, пользуясь тишиной, Абрам Петрович женился (во второй раз) на немке-лютеранке, Христине Матвеевне Шеберг, дождался отставки. в 1733 г., купил на деньги, сбереженные от петровского наследства, имение близ Ревеля (мызу Корикула), и там поселился на целых 7 лет. К этим данным А.С. Пушкин, на основании семейных преданий, прибавляет, что эта Христина Матвеевна обходилась очень нецеремонно со своим супругом, не хотела называть третьего сына Януария настоящим его именем, трудным для ее немецкого произношения, и перекрестила его в Осипа (это был отец Надежды Осиповны Ганнибал — матери Пушкина), причем еще отзывалась о сожителе своем следующим образом: «шерне чорт делает мне шорна репят и дает им шертовск имя» («Россказни») Анекдот показывает, между прочим, и тон, господствовавший в этом семействе. С воцарением Елизаветы Петровны звезда Ганнибала высоко поднялась на горизонте. Особенно важен был для него 1742 год: он произведен был тогда в генералы-майоры, назначен ревельским обер-комендантом, и впервые при рождении сына Петра императрица пожаловала ему 500 душ в Псковской губернии, Опочецкого уезда, в Михайловской губе, где расплодившиеся его потомки еще недавно носили в народе собирательное имя «ганнибаловщины». Сам Абрам Петрович прикупил в Ингерманландии, в 55-ти верстах от Петербурга, мызу Суйду, впоследствии доставшуюся знаменитому Ивану Абрамовичу, где и похоронен. Старик умер 93 лет, оставив 7 человек детей и более 1400 душ имения. Он еще застал воцарение Екатерины II. Нужно прибавить, что в последнее время, будучи уже генерал-аншефом и александровским кавалером, Ганнибал носил звание «директора каналов Петровского, Кронштадтского и Ладожского». Чем ознаменовалось директорство это, и не было ли оно только почетным титулом — неизвестно. Вот и вся биография первого Ганнибала, в которой мифические сказания далеко еще не отделены от исторического основания, да вряд ли и могут быть вполне отделены: так они срослись друг с другом.

Из детей этого вельможи-арапа, один, именно генерал-аншеф от артиллерии, Петр Ганнибал, дожил до 1822-го года. Его-то именно и видел Пушкин, когда в 1817 году приехал в Михайловское с семейством прямо из лицея. Забавно, что водка, которою старый арап подчивал тогда нашего поэта, была собственного изделия хозяина: оттуда и удовольствие его при виде, как молодой родственник умел оце-

нить ее и как развязно с нею справлялся. Генерал-от-артиллерии, по свидетельству слуги его, Михаила Ивановича Калашникова, которого мы еще знали, занимался на покое перегоном водок и настоек и занимался без устали, со страстью. Молодой крепостной человек был его помощником в этом деле, но, кроме того, имел еще и другую должность. Обученный через посредство какого-то немца искусству разыгрывать русские песенные и плясовые мотивы на гуслях, он погружал вечером старого арапа в слезы или приводил в азарт своею музыкой, а днем помогал ему возводить настойки в известный градус крепости, причем раз они сожгли свою дистилляцию, вздумав делать в ней нововведения, по проекту самого Петра Абрамовича. Слуга поплатился за чужой неудачный опыт собственной спиной, да и вообще, прибавлял почтенный старик Михаил Иванович, — когда бывали сердиты Ганнибалы, все без исключения, то людей у них *выносили на простынях*. Смысл этого крепостного термина достаточно понятен и без комментариев. Не мешает заметить, что Петр Абрамович долгое время состоял под судом за растрату каких-то артиллерийских снарядов и освобожден был от него только влиянием своего брата, Ивана.

Вероятно, по просьбе своего внучатного племянника, А.С. Пушкина, этот генерал-от-артиллерии уступил ему листок своих записок, начатых гораздо ранее автором — в чине еще артиллерии полковника. Этот листок, сохраненный Пушкиным в своих бумагах, и служит печальным образчиком тех познаний в русской грамоте и той способности к логическому мышлению вообще, какими обладал генерал-от-артиллерии и родной брат исторического лица, Ивана Абрамовича Ганнибала. Вот этот листок, списанный нами, без малейшего изменения в слоге и орфографии: «Отец мой служил в российской службе происходил во оной чинами и удостоился Генералом аншефского чина орденов святыи Анны и Александра Невского, был негер, отец его был знатного происхождения то есть владетельным князем и взят вомонаты отец мой константинопольского двора из оного выкраден и отослан к государю Петру Первому, детей после себя оставил Ивана — Генерал Поручика — Петра артиллерии полковника — Иосифа морской артиллерии второго ранга капитана — Исаака — морской артиллерии 3 ранга капитана; дочерей Елизавету, которая была за Пушкиным вдовою, Анну, коя была за Генерал Майором Нееловым, Софья за Роткирхом. Братья сестры и зятья волею Божею все вроди и чада помре; остался я один, я и старший в роде Ганнибалов; теперь начну писать о собственном рождении, про-

исходящим в чинах и приключениях. Родился я в 1742 году Июля 21 число по полуночи в городе Ревеле где отец мой в оном городе был Обер-Комендантом; восприемники были за очно вечно достойна Императрица Елизавета Петровна достойной памяти с Петром Третьим — в то же время пожаловано отцу моему 500 Псковской Губернии». Здесь и обрывается, к сожалению, записка, не исполнив обещания повествовать о приключениях.

Что касается до третьего сына (деда Пушкина по матери) Януария или Осипа Ганнибала, то это был сорвиголова и ужас семьи. Впрочем, первые основы математического образования и ему доставили, разумеется, при покровительстве брата Ивана Абрамовича, звание «морской артиллерии капитана второго ранга», но он уже, кажется, не признавал для себя обязательными никакие гражданские установления и порядки. Было уже говорено прежде о том, как от живой жены он обвенчался с девушкой, которую обманул самым наглым образом, но эта проделка обошлась ему весьма дешево: по приказанию императрицы Елизаветы, разведенный с обеими своими женами, он был сослан только на жительство в свое имение, с. Михайловское, где и мог предаться вполне обычным сельским наслаждениям помещиков того времени. Первой и законной его жене, известной бабке Пушкина, Марье Алексеевне, выделена была при этом часть из его другого имения, именно сельцо Кобрино (Петерб. губ.), где она вместе с дочерью, будущею матерью поэта, и жила сравнительно в бедности, под охранением своего шурина, соседа, помещика Суйды и опекуна, Ивана Абрамовича Ганнибала.

Нужда и горе развили в Марье Алексеевне практический ум, хозяйственную сноровку и способность понимать предметы в их отношениях к действительной и повседневной жизни. Простота, ясность и меткость ее речи, впоследствии так восхищавшие Пушкина и друга его, Дельвига, обусловливались отчасти и ограниченным кругом понятий, в котором вращалась Марья Алексеевна и через который смотрела на остальной мир. Предание изображает нам ее, как настоящую домостроительницу, по образцу, существовавшему еще очень недавно. Девичья ее, слышали мы, постоянно была набита дворовыми и крестьянскими малолетками, которые, под неусыпным ее бдением, исполняли разнообразные уроки, всегда хорошо рассчитанные по силам и способностям каждой девочки и каждого мальчика. Отсюда восходила она очень просто до управления взрослыми людьми и до хозяйственных распоряжений по имению, наблюдая точно также, чтобы ни одна сила не пропадала даром и т. д. В этой сфере

вырастала дочь ее, Надежда Осиповна — балованное дитя, окруженное с малолетства угодливостью, потворством и лестью окружающих, что сообщило нраву молодой красивой креолки, как ее потом называли в свете, тот оттенок вспыльчивости, упорства и капризного властолюбия, который замечали в ней позднее и принимали за твердость характера. Жених ее — скромный, рассеянный и застенчивый гвардейский офицер, Сергей Львович Пушкин, умел пленить прежде всего Ивана Абрамовича Ганнибала, который, решаясь выдать за него свою бойкую крестницу, примолвил: «он не очень богат, но очень образован». Предания о фамилии Ганнибалов на этом и кончаются. Мы покидаем ее для того, чтобы заняться ее антиподом, полной, совершенной ее противоположностью, именно фамилией Пушкиных.

Не мудрено, что чесменский воин, герой Наварина и проч., принял Сергея Львовича Пушкина за очень развитого человека. Будущий племянник должен был внушить ему уважение, как представитель нового поколения, успевшего развиться на других основаниях, чем те, которые существовали еще в его собственной, патриархальной, полудикой и полуграмотной семье.

Сергей Львович и брат его, столь известный Василий Пушкин, получили полное французское воспитание, писали стихи, знали много умных изречений и острых слов из старого и нового периода французской литературы, и сами могли бойко размышлять о серьезных вещах с голоса французских энциклопедистов, последнего прочитанного романа или где-нибудь перехваченного суждения. Никто больше их не ревновал и не хлопотал о русской образованности, под которой они разумели много разнообразных предметов: сближение с аристократическими кругами нашего общества и подделку под их образ жизни, составление важных связей, перенятие последних парижских мод, поддержку литературных знакомств и добывание через их посредство слухов и новинок для неумолкаемых бесед, для умножения шума и говора столицы. К числу необходимостей своего положения причисляли они и ухаживание за всякой своей и иностранной знаменитостью и проч. Дом Сергея Львовича в Москве действительно посещаем был членами того блестящего литературного круга, который в начале столетия образовался там около Карамзина; в числе друзей и знакомых дома встречаются самые почетные имена того времени — Жуковский, А. Тургенев, Дмитриев и проч., вместе с именами заезжих эмигрантов, туристов, артистов. То же было и у другого брата. Разумеется, внешние формы их жизни при этом уже во многом разошлись со старыми, первобытными обычая-

ми дворянского существования. Сергей Львович, например, терпеть не мог деревни, если она не была видоизменением или продолжением городской жизни, и ни разу не посетил иных наследственных своих имений, как, например, Болдина (Нижегородской губ.), в чем его упрекали родные и еще упрекают доселе биографы; но это отвращение от сельского уединения помогло отцу нашего поэта, по крайней мере, освободиться от наклонностей, замашек и привычек тогдашнего помещичьего быта. Бесспорно, это был своего рода прогресс, но, к сожалению, по крайней своей ничтожности и ограниченности, он мало изменял все другие нравственные стороны человека и ничего не изменял в положении людей, зависевших от наших утонченных землевладельцев. Когда, гораздо позднее, для спасения Болдина послан был туда дельный управляющий, то он просто бежал из имения, при виде страшного разорения крестьян, в которое они были погружены беспечностью и *образованными* стремлениями помещика. Форма прогресса была не менее оригинальна и у Василия Львовича, но здесь нет надобности описывать ее, так как биография автора «Опасного Соседа» до нас не касается.

Вообще, следует заметить, что у обоих братьев не было и времени для своих собственных дел: они занимались только чужими. Люди, страстно искавшие всю свою жизнь гостиных и эффектных бесед, переносившие удачное бонмо, перед ними сказанное, из дома в дом, и, со своей стороны, сами занятые, для потехи других, тем, что французы называют деланием ума, faire de l'esprit, — такие люди уже, конечно, не имели ни времени, ни возможности устроить свое существование на прочных основаниях. Вот почему вся их жизнь, проведенная в беготне за высшим светом и модными формами существования, в толкотне между людьми и в пересудах слышанного и виденного, оставила их под конец материально и умственно разбитыми и несостоятельными.

А между тем, Василий Львович, принятый в «Арзамасе» после шутовской церемонии, устроенной В.А. Жуковским нарочно для него, как замечает Ф.Ф. Вигель, считался влиятельным литератором, а после своего «Опасного Соседа» достиг даже некоторого рода знаменитости[1]. Он заслуживал благодарности литераторов за неослаб-

[1] Князь Шаховской, противник «Арзамаса», как известно, задетый в «Опасном Соседе», довольно забавно говорил про автора его: «Ну, не несчастье ли мое? Человек в первый раз, отродясь, сказал остроту — и то на мой счет». Впрочем, принадлежность «Опасного Соседа» исключительно одному Василию Львовичу подвергалась тогда сильному сомнению. Говорили, что поэма исправлена сообща кружком

ное свое хлопотание около них и около русской литературы вообще, в течении добрых 25-ти лет. Он уже едва двигался от подагры в 1830 г., но, сохраняя свою важную осанку, за которой скрывалось у него так много добродушия, легковерия и беспечности, продолжал толковать о журналах, и раз в одном из сильнейших пароксизмов болезни нашел минуту сказать окружающим: «Как скучны статьи Катенина об испанской литературе»! (в «Литературной газете», 1830 г.)[1]. Самая смерть его, последовавшая в тот же год, имела одинаковый характер с его жизнью. Нам рассказывал один из близких его знакомых, что раз, утром, больной старик поднялся с постели, добрался до шкапов огромной своей библиотеки, где книги стояли в три ряда, заслоняя друг друга, отыскал там Беранже, и с этой ношей перешел на диван залы. Тут принялся он перелистывать любимого своего поэта, вздохнул тяжело и умер над французским песенником. Сергей Львович скончался гораздо позднее. Закат его представлял нечто в роде правильного, логического вывода из всей предшествовавшей его жизни. Уже в глубокой старости, овдовелый, потерявший знаменитого сына и наполовину разоренный, он влюбился в ребенка, девушку лет 16-ти, соседку свою по Михайловскому (Александру Ивановну Осипову), и предлагал ей свою руку. Почтенному старцу пришлось пережить у дверей гроба все волнения юношеской и безнадежной страсти, начиная с пламенных посланий на французском языке и робких угождений предмету поклонения, до покорных жалоб на судьбу и горьких слез отчаяния. Он еще мечтал о браке, второй молодости, медовом месяце и проч.

Как ни забавно может показаться это чахлое подобие эпохи Людовика XV на русской почве, но оно имело и свою очень серьезную сторону. Благодаря праздности, внешнему существованию людей и пустому волнению их, оно еще вело неизбежно к расстройству и уничтожению состояния. Действительно, только при относительно громадных средствах можно было безнаказанно тешиться жизнью на манер философствующих маркизов и дюков прошлого века. Там же, напротив, где крепостничья нерасчетливость в соединении с невообразимым отвращением к какому-либо занятию одни могли бы

друзей, в числе которых был и всегдашний покровитель В. Пушкина, В.А. Жуковский. Ему приписывали и стих: «Прямой талант везде защитников найдет», направленный против кн. Шаховского и так много смешивший партию анти-шишковскую.

[1] См. анекдот, рассказанный г. Бартеневым в «Отеч. записках» 1853, № 11. Александр Сергеевич Пушкин, случившийся при этом в комнате, шепнул окружающим: господа, «Уйдем отсюда, пусть это будет последним его словом».

потрясти даже солидное состояние — там подделка под развязную эпоху Людовика XV-го сопровождалась довольно печальными и вместе комическими последствиями. Известно, что Сергей Львович, из желания развязать себе руки вполне, передал все управление домом супруге своей, Надежде Осиповне, которая не менее его обожала свет и веселое общество, а в управление домом внесла только свою вспыльчивость, да резкие, частые переходы от гнева и кропотливой взыскательности к полному равнодушию и апатии относительно всего происходящего вокруг. Это уже лежало в самой ее природе. Вот почему нет никакой возможности сомневаться в истине нижеследующих строк, которыми один весьма умный наблюдатель описывает нам дом Пушкиных, когда они, в 1814 году, переехали окончательно на жительство в Петербург из Москвы: «Дом их, — говорит он, — всегда был наизнанку: в одной комнате богатая старинная мебель, в другой — пустые стены или соломенный стул; многочисленная, но оборванная и пьяная дворня с баснословной неопрятностью; ветхие рыдваны с тощими клячами и вечный недостаток во всем, начиная от денег до последнего стакана». Вот с чем могла уживаться претензия на образованность, и это еще при весьма достаточных средствах: Пушкины — владели тогда всеми своими наследственными и очень немаловажными имениями. Надо прибавить, что они никогда уже и не выходили из положения, описанного выше. Впрочем, и то следует сказать: один ли их дом представлял тогда хаотическое смешение крайностей и совместное существование признаков развития с крупными чертами доморощенных нравов, один ли их внутренний быт отличался помесью европеизма и терпимости к нелепому деревенскому обычаю?.. Вспомним одно любопытное свидетельство по этому предмету, кажется, раз уже и указанное в нашей литературе. Известный германский патриот и писатель Е.М. Арнт, сопровождавший барона Штейна в его поездке в Петербург (1812), рассказывает в своих записках об этом времени поучительный анекдот из сношений прусского реформатора с петербургской знатью. Барон Штейн очень любил одну весьма умную и благородную женщину из нашего высшего круга (графиню О., урожденную Стр.[1]), которая, со своей стороны, дорожила каждым словом знаменитого министра. Разговорившись однажды о лихоимстве тог-

[1] Муж графини, В. В. Ор., проживший потом много лет за границей, имеет в нашей литературе некоторую известность, как переводчик басен Крылова и других русских произведений на французский язык.

дашних наших провиантских чиновников, которые даже умели сделаться помехой русскому оружию и повредить русской политике вообще, барон Штейн привел почти в слезы свою слушательницу, указав с укором на собственный ее дом, наполненный воспитанниками и воспитанницами, в числе которых были и калмыченки: «Какого нравственного чувства, — заметил строгий барон, — хотите вы от собственных детей, когда они живут в обществе лиц с разнородными привычками, различных сословий, различных полов и возрастов до юношеского включительно? Где тут может развиться и сохраниться в надлежащей чистоте чувство порядка, обязанностей, долга?» (Выдержка из «Meine Wanderungen mit dem Freiherr Stein», Е.М. Арнта, в приложениях к «Allgemeine Zeitung», № 204, 1858 г.).

Возвратимся, однако же, назад к прерванному биографическому рассказу.

Через год после брака с Надеждой Осиповной, Сергей Львович, по заведенному тогда порядку, стал помышлять об отставке и переезде в Москву. Тотчас после рождения дочери Ольги (1798), он привел в исполнение свой план: покинул семеновский полк и уехал в Москву на покой. Здесь первым делом семейства было обзавестись подмосковной, как необходимым условием порядочной столичной жизни. Бабушка поэта, Марья Алексеевна, променяла свое Кобрино, близ Петербурга, на село Захарово, близ Москвы, которое тоже, в свою очередь, было продано, когда Пушкины задумали переселиться снова в Петербург. Вплоть до нашествия французов они жили попеременно, то в Москве, то в новой деревне, и в течение этого именно времени успел развернуться и обнаружиться характер второго их ребенка, сына Александра, рожденного в 1799 г., который так мало был похож на все, чего они могли ожидать от своего семейства, что весьма скоро сделался для них загадкой. Из соединения двух разнородных фамилий и двух противоположных нравственных типов возникла натура до того своеобычная, независимая, уступчивая и энергичная в одно время, что она сперва изумила, а потом и ужаснула, как увидим ниже, своих родителей.

После всего сказанного нами, кажется, нет надобности распространяться о том, что при воспитании подобной натуры и подобного характера не только не было употреблено в дело какого-либо определенного правила или обдуманной системы, но даже и простого здравого смысла. Подробности о детских годах Александра Пушкина, приведенные в наших «Материалах» 1855 г. со слов его родных, очень любопытны; но они ничего не говорят о началах и основаниях,

принятых в семействе относительно воспитания нового его поколения, и не говорят потому, что, их, кажется, вовсе и не было. Да откуда и было им взяться при посторонних и внешних интересах, поглощавших все внимание как отца, так и матери этого семейства, при гувернерах и гувернантках с различными взглядами и характерами, при влиянии каждого, кто захотел, на детей, растерянных в этом множестве руководителей. В программе автобиографических записок, к сожалению, несостоявшихся или уничтоженных поэтом, встречаются лаконические слова его: «Первые неприятности — гувернантки. Мои неприятные воспоминания. — Кат. П. и Ан. Ив. — Нестерпимое состояние». Для того, чтобы в позднейшие годы жизни так настойчиво отмечать неприятности первых лет, даже три раза повторять почти одну и ту же мысль и фразу, надо было глубоко испытать в свое время горечь и оскорбление окружающей среды. Биографический смысл этих заметок для нас теперь потерян, да мы и не старались отыскать ключа к нему. Несколько маловажных, по всем вероятиям, фактов домашней или учебной жизни, которые он мог бы открыть, не очень нужны нам для того, чтобы отчетливо представить себе теперь обстоятельства, сопровождавшие детство поэта.

Часто случается, что все врожденные, темные и светлые силы характера долго спят в душе ребенка и не показываются на свет до тех пор, пока их не пробудит к жизни какое-либо обстоятельство. Нет никакой причины полагать, что такое решающее событие всегда должно быть серьезного, потрясающего свойства; напротив, в большей части случаев, оно, по маловажности своей, проскальзывает едва замеченное теми, которые были его свидетелями. Случается так, что роль таких пробуждающих толчков играет для ребенка легкая, испытанная им, напраслина, пустая, но незаслуженная обида, наконец, патетический рассказ, неожиданно попавшийся ему в руки и сильно поразивший его воображение и т. д. Чем-то в роде подобного толчка ознаменовались и детские годы А. Пушкина. Искрой, внезапно оживившей его природу и раскрывшей разнородные нравственные элементы, таившиеся в ней, была тут, как нам кажется, библиотека С. Л. Пушкина. Молодой Пушкин рос до 9-ти лет тяжелым, флегматическим, неповоротливым мальчиком (какая разница с энергией, подвижностью и неутомимостью позднейших его годов!). Первое искусственное и нездоровое возбуждение ума и страстей должно отнести насчет, так называемых, публичных jeux d'esprit, которые были в большом ходу у его воспитателей, да и вообще считались тогда хорошим педагогическим приемом, а второе следует возложить на распо-

рядки почтенного Сергея Львовича, позволявшего детям присутствовать при приеме гостей и быть постоянными слушателями всех разговоров своего кабинета, только под условием молчания и невмешательства в беседу. Молодой Пушкин бросился со страстью к французской фамильной библиотеке дома. Библиотека могла быть также и средством для него уйти от семейных огорчений, да она же еще и соответствовала тогда его ленивой физической природе, требовавшей покоя. Мальчика предоставили вполне его страсти, как и следовало ожидать от семейства с сильным «литературным» оттенком, и, разумеется, не заметили коренного перелома, который неожиданно совершился, благодаря этому обстоятельству, в физической и нравственной природе его.

Можно догадываться о составе библиотеки как по характеру Сергея Львовича, так и вообще по характеру библиотек того времени. Более, чем вероятно, что книгохранилище Пушкиных состояло из французских эротических писателей XVIII-го века, из философских трактатов сенсуальной школы, из Вольтера, Руссо, Гельвеция и самых крайних их толкователей. Зная это, мы можем уже определить и самую сущность перелома, совершившегося в молодом Пушкине. Прежде всего оказалось, что постоянное умственное, мозговое раздражение ускорило обновление и изменение его организма, уже подготовленное годами. Затем, параллельно с неустанным чтением, развился настоящий отроческий его нрав, тот самый, который несколько позднее видели лицейские товарищи и учители молодого человека, оставившие и свои заметки о нем[1]. Библиотека отца оплодотворила зародыши ранних и пламенных страстей, существовавшие в крови и в природе молодого человека, раздвинула его понятия и представления далеко за границу возраста, который он переживал, снабдила его тайными целями и воззрениями, которых никто в нем не предполагал и, наконец, — что всего важнее — мало-помалу воспитало великое самоуважение, не допускающее власти над собой и не признающее ее законности ни в каком виде, ни под каким предлогом. Как тогда отнеслись к этим новым проявлениям его личности домашние, наемные и не наемные его пестуны, что происходило между ним и воспитателями его — мы, конечно, не знаем. Можно полагать, однако же без особенного риска, что они были ниже предстоявшей им задачи успокоения, объяснения и направления этих первых

[1] Поразительные их отзывы о моральной стороне его воспитания и преждевременном развитии его ума и всех способностей увидим ниже.

порывов освобождающейся мысли. Надо сказать, что все брожение страстей не исключало у молодого Пушкина некоторого рода застенчивости и даже робости при людях, о чем свидетельствуют многие старые друзья этого дома. Известно, что застенчивость и робость часто бывают приметами высокого понятия человека о самом себе. В первых столкновениях с возникающим характером и нарождающимся образом мыслей, гувернеры и гувернантки, конечно, не могли играть очень благотворной роли для такого сложного характера, каким уже являлся молодой Пушкин. Они свели всю свою задачу на то, чтобы добиться от него наружного повиновения, и встретили совсем неожиданное сопротивление, которое устояло и перед попытками побороть волю мальчика развитием так называемой начальнической строгости. Все настойчивые или вспыльчивые требования самих родителей приводили к одному и тому же результату, — яростному отпору. Молодое сердце, оскорбляемое ими и уже способное к вражде и ненависти, начинало не скрывать своих чувств. Так как ближайшая причина этого непонятного явления оставалась все-таки неизвестной воспитателям, то объяснение его одной жестокостью чувства и врожденным упорством ребенка само собой напрашивалось на ум. От этого уже недалеко было придти под конец к заключению о несчастной, извращенной природе мальчика, и после сожаления и негодования достичь, наконец, отвращения и ужаса. Так оно, если не ошибаемся, в самом деле и случилось.

Ограничиваемся этим кратким очерком семейных дел Пушкина, который мы и предприняли только для того, чтобы дать читателю правдивое понятие о первоначальном воспитании поэта. После всего в нем сказанного уже становится понятным единогласное свидетельство знавших дела семьи, что когда, в 1811 году, пришло время молодому Пушкину, ехать в Петербург для поступления в лицей, он покинул отеческий кров без малейшего сожаления, если исключим дружескую горесть по сестре, которую он всегда любил. Это подтверждает и друг поэта — И. И. Пущин. Будущий лицеист наш ничего не оставлял дома, и дом, провожая его в другую столицу, ничего не ожидал от него. Любопытно, что разрыв с семейством у Пушкина продолжался до 1815 года, когда успехи его в литературных упражнениях понудили тщеславного родителя его сделать первый шаг к примирению.

Заканчиваем эту главу сообщением дополнения к программе Пушкина для будущих несостоявшихся записок о годах своего детства и пребывания в лицее. Программа без этого дополнения была

уже напечатана в наших «Материалах» для биографии А. С. П. (1855 г.). Если бы программа была осуществлена поэтом, то, конечно, мы имели бы в литературе поучительную картину нравов эпохи и изображение главных ее личностей, после которой труд разъяснения дела значительно был бы облегчен для биографа. Вот это дополнение:

1811.

«Философские мысли. — Мартинизм. — Мы прогоняем Пилецкого.»

1812. 1813. 1814.

«Государыня в Сар. Селе. — Граф Кочубей. — Смерть Малиновского. — Безначалие.»

1815.

«Известие о взятии Парижа. — Приезд матери. — Приезд отца. — Стихи etc. — Отношение к товарищам. — Мое тщеславие.»

Мы скоро будем говорить о философских мыслях в лицее и об истории иллюмината Пилецкого, а теперь сделаем пояснение одного места в прежде напечатанной «программе», оставшегося не разъясненным, как и многие другие ее места. В нем Пушкин отмечает следующее: «Юсупов сад, землетрясение. Няня... » О землетрясении в Москве было уже говорено прежде, а Юсупов сад связывается с анекдотом из жизни Пушкина, когда он был еще годовалым ребенком. Няня его встретилась на прогулке с государем Павлом Петровичем и не успела снять шапочку или картуз с дитяти. Государь подошел к няне, разбранил за нерасторопность и сам снял картуз с ребенка, что и заставило говорить Пушкина впоследствии, что сношения его со двором начались еще при императоре Павле.

II.

ЛИЦЕЙ.

1811 — 1817.

Воспитатели. — Характер преподавания и воспитания. — Что такое была свобода в лицее? — Литература в его стенах. — Выпуск лицеистов.

Старому Царскосельскому лицею посчастливилось у нас особенно, как в публике, так в литературе. Благодаря помещению лицея в загородном дворце государя, разобщению со столицей, которое поставлено было ему даже в закон, а также и слухам об исключительных заботах правительства, посвященных ему, — в обществе нашем возникло весьма высокое понятие о новом учебном заведении, а первый выпуск его воспитанников, представивший образцы получаемого там светского и литературного образования, еще укрепил веру в его значении. О литературе и публицистике нашей и говорить нечего. С самого возникновения училища и до последнего времени, они относились к нему более чем сочувственно и почти так, как можно относиться к событию первой важности для дела русского образования. Торжество открытия лицея в присутствии всего двора и знаменитейших сановников государства описывалось несколько раз, также точно, как и торжество первого выпуска лицеистов, и описывалось с искренним увлечением и великой подробностью. Мало того, порядки лицея, а также и жизнь первых учеников в стенах его удостоились весьма обширного, даже кропотливого описания в любо-

пытных статьях В.П. Гаевского и в специальном сборнике «Памятной книжке Александровского Лицея на 1856—57 г.». Вместе с заметками бывших его воспитанников — М.А. Корфа, Ив. Ив. Пущина и др., труды эти представляют нам полную историю привилегированного заведения, — историю, которой только могут позавидовать все другие наши школы, менее осчастливленные вниманием своих соотечественников. Понятно, что мы не будем повторять факты и подробности этой хорошо всем знакомой истории, а только прибавим к ней несколько соображений, которые, может статься, помогут уяснить некоторые наиболее существенные черты ее.

Нет никакого сомнения, что с лицеем, при основании его, связывались надежды создать образцовое заведение, которое с одной стороны могло бы стоять вровень с наполеоновскими Lycées и английскими College той эпохи, а с другой — дать образец деятельности чисто русской, национальной педагогии. На это весьма ясно намекает самый устав заведения. Чем другим, как не надеждой достижения подобной цели объясняется и мысль подчинить лицей прямому, непосредственному наблюдению министра народного просвещения, который получал вместе с донесениями об общем ходе образования в России подробные сведения о способностях, характере и степени прилежания каждого из учеников лицея. Министр, граф А.К. Разумовский, на первых порах был, по отношению к лицею, в одно и то же время министром, инспектором классов заведения и гувернером его: он клал резолюции также точно по важным вопросам преподавания, возникавшим в училище, как и по шалостям и проступкам населявшей его молодежи. Группа учителей, выбранная в руководители ее — Н.А. Кошанский, А.П. Куницын, Л.И. Карцов, И.К. Кайданов, потом А.И. Галич и др. — тоже свидетельствует об усилиях снабдить заведение лучшими представителями русской науки того времени. Трое из вышеупомянутых лиц были лучшими воспитанниками старого педагогического института[1], преобразованного, как известно, в с.-петербургский университет в 1819 году, и конечно, можно сказать без всякого преувеличения, что все эти лица должны были считаться передовыми людьми эпохи на учебном поприще. Ни за ними, ни около них мы не видим, в 1811 году, ни одного русского имени, которое бы имело более прав на звание образцового преподавателя, чем эти, тогда еще молодые имена. Таким образом, все было,

[1] Проф. Куницын, Кайданов и Карцов были посланы от него за границу, для окончательного своего образования.

по-видимому, предусмотрено и намечено как в уставе, так и в приложении устава и осуществлении его для того, чтоб дать лицею значение соперника лучших учебных заведений Европы. Уже в отчете за первый год существования лицея, конференция его гордилась способами обучения, ею усвоенными, «где каждая истина, — говорила она, — математического, исторического или нравственного содержания, предлагалась воспитанникам так, чтоб возбудить самодеятельность их ума и жажду дальнейшего познания, а все пышное, высокопарное, школьное совершенно удаляемо было от их понятия и слуха» (Отчет конференции за 1811—12 год, у Гаевского, в «Современнике» 1853 года). Позволительно, однако же, думать, на основании верных свидетельств, что конференция в этом случае более изображала собственный идеал преподавания, чем действительность. Так как жизнь вообще никогда не дает более того, что в ней заранее подготовлено, и во все самые пышные формы помещает только то, чем в данную минуту может сама располагать, то и здесь жизнь эта повела лицей совсем не по мысли основателей и не по идеалам их, а сообразно своей сущности, по собственному своему образу и подобию. Она-то и обманула все преждевременные надежды создать примерное педагогическое заведение в 1811 году на русской почве.

Было бы излишне говорить здесь о личном характере этих профессоров и системах преподавания, усвоенных ими: источники, приведенные выше, говорят об этом достаточно, и сообщения их по этому предмету, конечно, нисколько не страдают льстивостью, привлекательностью и эффектом своих красок. Особенно М.А. Корф, весьма компетентный судья дела, очень строго относится к ходу образования, существовавшего в лицее. Здесь достаточно будет вспомнить, что, по крайней мере, о трех из поименованных выше педагогов биографу совсем и не приходится говорить, если он имеет в виду их способы преподавания. Секретарь конференции и профессор Кошанский читавший древние языки и словесность русскую, еще поправлял сначала упражнения воспитанников в слоге и беседовал с ними о великих образцах древности с любовью и увлекательностью, приобретшими ему внимание и расположение слушателей, но не выдержал до конца: со второго курса он покинул преподавание, заболел, как мы слышали, болезнью, отысканной Гоголем у всех умных русских людей вообще. Математик Карцов, тоже принявшийся сначала очень горячо за дело, вскоре остыл к нему, и так как он был от природы юмористом и весьма остроумным человеком, то и проводил классное время не в чтении математических лекций, к которым

никакого сочувствия в лицее не оказывалось, а в рассказах и выслушивании лицейских анекдотов, которые он подправлял своими замечаниями. Добродушный и слабый Галич, заместивший Кошанского в преподавании, пошел еще далее относительно угождения вкусам своих учеников, которые совпадали и с его собственными. Он, как известно, допускал устройство тайных студенческих пирушек в той самой комнате, которая ему отводилась в здании лицея на случай его приезда к своей кафедре философии. Выше их всех стоял, конечно, профессор логики и нравственных наук А.И. Куницын, как по достоинству своих убеждений, так и по прямоте характера, чуждавшегося служебных исканий и искавшего жизненной опоры в самом себе. Великолепные поэтические обращения Пушкина к нему и благодарное воспоминание всех других его лицейских слушателей достались профессору за то, что при самом начале курса он сообщал первые основания психологии собравшимся тогда вокруг него детям чрезвычайно объективно и образно, посредством рассказов, примеров, сближений и т.д., что всегда подкупает молодые умы и надолго в них остается. Позднее, когда во втором курсе профессор перешел к логике и философии права, он уже просто требовал буквальной выучки своих тетрадей, даже без всякого изменения слов, вероятно, не надеясь на самодеятельность мысли у своих слушателей или освобождая себя от труда способствовать ее развитию. Его упрекали вообще в наклонности к ленивому, апатическому существованию. По свидетельству М.А. Корфа, беседы учителя французской словесности, известного *де-Будри*, гораздо более способствовали к укреплению мыслительных сил в воспитанниках, которых он постоянно старался приучать к отчетливому представлению и изложению того, что они слышали, видели, или что возникло в их голове. Мы должны прибавить, однако же, к этому отзыву, что Будри, родной брат Марата, по-видимому, не всегда выбирал для умственного развития лицеистов и для бесед с ними предметы, соответствующие характеру заведения. Это оказывается, между прочим, из анекдота, записанного Пушкиным и сохранившегося в его бумагах, который здесь и приводим: «Будри, профессор французской словесности при Царскосельском лицее, был родной брат Марату. Екатерина II-я переменила ему фамилию, по просьбе его, придав ему аристократическую частицу *де*, которую Будри тщательно сохранял. Он был родом из Будри. *Он очень уважал память своего брата*, и однажды в классе, говоря о Робеспьере, сказал нам как ни в чем не бывало: C'est lui qui sous main travailla l'esprit de Charlotte Corday et *fit de cette*

fille un second Ravaillac. Впрочем, Будри, несмотря на свое родство, демократические мысли, замасленный жилет и вообще наружность, напоминающую якобинца, был на своих коротеньких ножках очень ловкий придворный...» Добавим от себя, что Будри, перекрещенный на Руси, кроме того, еще и в Давыда Ивановича, уже имел предшественников в нашем отечестве, как, например, воспитателя графов С-ых, известного Ромма, впоследствии члена конвента, гильотированного термидорианами, и проч.

Конечно, при всех педагогических странностях, перечисляемых нами теперь, некоторое формальное знание предметов по утвержденной программе все-таки требовалось от учеников; но оно, во-первых, скоро достигалось, а во-вторых, в случае его недостатка, ловко маскировалось подставными вопросами и ответами, выбранными с общего согласия учителей и учеников: последние, успокоенные с этой стороны, уже свободно употребляли классы лицея для всевозможных произвольных занятий и бесед, нисколько не касавшихся той или другой науки. Говоря о педагогических странностях, нельзя опустить примера, доказывающего, что и сама администрация лицея способствовала немало к их расположению. Так, профессор Гауеншильд, основатель лицейского пансиона и человек весьма нелюбимый в училище за нрав свой, получил разрешение читать свой предмет, немецкую словесность, *по-французски*. Это было сделано для того, чтоб ознакомить с литературой Германии тех, которые презирали немецкий язык и не хотели изучать его, причем пожертвованы были все те, которые серьезно думали заниматься им, как справедливо замечает М.А. Корф. Пропускаем много других педагогических странностей в том же роде, обязанных своим существованием влиянию жизни и среды, из которых лицей почерпал своих сотрудников. Основы воспитания не были еще выработаны тогда ни у кого.

Если в таком виде представляется нам образовательная сторона лицея, то и другая, тесно связанная с ней, воспитательная сторона его повторила в иной сфере те же самые явления. После смерти первого своего директора (1814) В.Ф. Малиновского, брата известного археолога А.Ф. Малиновского, лицей без малого два года состоял под управлением членов своей конференции — профессоров, которые поочередно вступали в директорство, мешали друг другу и беспрестанно ссорились между собой, так что к концу этого срока, для восстановления порядка, в заведении, расстроенном его попечителями. оказалось нужным поместить в звание сперва инспектора классов, а потом и директора, военного человека из школы графа Аракче-

ева, отставного подполковника С.С. Фролова; но и этот воспитатель, энергически и очень своеобразно принявшийся за исправление школы, скоро был уволен, оставив по себе только массу шутовских воспоминаний. Весь этот период времени, вплоть до назначения, наконец, постоянным директором лицея уважаемого Е.А. Энгельгардта (начало 1816 года), Пушкин обозначает в приведенной нами программе своих записок эпитетом: время анархии. Другие воспитанники лицея называли ту же эпоху своего многодиректорства: междуцарствием. Легко себе представить, как искусно пользовались лицеисты всей этой путаницей, где, при отсутствии общей системы воспитания, каждый очередной директор-профессор вносил с собой новые требования, мало обращая внимания на исполнение прежде состоявшихся: отсюда главной заботой молодого населения лицея делалось уже само собой достижение наибольшего простора для собственных своих вкусов и наклонностей. Хорошим доказательством того, что они успели приобрести в это время права, нигде не признаваемые за учащимся поколением, может служить одно лицейское событие, носящее в программе Пушкинских записок заглавие: «Мы прогоняем Пилецкого». Инспектор классов, Мартын Степанович Пилецкий-Урбанович, сектатор и мистик, попавший, под конец своей жизни, в монастырь за принадлежность к обществу накатчицы и пророчицы Татариновой, вызвал поголовное восстание лицеистов, по словам одних, своей религиозной навязчивостью, презрительными отзывами о семействах своих питомцев и иезуитским обращением, скрывавшем под личиной снисхождения много жестокости и коварства (барон М.А. Корф). Другие из тогдашних преследователей Пилецкого, которых нам удалось слышать, представляют характеристику его и все дело отчасти в другом свете. Они указывают именно на возмущенное *аристократическое* чувство лицеистов, как на первую, хотя и не единственную причину их самовольной расправы с инспектором. Пилецкий вздумал давать ласковые, но несколько фамильярные прозвания родственникам, сестрицам и кузинам, посещавшим в лицее воспитанников. Это обстоятельство показалось щекотливому чувству последних окончательно превышающим меру всякого терпения, и без того уже сильно потрясенного взыскательным, принижающим, ироническим обращением с ними воспитателя. Они собрались в конференц-зале, вызвали к себе инспектора и предложили ему дилемму: или удалиться из лицея, или видеть, как они потребуют собственного своего увольнения. Угроза, конечно, была не очень серьезного свойства, но Пилецкий отвечал хладнокровно:

«оставайтесь в лицее, господа!» — и в тот же день выехал из Царского Села навсегда (покойный Ф.Ф. Матюшкин). На чьей бы стороне ни была тут истина, достоверно одно, что выбор подобного инспектора противоречил основной мысли, из которой возникло само заведение. Впрочем, близость лицея к анархии можно усмотреть с самых ранних пор его существования, даже при Малиновском. Чем иначе объяснить себе, например, разнохарактерность, царствовавшую в недрах ближайших помощников директора, надзирателей или гувернеров, где рядом с почтенным С.Г. Чириковым, состарившимся в своей должности, что, между прочим, могло произойти только при механическом ее исполнении, существовал более года гувернер А.И. Иконников, портрет которого оставил нам Пушкин и который, вследствие привычек неумеренной жизни, походил на сумасшедшего. Позднее еще было хуже: при директоре Фролове в число дядек-служителей успел пробраться даже уголовный преступник, имевший на душе, кажется, четыре или пять убийств.

Многое во внутренней жизни училища было исправлено, когда на важный пост директора вступил Е.А. Энгельгардт, при котором аристократическому чувству воспитанников уже не предстояло никаких испытаний. Наоборот, новый директор считал лучшей школой для молодежи общительность и светскость, развитые сношения с избранными кругами городского общества. Е.А. Энгельгардт был очень любим в лицее: он постоянно занимался сбережением так называемой *чести* заведения, горячо сопротивлялся нововведениям, которые могли бы извратить особенный, исключительный его характер питомника *хорошо-рожденных* детей и проч. Для всего этого, конечно, он уже принужден был скрывать и терпеть многие существенные его недостатки, начинавшие открываться отчасти и глазам посторонних людей. Оберегательство такого рода всегда и неизбежно соединено с потворством тому, что укоренилось в нравах и чему следовало бы противодействовать. Впрочем, на пятый год существования лицея и за один год с небольшим до выпуска первого курса, о новой системе уже нечего было и думать: школьное воспитание лицеистов почти что кончилось.

Результаты этого воспитания всего более сказались в усвоенных ими идеях о личной свободе и независимости, а потом в сильно развитом чувстве своего достоинства. Все это далеко, однако же, не походило на то, что лучшие педагогические теории Европы советовали воспитывать в молодых умах. Ни одна из первоклассных *«коллегий»* Англии, где воспитание признает относительную свободу уче-

ников важным элементом для образования их характера и укрепления воли, не согласилась бы предоставить им такую степень и такой вид независимости, какими пользовались лицеисты в черте родного своего города — Царского Села. Что они в своих мундирах с золотыми и серебряными, смотря по курсу, нашивками на воротничках были привычными посетителями всех гуляний, парадов и вечеринок, об этом говорить, конечно, не стоит; но существовали и привилегии другого рода для них: в последнем курсе и даже ранее они также точно посещали кутежи и пирушки гусарских офицеров, да не хуже их умели сплетать сети волокитств за горничными и нянюшками царскосельских жительниц, за актрисами домашнего театра, устроенного графом Варф. Вас. Толстым, и прибавим, на основаниях довольно патриархальных, так как артисты его нисколько не были избавлены от поощрений и наказаний отеческого характера. «Наташа», которой посвящено одно или два лицейских стихотворения Пушкина, принадлежала к первому разряду героинь лицейских, к нянюшкам; пьесы «К актрисе» — «Ты не наследница Клерон», обращены к представительнице второго — бедной крепостной артистке. Встречи на зимних катаньях с гор, а потом в тенистых аллеях Царскосельского сада, куда воспитанники часто пробирались, устраивались с надлежащей тайной и великой заботливостью, что, как известно, хорошо развивает чувственность вообще. Кроме того, в среде лицеистов по временам обнаруживалась и долго жила настоящая любовь: многим из них были уже совершенно известны все муки любви, обращенной к далекому, недосягаемому предмету, и все обычные спутницы такой любви — ревность, грусть, немые страдания и беспричинные восторги, — словом, они переживали еще в стенах своего заведения полную историю молодых проснувшихся страстей. Отсюда тот горячий и эротический характер лицейских стихотворений Пушкина, который, вероятно, еще укрепил в директоре Энгельгардте то невыгодное мнение о характере и природе поэта, которое приведено г. Гаевским в его статье[1]; но воспитатель сильно оши-

[1] Энгельгардт замечал, что ум Пушкина, не имея ни проницательности, ни глубины, — совершенно поверхностный, французский ум. Далее он прибавляет: «Это еще самое лучшее, что можно сказать о Пушкине. Его сердце холодно и пусто (!!); в нем нет ни *любви*, ни *религии*; может быть, оно так пусто, как никогда еще не бывало юношеское сердце. Нежные и юношеские чувства унижены в нем воображением, оскверненным всеми эротическими произведениями французской литературы, которые он при поступлении в лицей знал почти наизусть, как достойное приобретение первоначального воспитания» («Современник» 1863 г., № VIII-й, стр. 376).

бался, заподозривая благородство самой души Пушкина и полагая сердце его пустым и извращенным с рождения. Пушкин доказывал противное еще в самом лицее, не говоря уже о последующей жизни. Легко было бы распознать светлую, изящную сторону его натуры даже и по чистым, платоническим элегиям его, тогда же написанным им под влиянием одной лицейской любви. Они ходили по рукам и

Последняя часть заметки имеет основание, но общий приговор, ею выражаемый, принадлежит к числу тех странных решений, которые во все времена слышались от официальных педагогов относительно замечательных детей, и которые потом удивляли потомство своею неосновательностью. В извинение заметки можно сказать, что не лучшего мнения о Пушкине были и некоторые его товарищи. Так, например, человек, имя которого очень высоко стоит в России и не безызвестно Европе, М.А. К., выражался очень строго о своем лицейском собрате: «Как в школе, — писал он в 1852 г., — всяк имеет свой собрикет, то мы его прозвали *французом*, и хотя это было, конечно, более вследствие особенного знания им французскаго языка; однако, если вспомнить тогдашнюю, в самую эпоху нашествия французов, ненависть ко всему, носившему их имя, то ясно, что это прозвание не заключало в себе ничего лестного. Вспыльчивый до бешенства, с необузданными, африканскими, как его происхождение (по матери), страстями; вечно рассеянный, вечно погруженный в поэтические свои мечтания, избалованный от детства похвалою и льстецами, которые есть в каждом кругу — Пушкин, ни на школьной скамейке, ни после в свете, не имел ничего привлекательного в своем обращении... В нем не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших, нравственных чувств; он полагал даже какое-то хвастовство в высшем цинизме по этим предметам... и я не сомневаюсь, что для едкого слова он иногда *говорил* даже более и хуже, нежели *думал и чувствовал*...» Иначе смотрит на Пушкина другой товарищ его, короче с ним сблизившийся, И.И. П.: для него Пушкин доброе, даже нежное по преимуществу любящее существо, но требовавшее, чтобы качества его души были отыскиваемы посторонними. Много пояснил И.И. П. относительно нерасположения товарищей к Пушкину, и в дальнейшем нашем рассказе об этом обстоятельстве мы следуем преимущественно его указаниям. Вот еще какую заметку проронил он, рисуя портрет своего детского друга: «Все мы видели, что Пушкин нас опередил, многое прочел, о чем мы и не слыхали; все, что читал — помнил; но достоинство его состояло в том, что он отнюдь не думал выказываться и важничать, как это очень часто бывает в те годы (каждому из нас было 12 лет) со скороспелками, которые по каким-либо особенным обстоятельствам, и раньше, и легче находят случай выучиться... Все научное он считал ни во-что, и как будто желал только доказать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и проч. В этом даже участвовало его самолюбие — бывали столкновения очень неловкие. Как после этого понять сочетание разных внутренних наших двигателей! Случалось точно удивляться переходам в нем: видишь, бывало, его поглощенным, не по летам, в думы и чтение — и тут же он внезапно оставляет занятия, входит в какой-то припадок бешенства за то, что другой, ни на что лучшее неспособный, перебежал его или одним ударом уронил все кегли...» (Записки И.И. Пущина. «Атеней» 1859, № 8-й). Понятно, что примирение этих противоречий, а также и разноречивых показаний свидетелей может произойти только тогда, когда будет найден литературой и воссоздан художнически-полный тип нашего поэта, в котором примирятся и улягутся, психически-объясненные, все черты и данные, по-видимому исключающие теперь друг друга.

могли бы заставить хорошего воспитателя задуматься о многосодержательном, изменчивом и впечатлительном характере своего воспитанника, а также, может быть, и приспособиться к нему. Но до обдуманных нравственных и педагогических мер лицейское начальство было далеко.

При Энгельгардте, как и при всех других, жизнь школы текла по пробитому руслу, как умела и могла. Множество анекдотов уже рассказано историками лицея о времени последнего пребывания Пушкина и его товарищей в школе. К сумме их можно еще присоединить анекдот о знатной даме, встреченной лицеистами в переходах дворца, принятой ими за горничную и испытавшей всю невыгоду такого *qui pro quo*, что, как говорят, ускорило даже выпуск их из лицея; анекдот о встрече Пушкиным в доме барона Велио, старшая дочь которого была общей любимицей молодежи, государя Александра Павловича, о путешествии их к баболовскому дворцу, памятником которого осталась неизданная надпись Пушкина и проч. Кстати сказать, что стихотворение «К Кагульскому памятнику» Пушкина (Воспоминаньем упоенный), отнесенное изданием его сочинений 1855 г., а за ним и последующим, к 1821 году, написано ранее (30-го мая 1819 г.) и содержит тоже намек на одну из любовных шашней, которыми был так богат первоначальный лицей.

Со всем тем можно было бы смотреть на все рассказанные здесь подробности, как на мелочи, не имевшие в сущности значительного влияния на общий ход воспитания, если бы мы видели в стенах заведения что-либо похожее на нравственное *противовесие* свободе и независимости, им допущенной. Но именно этого и не было.

Замечательно, что одновременно с лицеем процветало в столице другое учебное заведение, институт иезуитов, которое гордилось обладанием строгой, неизменной и глубоко обдуманной системы образования и управления; но система эта была такова, что закрытие института в 1815 г. и окончательная высылка иезуитов из России в 1820 году должны считаться лучшими мерами администрации того времени. Институт составлял, по духу, обычаям и направлению, совершенную противоположность с лицеем, хотя также назначался для детей высшего сословия в государстве и был ими наполнен. Сколько лицей оставлял простора молодым людям для ранней критики всех школьных установлений и для неисполнения их, столько иезуитский коллегиум требовал подчиненности распорядкам заведения и приучал детей к уважению авторитетов, над ними поставленных. В коллегиуме, например, допускались еще телесные наказания, к кото-

рым патеры его прибегали с крайней разборчивостью, но и с твердостью, не оставлявшей ни малейшего сомнения в умах детей о неизбежности возмездия за каждую попытку к излишней самостоятельности. Система аудиторов и внутреннего шпионства каждого за каждым была тоже отлично устроена. Преподавание имело преимущественно в виду изучение математики и классических языков; оно шло исключительно на французском диалекте. Православной катехизации и особенно русской словесности оставлены были только самые тесные, совершенно неизбежные границы, так что о литературных упражнениях или ранних авторских попытках на отечественном языке, отличавших лицей от всех других школ, здесь не было и помина. Затем и институт предоставлял своим воспитанникам известную долю свободы, но его свобода разнилась с лицейской тем, что увеличивала ответственность лица, ею пользующегося. Каждый из питомцев, также как и всякий лицеист, имел свою отдельную комнату, но у иезуитов входная дверь комнаты снабжена была небольшим отверстием для наблюдательного глаза брата-гувернера. Эти комнаты, составляя спальни учеников, предназначались и для уединенных их занятий. Один из старых учеников института, слова которого мы здесь повторяем[1], рассказывал нам, что каждая подобная уединенная комната, со всем ее простором и свободой, была страшнее общей рекреационной залы: в отверстии двери поминутно светился испытующий глаз наблюдателя и часто приводил в трепет даже самого скромного и прилежного ее обитателя своей неожиданностью. Это походило как бы на всегдашнее, невидимое присутствие обличителя и беды. Тот же свидетель сообщил нам и следующий анекдот. Раз случилось одному воспитаннику очень метко, по русскому обычаю, передразнить какого-то старого патера, что, разумеется, известными каналами, всегда существующими в иезуитских обществах, дошло тотчас же до слуха самого предмета насмешки. Оскорбленный патер, выбрав вечернее время, потребовал виновного в капеллу и, одетый в белый стихарь, принял его там на ступенях алтаря, при двух свечах, молча... Покуда молодой преступник в торжественной тишине и полумраке капеллы приближался к месту увещания, он уже был подавлен стыдом и раскаянием. Пораженному обстановкой сцены, ему самому показалось, что в лице патера он оскорбил святыню и самое божество. Так умели рассчитывать директоры института на силу детских впечатлений, имея в виду еще более свое будущее вли-

[1] Покойный граф Н.И. Ш., сам воспитывавшийся в коллегии.

яние, чем настоящее[1]. Понятно, что упразднение такого института было совершенной необходимостью. Гораздо позднее явились у нас опять, по-видимому, очень цельные, строгие и до мельчайших подробностей обдуманные системы воспитания (кадетские корпуса). В основании устава этих училищ тоже лежало требование порядка и подчиненности, но уже они были до такой степени бедны внутренним содержанием, что бесплодие их (а бесплодие училища есть и осуждение его) открылось всем глазам и потребовало коренных учебных реформ. Все это в порядке вещей. Чем проще, грубее, а стало быть, и доступнее большинству идея, которая положена в основу воспитания, тем она легче осуществляется. Русская педагогия шла развязно и самоуверенно, когда с помощью карательных мер, роскошно прилагаемых, добивалась порядка и дисциплины, но оказывалась всякий раз беспомощной и несостоятельной, когда задавалась какими-либо несколько сложными, нравственными требованиями; и уже никуда не годилась, когда поднимала трудные вопросы, в роде вопроса о соединении школьной подчиненности и понятия о долге с развитием самодеятельности и прямого характера в учениках. Первоначальный лицей может служить поучительным примером такой педагогической несостоятельности.

От полной нравственной пустоты лицей спасался, однако же, своим литературным направлением, о котором уже упомянули. Литературное направление лицея было плодом случая или порока в системе, предоставивших дело образования самим молодым людям, в нем собранным. Мы не говорим, чтобы все слышимое лицеистами от профессоров пропадало втуне для всех их, чтобы не было между ними умов, прилежно занятых усвоением научной программы, существовавшей в лицее: мы только представляем общую картину лицея, оставляя в стороне исключения, даже блестящие, которые там несомненно примешивались, как и везде, к основному правилу. А основным правилом было самообразование почти на всей воле учащихся. В последнее время некоторые из наших педагогов выражали мнение, что подобное самодельное образование толпы учеников и есть единственное условие их нравственного развития, а всякое влияние со стороны есть не более как помеха ему и школьная тирания; но по крайней мере эти педагоги все-таки имели в виду, что у каждого

[1] Известно также, что православные дети исполняли и обязанности «служек» — garçons du choeur — при католических обеднях в коллегиуме, что предрасполагало их к обрядам и уставам чужой церкви.

такого свободно развивающегося мальчика существует уже основной нравственный капитал в народной культуре, в определенных воззрениях того сословия, к которому он принадлежит[1]. Здесь и этого не было. Они принуждены были приискивать сами ответы на каждый вопрос, возникавший в их уме, и вот почему кинулись на библиотеку лицея, помещавшуюся в арке Царскосельского дворца. Она сделалась для его воспитанников единственным источником, из которого каждый почерпал свои вдохновения и мимолетные созерцания, сменявшиеся одни другими. Пушкин и в лицее сохранил страсть к чтению: мы уже знаем, что товарищи признавали за ним некоторое преимущество; он и тогда думал и говорил о таких предметах, какие им и в голову не приходили; он часто рассказывал им содержание своих чтений и не затруднялся при этом передавать им целые истории и романы, по большей части им вычитанные, которые он очень добродушно выдавал за плоды собственной фантазии. Важнее этих рассказов были, однако же, те решения важнейших вопросов религии, нравственности и жизни, до которых лицеисты доходили сообща, с помощью своего беспорядочного чтения и своего самородного философствования кружками или артелями. В программе записок Пушкина, приведенной нами, стоят слова: «философские мысли», а в другом месте — («Материалы для биографии А.С. П.», 1855) мы привели даже и проект его философской повести: «Фатама или разум человеческий», но сущности господствовавших между лицеистами учений и созерцаний мы все-таки хорошенько не знаем[2]. Мы можем только догадываться об этом по тому обстоятельству, что в лицее существовали на школьных скамейках французские сенсуалисты, немецкие мистики, деисты, атеисты и проч. Достоверно также, что вся эта работа молодой мысли на собственный, так сказать, кошт не укрепила ни одной головы и не составила никому твердого жизненного основания: все это было забыто и сброшено с себя вместе с мундиром. Приобретение положительных знаний и даже просто формальное, школьное учение, каково бы оно ни было, тем и важны, что они обладают свойством поддерживать слабые натуры и давать им содержание, возвышающее их над уровнем собственных их умственных и нравственных способностей. Бедные натуры лицея

---

[1] Эту мысль особенно выражал граф Л.Н. Толстой, которого, несмотря на его увлечения и неудачи, нельзя не причислить к замечательным русским педагогам.

[2] Воспитанник лицея А. Илличевский извещал одного приятеля своего тогда же, что «Пушкин пишет комедию — философ» («Р. Арх.», 1864, № 10)

и покинули его бедными. Что касается до сильных и щедро одаренных личностей, которых там, кроме Пушкина, было тоже очень много, отсутствие правильного учебного курса и науки вообще показало им необходимость начать свое воспитание тотчас по окончании его в школе сызнова. По крайней мере, относительно Пушкина этот факт не подлежит уже ни малейшему сомнению. Добрая часть всей последующей его жизни занята была преимущественно переделкой и дополнением лицейского образования, и биография поэта, которая не укажет ход и моменты этого второго продолжительного обучения, всегда останется трудом неполным и слабым, какие бы любопытные анекдоты и подробности ни заключала в себе.

Нельзя также пропустить без внимания еще одного нравственного агента, который случайно достался на долю лицея и играл в нем значительную роль. Мы говорим об отечественной войне 1812 года и последующих заграничных компаниях наших. Народное чувство, волновавшее тогда Россию, сообщилось и всему населению только что возникшего училища, от мала до велика. Войска, проходившие через Царское Село, должны были слышать воинственные крики лицеистов, приветствовавших их из-за решетки своего сада. Вплоть до 1815 г. библиотека лицея полна была воспитанниками, узнававшими из газет и реляций судьбы и подвиги русских армий. Все, вычитанное там, составляло потом предмет долгих толков, соображений и гаданий молодежи, как между собой, так и с профессорами. Добрая часть классных часов уходила именно на эти толки. Благородным патриотическим одушевлением лицей только и связывался с общей жизнью своего народа, с которым никогда не соприкасался в других случаях и о котором не имел ни малейшего понятия.

Устройство лицея, о котором мы старались дать понятие здесь, и положение его в царских садах только и могли развить страсть к поэзии и литературе в той степени, какую мы замечаем у его первых питомцев. Можно сказать, что это было единственное серьезное их дело. Убегать в тень густых, непроницаемых аллей и находить невыразимую отраду во вдохновенном *праздномыслии*, как выразился впоследствии сам гениальный поэт наш, можно было только при исключительно счастливой обстановке, при не возмущаемом досуге и свободной голове, не отягченной никакими помыслами о долге и обязанностях. В этих именно условиях находились все поэты и литераторы лицея — Дельвиг, Кюхельбекер, Илличевский и проч.; но как ни благоприятны были показанные условия для развития фантазии, не видно, чтобы, кроме Пушкина, кто-либо воспользовался ими

для приобретения надежного авторского материала. Все литературные занятия лицеистов, их журналы, произведения, опыты и замыслы разобраны теперь подробно, и, конечно, на основании их никоим образом нельзя было питать слишком радужных надежд на будущность молодых авторов, процветавших в этом рассаднике романсеров и эпиграмматистов. Со всем тем литературное направление, обнаружившееся в лицее, было приветствуемо, при своем появлении, торжественно и радостно весьма дельными и солидными умами той эпохи, как Карамзиным, например. Причиной такого общего одобрения и поощрения было, конечно, не свойство и обилие талантов, воспитанных лицеем, а само движение. Из заведения, целью которого было подготовление, как оно само заявляло, чиновников и деятелей на высшие посты в государстве, выходило поколение не только с литературным образованием, но и с намерением посвятить себя вопросам мысли, поэзии, искусства. Понятно, что явление должно было поразить круг знаменитых писателей эпохи, который оно обещало подкрепить новыми, свежими силами. Это отречение некоторой части молодежи от специального призвания, их ожидавшего, в пользу личного, тяжелого и притом скромного и плохо вознаграждаемого труда, казалось великим знамением эпохи. Легко было заключить, что такое решение не могло иначе явиться, как в силу глубоких нравственных требований, пробужденных в молодых умах, и никто не подозревал, что авторство лицея было произведением внутренней болезни, его поедавшей — именно умственной праздности. Слабые образчики этого творчества были совершенно заслонены первыми стихотворными попытками Пушкина, которые несомненно обнаруживали присутствие замечательного таланта. Чем далее шел Пушкин, тем сильнее укреплялось мнение, что самые основы лицейского образования, способные, между прочим и так сказать в промежутках своего настоящего дела, создавать или поддерживать такие таланты, каким оказывался поэт наш, должны быть очень сильны и плодотворны. Все глаза обратились на этого представителя мощи и многообразности лицейского воспитания, и надо сказать, что никто и никогда не начинал литературного поприща у нас с такими условиями успеха, с таким обилием всяческих поощрений и похвал, как Пушкин. С другой стороны, открытие поэтического таланта в молодом человеке праздновалось Карамзиным, А. Тургеневым, Жуковским — старыми знакомыми его дома — как семейная радость. Можно предполагать, что если бы Пушкин и не обнаружил впоследствии всего обилия и содержания своего гения, знаменитые люди, окру-

жавшие его смолоду, составили бы ему и без того препорядочную репутацию, как это случилось с некоторыми из тогдашних литераторов. Но Пушкин превзошел все их ожидания и имел право увековечить впоследствии ощущения, вызванные в нем первыми посещениями музы, которая стала являться к нему и осветила своим присутствием маленькую комнатку, отведенную ему в лицее. Кто не знает этих стихотворений? Мы скажем несколько слов об этой самой комнатке.

Покойный И. И. Пущин оставил любопытное описание внутреннего расположения лицея. В нижнем ярусе четырехэтажного здания находилось управление, квартиры директора и служащих лиц; во втором — столовая, конференц-зала, больница; в третьем — классы, рекреационная зала, библиотека; четвертый верхний этаж образовал длинный коридор, пробитый через капитальные стены: по обеим сторонам его находились небольшие комнатки за нумерами. Это были дортуары воспитанников, и в каждом из них помещались железная кровать, комод, конторка с чернильницей, стул перед ней и стол для умывания. Решетка сверху комнаты позволяла наблюдать за порядком в спальнях; гувернер имел свою комнату в конце коридора; ночью дядька-служитель гулял вдоль него и поддерживал огонь ночника. Одна из таких комнат за № 14-м досталась Пушкину: тут он провел шесть лет своей жизни и здесь произошло то явление музы, которое он воспел и которое, по словам его, изменило внезапно всю духовную жизнь его. Но многое и другое происходило в этой же комнате: она была свидетельницей нравственных страданий своего жильца, ибо нравственные страдания, как и пылкие страсти, посетили его очень рано. Пушкин проводил ночи в разговорах, через стенку, с другом своим, оставившим нам эти сведения и занимавшим один из соседних нумеров, а содержание этих поздних бесед, преимущественно, состояло из жалоб Пушкина на себя и других, скорбных признаний, раскаянья и, наконец, из обсуждения планов, как поправить свое положение между товарищами или избегнуть последствий ложного шага и необдуманного поступка. Этот поверенный сообщал нам также и о горьких слезах, часто орошавших, в тишине бессонной ночи, подушку молодого человека из № 14. Дело в том, что Пушкин, по словам его, наделен был от природы весьма восприимчивым и впечатлительным сердцем, на зло и наперекор которому шел весь образ его действий, заносчивый, резкий, напрашивающийся на вражду и оскорбления. А между тем способность к быстрому ответу, немедленному отражению удара или принятию

наиболее выгодного положения в борьбе, часто ему изменяла. Известно, какой огромной долей злого остроумия, желчного и ядовитого юмора обладал Пушкин, когда, сосредоточась в себе, вступал в обдуманную битву со своими литературными и другими врагами, но быстрая находчивость и дар мгновенного, удачного выражения никогда не составляли отличительного его качества. Притом же, в школьной жизни особенно нельзя уберечься от неожиданно грубых вызовов. Пушкин не всегда оставался победителем в столкновениях с товарищами, им же и порожденных, и тогда, с растерзанным сердцем, оскорбленным самолюбием, сознанием собственной вины и с негодованием на ближних, возвращался он в свою комнату и перебирая все жгучие впечатления дня, выстрадывал вторично все его страданья до капли. То же было с ним и впоследствии. Школа уже предвещала его жизнь и в малом виде представляла ее изображение.

Наконец, пришло и время выпуска. Несомненные признаки возмужалости лицеистов, о чем упоминали, вероятно, ускорили этот последний акт, который свершился ранее тремя месяцами положенного, именно 9 июня 1817 года, после предварительного экзамена воспитанников, походившего, вследствие взаимных соглашений всех его участников, скорее на домашнее представление, чем на экзамен. 9 июня снова явился Государь в конференц-зале созданного им лицея, но уже не в сопровождении всего двора и важнейших государственных сановников, как при его открытии, а только с новым министром народного просвещения, князем А.Н. Голицыным, тоже имевшим, как увидим после, весьма сильное влияние на жизнь Пушкина. Много событий протекло в течении шестилетнего промежутка между возникновением школы и первыми ее плодами. Государь открывал лицей при грозных тучах, облегавших Россию со всех сторон, и возвращался к нему победителем врагов, с титулом освободителя Европы. Как будто сознавая эту разницу в своем положении отечества, Государь был не только весел и милостив, но нежен с персоналом лицея. Он сам роздал призы и аттестаты воспитанникам, и объявив значительные награды, как им, так и наставникам их, ушел, отечески распростившись со всеми. Это было его последнее посещение лицея. Затем лицеисты пропели прощальный гимн Дельвига с музыкой Тепера и на другой день распущены были по домам. Таким образом кончился для Пушкина курс лицея. Он выходил из него, как и большая часть его товарищей, с горячей головой и неустановившейся мыслью: никакого убеждения, никакого твердого и ясного представления не было добыто ими ни по одному предмету человеческого

существования вообще, ни по одному явлению русской жизни в особенности. Они выносили из него отвлеченное понятие о свободе, щекотливое самолюбие и весьма живой, чувствительный point d'honneur: это были единственные орудия, которыми они были снабжены для образования из себя нравственных единиц, дельных тружеников и мужественных характеров. Замечательные люди, принадлежащие к этому первому выпуску и сделавшиеся известными именами русской администрации и гордостью своей страны, свидетельствуют только о силе собственных своих нравственных средств, далеко раздвинувших границы полученного ими от лицея образования. За порогом училища начинался для них, как уже было сказано, новый курс, где они сами были и судьями, и орудиями своего научного, политического и общественного развития.

Теперь посмотрим, куда собственно выходил Пушкин.

III.

БОЛЬШОЙ СВЕТ.

1817 — 1820.

Политическое состояние общества. — Различные круги светской молодежи. — Шумная и рассеянная жизнь Пушкина. — Он принимается за эпиграммы и стихотворные памфлеты. — Возникновение тайных союзов, общий характер тогдашней светской культуры. — Что получает в наследство Пушкин от первых и от второй?

С неутомимой жаждой изведать мир и общество, открывавшиеся перед ним, ринулся Пушкин в свет и, конечно, на первых порах, не почувствовал никакой нужды выбирать свои знакомства или осторожно обращаться с новой жизнью, куда вступал без всякой руководящей мысли.

Как воспитанник лицея, Пушкин может считаться сам произведением тех плодотворных начал, которые с воцарением императора Александра I раздвинули границы народного образования, положили основание новым университетам и училищам, а со знаменитым указом 6-го августа 1809 года, поставили даже весь служебный мир в зависимость от школы, благодаря устроенной тогда связи между иерархическим повышением и ученым дипломом или публичным экзаменом. Другой не менее знаменитый указ, 20 января 1819 года, награждавший прямо известными чинами воспитанников при выпуске их из государственных учебных заведений, как это было сделано прежде всего с лицеем, привлек в стены университетов и гимна-

зий много новых посетителей и перемешал все свободные сословия наши так, как они не были еще перемешаны до тех пор. Со всем тем, великая преобразовательная мысль, подсказавшая как эти, так и многие другие реформы в администрации, прерванная на время отечественной и заграничной компании, уже никогда не возвращалась к первоначальной своей энергии. Пушкин вышел, например, из лицея накануне, так сказать, ахенского конгресса (осень 1818 г.), принявшего, как известно, меры для ограничения вредных последствий излишне свободной европейской печати, что отразилось у нас необычайными строгостями цензуры относительно литературы нашей, ничем не заявившей наклонности к политическому бунту. В этом же году преобразовательная мысль удалилась из центра империи на окраины ее, в Польшу и Литву, и там устраивала местные интересы на таких широких основаниях, которыми возбуждали зависть русских обделенных патриотов и казались им даже началом раздробления самого государства. После недолгого колебания внутренней политики в 1819 г., еще сопротивлявшейся благодаря усилиям И.А. Каподистрии, внушениям австрийских реакционеров, преобразовательная мысль окончательно потухает и у нас. Не далее как в 1820 году являются на свет подавляющие и обскурантные теории Магницкого, по ним уже и начинающего свое разрушение казанского университета и проч. Конгресс в Троппау (1820 г.), совпадающий с происшествием в Семеновском полку, и конгрессы в Лайбахе (1821 г.) и Вероне (1822 г.) определяют затем направление дел в России так ясно, что сомневаться в повороте преобразовательной мысли на другую дорогу не предстояло возможности. Появление Пушкина на арене света приходится, таким образом, именно к началу этой непредвиденной остановки в естественном развитии и ходе новых учреждений, что не одного его сбило с толку и лишило возможности видеть настоящий свой путь между двумя порядками жизни, одинаково сильными и требовательными.

Истинное спасение людей в подобные затруднительные эпохи истории составляет, без сомнения, общий характер накопившихся материалов образования в известной стране, те нравственные и политические начала, какие она успела уже выработать для себя. Они помогают спокойно ожидать прохода мутной струи случайных обстоятельств, которая не в состоянии поглотить самые основы приобретенной цивилизации. Ни такого общего характера образования, ни таких начал не существовало еще у нас в то время. Университетское поколение, которое одно могло их представить, еще не нарождалось.

Оно показывается у нас не ранее тридцатых годов. Пушкин его не знал добрую половину жизни и встретился с ним только на конце своего поприща, приветствуемый новыми людьми с любовью и восторгом, каких, может быть, и не ожидал от них. Еще не было тогда людей, связанных общностью научного и нравственного воспитания, а существовали только образцы разнокалиберных, разнохарактерных, вольных, так сказать, образований и направлений, которые ничего общего между собой не имели, а связывались механически употреблением одного и того же французского языка, с большей или меньшей развязностью. По выходе из лицея, Пушкин как раз подоспел к тому времени, когда эти образчики различных степеней культуры, собранные в столице службой, заняты были мыслью и истощались в усилиях сговориться и сблизиться друг с другом, на каких-либо основаниях, на каком-либо деле, одинаково понятном для всех.

Новые постановления, вызывавшие и устраивавшие публичное образование на Руси, не тронули, однако же, одной исторической тропы, по которой дети высшего и зажиточного дворянства восходили ко всем видам и родам государственной службы уже более столетия, именно военной. Она и теперь осталась вполне открытой для них, избавляя их от конкуренции с разночинцами и от уступки духу новых демократических учреждений. В кругу этой светской и богатой военной молодежи Пушкин именно и нашел первые свои знакомства. Многие из литераторов сами принадлежали к нему, да и вообще блестящее сословие гвардейских офицеров давало тогда свой тон и окраску всему молодому поколению, не исключая и тех лиц, которые, по роду службы и призванию, к нему не принадлежали. Это сословие создало свой собственный тип изящества и благородства, казавшийся непогрешимым идеалом для целого поколения, которое старалось понять и перенять его — и это не в одних столицах, а на всех концах империи. И совсем тем сословие не имело нисколько целостности и однородности сильной корпорации, как можно было бы предполагать: оно еще делилось по образованию своих членов, по началам, понятиям и убеждениям их на множество несходных и противоположных кругов, как и само общество. В среде его были люди, едва одолевшие легкий, вступительный экзамен, положенный для определяющихся, и были люди с европейским космополитическим образованием, которое некоторыми из них приобреталось из первого источника, за границей. Деление и тут не кончалось: в последнем разряде высились еще отдельно и самостоятельно личности, серьезно занимавшиеся теми вопросами современной политики, истории и

этнографии, которые возникли в Европе после падения ее самовластного опекуна, Наполеона I-го. Были различия еще более крупные.

Оттенок либерализма, господствовавший в передовых людях военного сословия и бросавший на него особенно яркий и эффектный блеск, не мешал процветать на той же почве страстным ревнителям тогдашней дисциплины и суровой военной практики. Под говор суждений и ученых толков своих товарищей, служаки эти спокойно продолжали требовать от природы русского человека сверхъестественных подвигов выправки, поставляя за честь приводить в трепет массу взрослых людей одним своим взглядом и не обращая внимания ни на какие протесты ближайших начальников своих. В покровительстве, какое они находили свыше, сказывалась основная черта этого периода нашей истории, *сознательно* допускавшего одновременное существование зачатков нового развития с порядками старой эпохи. Надо прибавить, что именно эта черта и действовала на горячие натуры особенно болезненно и раздражительно.

Если найдется историк самого русского общества для этой многоцветной и своеобразной эпохи, то ему уже необходимо будет к портретам таких гвардейских офицеров, как П.Я. Чаадаев, П.А. Катенин, Марин, Кривцов и мн. др. присоединить и биографии знаменитостей другого рода, тех казарменных героев, приводивших в ужас все им подчиненное, имена которых были так громки и славны в свое время, что пережили его, и стали забываться не очень давно.

Из всех этих разрядов, кроме последнего, слишком глубоко погруженного в свои специальные занятия, выделялся еще тогда один кружок, который уже ни о чем другом не думал, кроме эпикурейского наслаждения жизнью. Правда, что сущность этого эпикурейства он полагал в одном громадном, богатырском разгуле, сохранявшемся долго в воспоминаниях современников. Круг этот не был исключительно военным: он числил промеж себя молодых людей всех званий, и к нему-то Пушкин и пристроился тотчас после выхода из лицея. Все дело состояло тут в задаче расточать, как можно полнее, развязнее, без оглядки и расчета, свое состояние, у кого оно было, свое время, физические и нравственные силы свои, сохраняя при этом только сословную гордость и презрение к орудиям, которые герои кутежей употребляли для своей потехи. Разгул получил даже вид доблести, потому что соединялся с рискованными шалостями, вызывавшими на самопожертвование, что сообщало ему особую заманчивость в глазах молодежи, которая охотно предается удовольствиям, сопряженным с опасностью. Явилось соревнование в изобретении

наиболее отчаянных, скандальных проказ, а также хвастовство тем запасом жизни, который сожжен был при том или другом случае. Как ни велико было богатство физических сил у Пушкина, но он все-таки два раза лежал, в течении трех лет, на краю гроба, в горячке, именно по милости постоянных возбуждений организма, не выдержавшего всей удали этого богатырского кутежа. Мы никак не могли опустить этой биографической черты в нашем рассказе, потому что с нею связываются очень много стихотворений Пушкина, очень много его воспоминаний, посланий, намеков, а наконец, и то обстоятельство, что она, отметив его существование в столице, была причиной общего мнения о неспособности его к дельному труду, к серьезному размышлению и к самообладанию[1] вообще.

Все эти Щ*, Ю*, Э*, К* (полные имена приведены в собрании стихотворений Пушкина) были, действительно, руководителями его на поприще расточительного беспутства, которое было не под силу и в материальном смысле ограниченным средствам поэта, часто не располагавшего, как сам сознается, и копейками для оплаты извозчика. Новые друзья его представляли, так сказать, аристократию разгула. От этого, может быть, подвиги их и держались так долго в памяти людей и пересказывались с таким упоением в провинциях. Пушкин отдаривал своих руководителей стихами и посланиями, наравне с модными тогда прелестницами — Штейнгель, Ольга Масон (см. пьесы: «Выздоровление», «Ольга, крестница Киприды»). Замечательно, что люди, так охотно убивавшие свою молодость, были не только веселые и остроумные люди, но и хорошо образованные, по-своему, и очень даровитые: между ними встречались дельные личности, ус-

[1] Какие разнообразные и затейливые формы принимал тогдашний кутеж, может показать нам общество «Зеленой лампы», основанное Н.В. Все-м и у него собиравшееся. Розыскания и расспросы об этом обществе обнаружили, что он составлял, со своим прославленным калмыком, не более, как *оргиаческое* общество, которое, в числе различных домашних представлений, как изгнание Адама и Евы, погибель Содома и Гомморы и проч., им устраиваемых в своих заседаниях (см. статью г. Бартенева: «Пушкин на юге»), занималось еще и представлением из себя, ради шутки, собрания с парламентскими и масонскими формами, но посвященного исключительно обсуждению планов волокитства и закулисных проказ. Когда в 1825 г. произошла поверка направлений, усвоенных различными дозволенными и недозволенными обществами, *невинный*, т.е. оргиаческий характер «Зеленой лампы» обнаружился тотчас же и послужил ей оправданием Дела, разрешавшиеся «Зеленой лампой», были преимущественно дела по Театральной школе, куда некоторые из ее членов старались даже пробраться под видом говения. Школа имела свою церковь Вероятно, тут же слушались и анекдоты из насущной скандальной хроники общества, в роде анекдота с театральным майором, где первым действующим лицом был сам Пушкин, и тому подобных.

певшие потом с остатками уцелевшей энергии выказать значительные способности. Серьезная подготовка некоторых из них составляла довольно пикантную противоположность с их образом жизни и обычными занятиями. Знаменитый Каверин, например, не знавший никогда, по уверению современников, ни усталости, ни поражения в обычных подвигах этого кутежного братства, был еще слушателем в геттингенском университете, где он оканчивал свое образование, не более, не менее, как Н.И. Тургенев. Защитники этих русских Лукуллов и Катилин (а они находили защитников и в очень высоких сферах общества) утверждали, что причину всех их излишеств должно искать в праздности, на которую обречены были их душевные и умственные силы; но если причина и существовала, то к ней примешалось уже столько других влечений, выдуманных потребностей, искусственных возбуждений и, наконец, простого баловства жизнью и состоянием, что серьезно останавливаться на ней нет никакой возможности.

В одной из тетрадей поэта, принадлежащих к этой эпохе; встречается замечательный рисунок карандашом, набросанный им вообще не без искусства. Рисунок изображает мужчину за столом, обремененным бутылками; вблизи какая-то женщина, имеющая подобие фурии или вакханки в последней степени винного экстаза, сбивает балетным движением ноги одну из бутылок со стола на пол; другой мужчина, отягченный винными парами, прислонясь к стене, закуривает трубку; всей группе прислуживает *«смерть»* в образе старого слуги, пробирающегося осторожно между остатками пиршества. Рисунок этот имеет теперь почти что символическое значение относительно тогдашней жизни Пушкина в Петербурге, да он же, по всем вероятиям, передает и какое-либо действительное событие[1]. Смерть, в самом деле, часто прислуживала на пирах, кончавшихся дуэлями. Дуэли были тогда в полном ходу. Дуэлей искали. Кто тогда не вызывал на поединок и кого тогда не вызывали на него?! Напрашиваться на историю считалось даже признаком хорошей породы и *чистокровности* происхождения, что помогало многим, употребляя один этот прием, скрывать долго ничтожество своего ума и характе-

[1] Покойный Я.И. Сабуров, свидетель эпохи, узнавал в фигуре мужчины за столом того же Каверина, о котором сейчас говорили. Известно, что Каверин был секундантом у гусара Завадовского в дуэли, наделавшей тогда много шума и стоившей жизни противнику Завадовского — Шереметеву. Дуэль возникла из ссоры обоих соперников за танцовщицу Истомину, согласившуюся принять *вечер* у одного из них.

ра. Человек, сделавший из дуэли свою специальность, известный Якубович, пользовался необычайной популярностью в свете и приобрел в воображении молодых людей размеры и очертания почти что эпического героя, хотя его жалкое понимание себя и своего времени, его наклонность к фразе в словах и поступках не давали ему особенного на то права. Очарование, производимое, однако же, этим героем, было так велико, что Пушкин вопрошал А. Бестужева еще в 1825 г. из Михайловского, где тогда жил: «Кто писал о горцах в «Пчеле»? Не Я-ч ли, герой моего воображения? Когда я вру с женщинами, я их уверяю, что я с ним разбойничал на Кавказе, простреливал Грибоедова, хоронил Шереметева. *В нем много, в самом деле, романтизма*». Так под романтизмом можно было разуметь тогда еще и иную жизнь, без правил, но с претензиями и выходками, более или менее нагло-эффектного характера.

Общая наклонность к вызовам и дуэлям не прошла без следа и для Пушкина. Она оставила корни в его сердце и особенно развилась во время пребывания на юге России, где породила множество историй, рассказываемых и доселе. Она утихала и ослабевала потом с годами, но медленно, всегда готовая возникнуть с прежней энергией. Аристократический способ разрешать дуэлью все противоречия в жизни казался до того естественным, что приходил ему на ум даже по поводу литературных споров. Так, письмо его из Одессы к издателям «Сына Отечества» (1824, № XVIII), где он заявлял единомыслие свое с князем Вяземским по определению классиков и романтиков эпохи, начинается у него словами: «В течении последних четырех лет мне случилось быть предметом журнальных замечаний. Часто несправедливые, часто непристойные, иные не заслуживали внимания; на другие *издали отвечать было невозможно*». Прибавим, что он никогда, во всю жизнь, так и не отвечал на литературные нападки, как намекает в своей фразе: она вылилась без ведома его мысли, на подобие закоренелой привычки, полученной с ранних лет.

По наружности казалось, что Пушкин принадлежит душой и телом своим новым товарищам по гоньбе за сильными нервными потрясениями и за приключениями всех возможных родов: многие и действительно полагали тогда, что он не вырвется из среды их ранее полного физического истощения и полной нравственной усталости. Пророчество их не сбылось. В природе этого человека уже начинало сказываться то особенное свойство ее, по которому Пушкин всего сильнее чувствовал отвращение к крайностям и увлечени-

ям, когда они всего сильнее одолевали его ум и сознание. Так случилось именно и в эту пору развития. Товарищи его по веселой, беззаботной растрате жизни, ума и способностей еще считали его в числе надежнейших своих членов, а уже Пушкин начинал обращать от них взоры в другую сторону; именно в ту, где можно полагать существование иного круга людей, с иными целями в жизни. Оттуда являлись, по временам, образчики и представители какого-то нового учения, говорившего о задачах в жизни и о началах, не похожих на те, которые были усвоены им самим. Этот еще невидимый круг, волновавший его воображение посреди пиров и развлечений, был антиподом того общества, промеж которого он жил. Не одно любопытство было возбуждено в Пушкине случайными встречами с загадочными людьми, имевшими строгий вид пуритан, как их и называли тогда, но просыпалось тревожно и нравственное чувство, сбереженное им целиком в душной атмосфере вакхических и всяких других сходок.

Гораздо позднее сам Пушкин обрисовал мимоходом, но очень метко, одним, так сказать, штрихом нравственную физиономию этого строгого кружка. В одной из неоконченных повестей, начатых поэтом незадолго до женитьбы и явившейся в печать много лет спустя после его смерти («Отрывки из романа в письмах», т. VII сочинений Пушкина, изд. 1857 г.), он влагает в уста гвардейского офицера *1828 года* замечательную речь в ответ на упрек в отсталости, который был сделан ему приятелем за наклонность к волокитству и к любовным интригам: «Выговоры твои совершенно несправедливы. Не я, а ты отстал от своего века — *и целым десятилетием. Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат 1818-му году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде.* Мы являлись на балы, не снимая шпаг; нам неприлично было танцевать и некогда заниматься дамами. Честь имею донести тебе, что все это переменилось. *Французская кадриль заменила Адама Смита.* Всякий волочится и веселится, как умеет. Я следую духу времени, но ты *ci-devant un homme-стереотип.* Охота тебе *сиднем*[1] сидеть одному на оппозиционной скамеечке и глазеть по сторонам».

Трудно выразить лучше и полнее в немногих иронических строках различие созерцаний у двух умственных эпох последнего нашего времени; сравнение это, конечно, разрешается не совсем в пользу той из них, которая начиналась с 1828-го года. Действительно, пре-

[1] В оригинале Лафайэтом.

жние светские люди военные и не военные, представлявшие интеллигенцию русскую в промежуток между 1818—25-м годами, занимались умозрительными и важными рассуждениями, проповедовали строгость правил и политическую экономию, говорили на балах с дамами об Адаме Смите и проч., но они делали еще и нечто другое, что Пушкин только подразумевает в своем очерке. Они составляли таинственные, интимные кружки, в которых уже разбирались вопросы политического свойства и содержания. Этими кругами и продолжалась та работа соглашения различных наших *образованностей* на какой-либо одной общей теме, которая началась давно, но пришла к серьезным результатам только в 1818 году. В этом году, после короткого пребывания в Москве, гвардия вернулась в Петербург с уставом «союза благоденствия» — тайного политического общества, которое окончательно сформировалось в первопрестольной нашей столице, под шум праздников и балов, ознаменовавших посещение Москвы двором и союзником нашим 1813—15 годов, королем прусским.

Самая сильная сторона этого знаменитого общества заключалась в пропаганде, которой оно занялось в Петербурге, вербуя себе новых членов и указывая им на обязанности перед собой и перед отечеством, о которых никто и не думал прежде. Нам все равно знать, занесено ли было это движение из-за границы, вместе с возвращением русской армии на родину, или родилось само собой, как следствие более развитой общественной культуры, чем прежде, или даже, как следствие первоначальных реформ самого царствования: все три предположения могут быть одинаково справедливы, и друг друга нисколько не исключают. То достоверно, что «союз», благодаря своей *воспитательной* пропаганде, ввел в обычное течение петербургской жизни неожиданную, яркую и кипучую струю. Присутствие чего-то небывалого и особенного в жизни чувствовалось невольно всеми, даже самыми рассеянными людьми, как мы видели на примере Пушкина; правительство догадывалось о появлении нового, невидимого деятеля в обществе не менее кого бы то ни было. Пропаганда «союза», преследуя свои цели образования и воспитания умов, поднимала вместе с тем и много вопросов современного гражданского устройства России, на которые никто еще не был готов отвечать; указывала многие обязанности людям, которые не совсем совпадали с тем, что требовалось от людей обычаем и заведенными порядками жизни. Оппозиционный характер пропаганды обнаружился с первых же ее шагов; но общество не удовольствова-

лось тем, а перешло, по стечению обстоятельств, на почву чисто-революционных стремлений, чем и подписало себе смертный приговор.

Оставляя в стороне вопрос о том: мог ли «Союз», будучи тайным обществом, долго держаться на одной своей ученой, социальной и нравственной пропаганде, обратимся прямо к факту. Когда, вследствие рокового хода своего развития, или вследствие гнета обстоятельств, общество приняло чисто-политический характер и революционный оттенок, то это дополнение или изменение его программы понизило все задачи общества и было для него шагом назад. В памяти людей общество сохранилось единственно за свою первоначальную, нравственную и культурную пропаганду, за старания оторвать умы от праздного и легкомысленного существования и направить к дельной работе, за усилия пробудить в сердцах тот род спасительного беспокойства, который предшествует обыкновенно возникновению всякой серьезной деятельности. Первоначальная программа требовала некоторой подготовки со стороны членов и не могла быть осуществлена без знания общественных дел, без изучения условий нашего социального быта и без долгих размышлений о способах его исправления, на основании науки и сравнительной истории других государств. Все это становилось лишним, когда на первом плане водворилась радикальная тема, которая по лживой своей всеобъемлемости, свойственной таким темам, освобождала всех от обязанности искать разрешения трудных вопросов путем исследования их. Тема предлагала совсем готовое разрешение и притом такое, которое ничего не требовало от людей, кроме смелости. «Союз» облегчил обязанности своих членов до последней крайней степени, и взамен того получил — толпу. Толпа эта и составила его наказание. Наплыв членов, с пустыми затеями щегольства своей принадлежностью к оппозиционному лагерю или даже со злонамеренными целями одинаково воспользоваться и успехами и неуспехами общества, был таков, что коноводы его принуждены были подумать о распущении «Союза», которое действительно и состоялось на съезде его представителей в Москве, в 1821 году.

Не более счастливо было относительно серьезности своего персонала и «Северное Общество », возникшее на развалинах уничтоженного «Союза». Оно нашло очень строгих судей в числе тех, которые стояли к нему весьма близко[1]. Позднее, из видов оправдания

[1] Так почтенный Ник. Ив. Тургенев произносит об нем приговор более чем суровый, именно иронический приговор в своей брошюре: «Ответы Тургенева, 1867 г.»

общества, образовалось мнение, что крайние революционные стремления принадлежали в нем отдельным личностям, составляя исключение в его деятельности, которая направлена была преимущественно на изменение и возвышение идей и понятий кругом себя и имела ровно столько политической окраски, сколько имеет ее каждое явление социальной жизни. Но с принятием этого мнения приходится опустить из вида характеристическую черту нравов и умственного состояния эпохи, которая имеет за собой полную историческую достоверность. Прямая политическая и революционная программа общества была для современников его именно тем магнитом, который привлекал к нему неофитов; надежда разрешить сразу, без труда и долгих умственных напряжений, все затруднения времени одним государственным переворотом, соответствовала степени умственного развития эпохи и жила во многих сердцах. Существовал разряд людей, и очень многочисленный, который веровал в самое слово — переворот, не вдаваясь в разбор его смысла и содержания; были люди, готовые жертвовать за переворот, каков бы он ни был, своей жизнью и судьбой. Даже лица, ясно видевшие недостаток в своем обществе средств и способов приобрести значение серьезного дела, еще думали, что случай подскажет обществу, в нужное время, все то, до чего оно не могло дойти и додуматься в своих заседаниях. Этим общим настроением эпохи объясняются и постоянные усилия Пушкина добыть себе место в тайном обществе, существование которого он уже подозревал.

Но он так и не добыл его. Правда, в эпоху процветания «Северного Общества», Пушкина уже не было в Петербурге, но и предшествовавший ему «Союз», столь гостеприимный для всех, крепко держал двери свои назаперти перед поэтом. Также точно поступили с ним и члены южного общества, когда он очутился промеж них, после своей высылки из Петербурга. Он, можно сказать, жил тогда, окруженный заговором, который имел своих представителей на юге, в лице В.Л. Давыдова, С.Г. Волконского, А. В. Поджио — друзей и

(по поводу некоторых замечаний о наших тайных обществах в книге Е. П. Ковалевского «Граф Блудов»). Он утверждает, что под конец общество занималось шутовскими церемониями приема новых членов, и что вообще заседания его возбуждали осуждение и нескрываемые улыбки презрения со стороны наиболее развитых членов братства (стр. 26 и 27 «Ответов»). Он добавляет свои известия замечанием: «Многие вступали в общество, но, вступая в него в одну дверь, выходили в другую». Он неправ только в том, что на основании малого политического смысла, обнаруженного обществом, отвергает и политический характер вообще, ему приписываемый.

родственников семьи Раевских, столь любимой поэтом: он находился с ними в постоянных, дружеских и задушевных сношениях. Ничем другим нельзя объяснить этой сдержанности и замкнутости тайных кругов, по отношению к Пушкину, кроме молчаливого их решения — предоставить его своему настоящему призванию и делу, и таким образом случилось, что Пушкин семь лет сряду стоял посреди заговора, омываемый, так сказать, волнами его со всех сторон, и не нашлось ни одной, которая бы унесла его с собой в пропасть, где так много погибло его друзей, товарищей и ровесников.

Понятно, что долгая жизнь в атмосфере тайных обществ не могла не отложить на душе и характере Пушкина некоторых приемов и навыков мысли, которые потом сделались любимыми и отличительными его приемами. Так, уже гораздо позднее, в петербургский период его жизни (1830—37), его горделивый способ держаться на глазах света и в сношениях с влиятельными людьми, постоянно давать им чувствовать свои права на самостоятельное обсуждение их мнений и поступков — обличали в нем человека александровской эпохи. Он носил на себе внешний вид либерала 20-х годов и тогда, когда уже давно был искренним сторонником власти, законного авторитета, начал порядка и правильного развития государства, что давало повод поверхностным людям не доверять его образу мыслей вообще, а не благорасположенным прямо указывать на него, как на тайного врага всех существующих порядков. Все это должно оправдывать нашу короткую остановку на политических обществах, но мы принуждены еще невольным образом возвратиться к ним, так как они же дали Пушкину и первые черты политического учения, которое он впоследствии развил в целую систему.

В числе различных идей и направлений, столкнувшихся друг с другом на арене заговора, существовали и аристократические воззрения, легко усматриваемые при разборе элементов, из которых собственно заговор состоял. Участите в нем значительного круга людей, желавших возвышения и улучшения политического и социального положения высшего класса в государстве для того, чтобы он мог занимать с честью пост естественного защитника прав общества и народа, не подлежит сомнению. Идея эта была не нова и не нашими людьми придумана. Она уже с давних пор разрабатывалась на Западе писателями легитимистской и юнкерской партий, имевшими преимущественно в виду тогдашнее политическое значение английской аристократии; но там, на Западе, идея носила консервативный характер и была произведением умов, искавших, вместе с прави-

тельствами, оплота против слепых народных смут и страстей, а у нас, по особенным историческим условиям русской жизни, она уже явилась, как антиправительственная и революционная идея. Класс людей, принявший ее в руководство, не отступал ни перед словами о свободе и равенстве всех граждан перед законом, ни перед необходимостью крупных жертв для ее осуществления, но он имел в виду значительное вознаграждение за свои уступки. Взамен возможного упразднения дворянской грамоты и крепостного права, он мог надеяться на роль политического сословия, призванного управлять судьбами своего отечества. Программа его подвергалась уже и тогда критике и возражениям со стороны тех, которые видели в ней основу для новых олигархических порядков, нанесших уже столько вреда России в прошлое время. Но она, тема эта, имела одно важное преимущество: она превосходила своим содержанием программы всех других партий, по большей части чудовищно-решительные или пусто-громкие и эффектные. Особенно полное, обаятельное действие производила она на те отпрыски знатных дворянских фамилий, которые по своему состоянию и образованию считали себя несправедливо осужденными на праздность или на ничтожные, служебные труды; хотя и вообще способна была своим обманчивым видом сочувствия к интересам обделенных классов возбуждать энтузиазм в молодых и бескорыстных сердцах. Она и составила именно ту приманку, за которой потянулись в тайные круги привилегированные классы общества, считавшие себя обиженными историческим ходом русской жизни. Можно сказать с достоверностью, что если бы Пушкину удалось пробраться в область заговора, как он домогался, то он вошел бы в него под знаменем аристократического радикализма, хотя, как увидим скоро, все олигархические и вельможеские тенденции были ему антипатичны в высшей степени. Общие положения аристократической партии, о которой говорим, не пропали однако же даром. Наши тайные круги дали ему первый материал, первые, еще грубые, основания для теории о либерально-охранительном призвании дворянства, которую Пушкин впоследствии значительно обработал, поправил и изменил. Он перенес свое сочувствие на скромное, трудящееся, ученое наше дворянство, усмотрев в нем естественного покровителя и воспитателя народных масс и защищая его права на общественное влияние с большой силой, с глубоким убеждением и немалым талантом.

Естественным последствием всех этих влияний — было желание Пушкина проникнуть в самые недра того отдельного мира сто-

5 Зак. 1295

личной жизни, который назывался «аристократией». За это желание он вынес много упреков от друзей и недругов, в свое время, — упреков, не умолкших и позднее, но недоразумение, их породившее, требует, наконец, разъяснения. Конечно, не за обретением жизненных идеалов существования обращался наш поэт к сферам, где приютились богатство, роскошь, тонкие материальные и духовные наслаждения (он искал своих идеалов в ином направлении, как о том еще много будем говорить), а совсем по другим причинам и побуждениям. В нем с молода жила страстная, мучительная потребность изведать все стороны и слои общества, как и все раздражающие удовольствия и все впечатления и уроки, какие они могут дать. Натура Пушкина была многотребовательная в высшей степени. Присуждать такую натуру к замкнутой жизни аскета-труженика, или в укор ей противопоставлять благородный тип человека, всегда верного раз усвоенной им идее и не желающего выходить из круга людей, ему сочувственных, значит, просто морализировать втуне. Пушкин физически страдал и задыхался, когда осужден был на долгое время жить в одной и той же обстановке, довольствоваться одним и тем же рядом знакомств, связей и впечатлений. Это мы тоже скоро увидим из описания его кишиневской и михайловской жизни. В настоящем случае так называемые аристократические круги должны были еще особенно раздражать его любопытство. В недрах избранных фамилий стала замечаться к этому времени наклонность оборониться и уйти от наплыва разночинцев и новых, неизвестных людей, уже прорвавших ряды остального дворянства, вследствие реформ и правительственной системы двух царствований императоров Павла и Александра I-го. Другого способа не открывалось для того, как выделиться *нравственно,* так сказать, из сословия, с которым знатные роды были связаны законом; отсюда и первые их попытки создать себе другие обычаи, понятия и задачи существования, чем те, которые были в ходу под ними. Пушкин уже видел образчики этого нового направления в тех молодых отпрысках избранных фамилий, которые по нужде или для своего развлечения спускались в толпу, завязывая в ней иногда чрезвычайно важные, как знаем, знакомства и сношения. Мог ли Пушкин возбранить себе попытку узнать новое явление, которое уже давало себя чувствовать в самом его источнике. Оно было любопытно еще и с другой стороны, составляя как бы аномалию в ходе дел и порядков времени. Оно существовало именно обок со своим опровержением, с живым своим отрицанием, с одним всесильным лицом, графом Аракчеевым, вышедшим из тех низ-

менных слоев, от которых фамилии хотели удалиться, и управлявшим как ими самими, так и страной. Граф Аракчеев посмеивался всем идеям и затеям своих знатных товарищей и просто понимал власть, как случайное приобретение, которым должно пользоваться в самом обширном смысле, когда она находится в руках, и подчиняться ей безусловно, когда она перешла в другие руки. Достойно изумления, что этот всемогущий человек ограничивался только административными сферами, хозяйничая во всех ведомствах беспрекословно, и мало касался улицы, домашней жизни и обмена мнений, не устанавливая за ними никакого особого надзора. Это уже зависело от свойства его честолюбия, по преимуществу служебного, и от бедности его образования, нисколько не интересовавшегося общественными явлениями, но это помогло александровской эпохе развиться на свободе, со всеми своими качествами и недостатками.

Пушкин имел право думать, что, принадлежа сам к древнему, историческому дворянскому роду, он может найти себе место везде, где пожелает, но оказалось, что не всегда двери иных домов открываются и перед таким преимуществом. Неодобрительные отзывы и осуждения друзей и близких знакомых Пушкина увеличились, когда они заметили, что он делает первые шаги для сближения с классом, который сам нисколько не думает идти ему навстречу. Довольно любопытно, что упреки, сыпавшиеся тогда на Пушкина, выходили совсем не из какого-нибудь ярого, демократически настроенного лагеря, а от людей, принадлежавших, как И.И. Пущин и др., к старому и родовитому нашему дворянству; так уже была велика рознь в сословии. Но и тут существовало значительное недоразумение. Действительно, один и самый почтенный отдел этого дворянства считал для себя унижением навязываться в друзья к богатым и знатным фамилиям; люди этого отдела шли скромно и твердо по избранным ими служебным, литературным и другим путям, достигая иногда и важных постов в государстве, или, в крайнем случае, заслуженного почета в обществе. К этому разряду принадлежала и большая часть критиков Пушкина, но они несправедливо смешали поэта нашего с другим разрядом того же старого, но незнатного дворянства, который потянулся со слепым и страстным увлечением к новым светилам, как только усмотрел их на горизонте — из тщеславия. Хорошим представителем этого отдела мог служить отец поэта, упомянутый С.Л. Пушкин, весь век занятый тем, чтоб показаться рядом с каким-либо аристократическим лицом на улице или пробраться в его салон, что не всегда ему удавалось. Множество уморительных

анекдотов ходило тогда о хитростях, какими он тешил свое тщеславие и пускал пыль в глаза другим. Никаких особенных усилий не нужно было молодому Пушкину для того, чтобы пробиться в круги знати по выбору: он был на дружеской ноге почти со всею ее молодежью, находился в коротких сношениях с А.Ф. Орловым, П.Д. Киселевым и многими другими корифеями тогдашнего светского общества, не говоря уже о застольных друзьях его. Притом же Пушкин возбуждал любопытство и интерес сам по себе, как новая нарождающаяся, бойкая и талантливая сила. Со всем тем, кажется, Пушкин не миновал некоторого неприятного искуса при своем вступлении на эту арену, где он был только с 30-х годов, как у себя дома. Сколько можем судить, ему пришлось на первых порах испытать досадное чувство оскорбленной гордости, познакомиться с приемами спесиво-вежливого обращения и т.п. По крайней мере, так можно заключать по глубокой иронии, с которой он говорил позднее о *своем мещанстве* и в прозе, и в стихах, а всего более по страстной защите исторических родов, приниженных обстоятельствами, которую предпринял в Одессе, с 1823 года, и уже не покидал в продолжение всей жизни. Противопоставление двух отделов одного сословия друг другу беспрестанно подвертывалось под перо его и свидетельствовало о своем происхождении из оскорбленного или взволнованного чувства. Вот, например, какая полемическая заметка, от 1830 года, осталась в бумагах Пушкина. Она вызвана была журнальными толками того времени, поднявшими вопрос об аристократии в литературе, к которой, впрочем, причислялось обыкновенно только три имени: кн. Вяземского, Пушкина и Баратынского. Заметка нашего поэта, однако же, значительно обобщает спор и тотчас же становится на ту точку зрения, с которой Пушкин вообще смотрел на вопрос об аристократии: «И на кого журналисты наши нападают? — говорит автор ее. — Ведь не на новое дворянство, получившее свое начало при Петре I-м и императорах, и по большей части составляющее нашу знать — истинную, богатую и могущественную аристократию. Pas si bête! Наши журналисты перед этим дворянством вежливы до крайности. Они нападают именно на старинное дворянство, которое ныне, по причине раздробленных имений, составляет у нас род среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного, состояния, к которому принадлежит и большая часть наших литераторов. Издеваться над ним (и еще в официальной газете) не хорошо...» Пушкин подразумевает «Северную Пчелу». Мы приводим эту заметку не как образчик тогдашней

журнальной полемики, а как подтверждение наших разъяснений авторитетом самого поэта.

И много таких заметок, урывков и мыслей, имеющих в виду истолкование различных судеб русского дворянства и будущего его призвания, мы увидим впереди и особенно много их осталось от эпохи 1833 г., когда Пушкин писал своего «Медного Всадника». Известно, что сама знаменитая поэма эта должна была, по плану автора, представлять бедного потомка некогда знаменитой фамилии в скромной роли ничтожного департаментского чиновника. Великий преобразователь России не только отнял у отцов героя их общественное положение, но косвенно погубил и его самого в последнем убежище нищеты и сердечных привязанностей, унесенных наводнением основанного им Петербурга. Вызов помутившегося в уме чиновника, обращенный к памятнику Петра, мгновенное оживление памятника и погоня за оскорбителем, по всей вероятности, не составляла в плане Пушкина конца поэмы, как теперь. Зная его цели, тут невольно ждешь грозных объяснений царя и его апофеозы.

Возвращаемся к рассказу. Непризнанный тайными обществами и отдельными кругами, Пушкин вздумал составить себе сам видное положение между ними, и для этого отдался вполне памфлетической и сатирической деятельности, которая действительно и распространила его имя далеко за пределы обеих столиц. Так как эта деятельность играла весьма значительную роль в его судьбе, да и теперь еще влияет на разноречивые суждения людей о характере поэта, то мы и остановимся на ней с некоторой подробностью.

Было бы странно утверждать, что при сочинении своих эпиграмм, политических песенок и стихотворных инвектив, Пушкин сам не испытывал гнева и негодования, которыми дышат эти произведения; но при всей их искренности и горячности, позволительно думать, что создавая их в значительном количестве, Пушкин следовал более настроению эпохи, чем личным побуждениям, и выражал скорее ее страсти, чем свои собственные. Во всей его памфлетной деятельности не было ничего органически связанного с его собственной природой; ничего, что вытекало бы из неодолимой нравственной потребности. Пора настоящего политического экстаза для него еще не наступила: она явилась только с высылкой его из Петербурга (1820 г.) и с появлением в Кишиневе; да и тогда, как увидим далее, продолжалась не более двух лет. Способность чувствовать внутреннюю неправду увлечения и слепой страсти в то самое время, как он приносил им безумные жертвы, помогала ему расставаться с ними без

надрыва и колебаний. К тому же, в образовании петербургской задорной деятельности его участвовали, весьма значительной долей, жажда известности и рукоплесканий. Закваски настоящего сатирика, очищающего дорогу лучшему порядку вещей, потому что стоит сам выше грехов и соблазнов своего времени, конечно, в Пушкине тогда не было, а она и составляет первое условие серьезности самого направления. Оттого Пушкина и читали и слушали так, как он писал, весело восхищаясь стихом, мыслию, оборотом речи, и не очень думая о сущности дела. Его оды, эпиграммы, послания, особенно известная песенка «Noël»[1], сильно распространенная в оппозиционных кругах обеих столиц, слушались с одобрением и такими людьми, которые нисколько не сочувствовали их духу, и, конечно, при случае не задумались бы показать автору самым ощутительным образом, как далеко они расходятся с его образом мыслей. Памфлеты Пушкина видимо составляли тогда для всех нечто в роде запрещенной поэтической игры, за которой следить позволялось только до известного предела. Пушкину, однако же, казалась деятельность эта и важной и почетной. Соблазнительными, но остроумными произведениями, отчасти эротической, а отчасти революционной своей музы, он устраивал себе какое-то особенное положение, создавал из себя какое-то подобие силы, правда, ничтожной до крайности, ребячески-беспомощной и легко устранимой при первом движении противников, но все же такой, мимо которой нельзя было долго проходить без внимания. И.И. Пущин сообщает в своих «Записках», что друг его чрезвычайно обрадовался намерению одного из почетнейших лиц того времени (Ник. Ив. Тургенева) приняться за издание политической газеты, где, конечно, поэт наш всегда имел бы готовое место. Этому легко поверить. Политическая газета давала Пушкину возможность испробовать себя на другом, менее скользком и более дельном поприще. Газета, однако же, не состоялась (кстати сказать, между прочим, что Пушкин мечтал потом о создании политической газеты всю свою жизнь). Но если бы даже тогдашнее предприятие по части газеты и осуществилось, то Пушкин вряд ли мог, по малому количеству идей, собранных им в короткий промежуток светской своей жизни, явиться в ней с чем-либо другим, кроме той же более

[1] Песенка «Noël» — пародия рождественских поздравительных песенок средневековой Европы — написана была в осмеяние слухов о скором даровании империи новых установлений, — слухов, распространившихся в публике после речи, произнесенной Императором при открытии первого сейма в Варшаве (1818).

или менее замаскированной насмешки, в которой он сделался испробованным мастером. Здесь у места будет привести анекдот о Пушкине, сохранившийся в его семействе. Однажды на упреки семейства в излишней распущенности, которая могла иметь для него роковые последствия, Пушкин просто отвечал: «без шума никто не выходил из толпы». Слова эти не заключают, конечно, *всей* правды относительно его целей и побуждений, но в них, однако же, есть добрая доля правды[1].

Затем молодому Пушкину предстояло еще освоиться с тем миром понятий, который составлял, так сказать, ежедневный умственный оборот столицы. Мир этот не был очень обширен и глубок в то время, потому что весь заключался в границах тогдашнего «большого света». Большой свет сделался, таким образом, представителем русского образования не только перед Европой, но и перед всеми другими классами общества, уступавшими ему, без возражения, роль дельного ответчика за умственные силы и развитие страны. О существовании народной культуры тогда еще и помина не было: кабинетные труды наших ученых и специалистов не вызывали почти никакого внимания: «большой свет» становился сам собою как бы хранителем просвещения на Руси и лучшим доказательством его действительного существования в нашем отечестве. Этот представитель отечественного развития имел опять настолько единства, насколько имеет его калейдоскоп, слагающий различные узоры при всяком сотрясении. Обрывки разнохарактерных учений и направлений, сталкивавшихся в обществе между собою, давали ему своего рода живописность, которую можно было, по ошибке, принять за многосторон-

---

[1] Забавен также ответ Пушкина на предостережение такого же рода, сделанное ему кем-то весной, при вскрытии Невы: «Теперь — сказал он — самое удобное время либеральничать: сношения с крепостью прерваны». Наш биографический очерк был уже написан, когда мы нашли в переписке Н.М. Карамзина с И.И. Дмитриевым, изданной в 1866 г., заметку первого о нравственном состоянии Пушкина, когда над ним разразилась наконец гроза, уже давно ожидаемая всеми близкими к нему людьми. Н.М. Карамзин пишет: «Хотя я уже давно истощив все способы образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року и Немезиде; однако же, из жалости к таланту замолвил слово, взяв с него обещание уняться. Не знаю, что будет. Мне уже поздно учиться сердцу человеческому — иначе я мог бы похвалиться новым удостоверением, что либерализм наших молодых людей совсем не есть геройство и великодушие.» (Переписка, стр. 287). Почтенный историограф имел право изумиться отсутствию этих добродетелей у предполагаемого революционера, но он не знал, что в настоящем случае не было и почвы для геройства и великодушия, которые вырастают только на сумме верований и убеждений, добытых опытом и размышлением, а до них Пушкин еще не дожил.

ность развития, как это и делали современники. Вот почему довольно любопытно вспомнить теперь, по прошествии 50-ти лет с лишком, о характере идей и представлений, обращавшихся тогда в «большом свете» и составлявших умственное питание как Пушкина, так и вообще людей, которые находились в его положении — положении человека, начинающего долгий путь самообразования.

Царство блестящего дилетантизма по всем предметам и вопросам, выдвинутым вперед европейскою жизнью, никогда уже потом не достигало у нас до таких обширных размеров, какими оно могло похвастать в промежуток времени от 1815 по 1825 год. Оно кончилось, как известно, внезапной катастрофой, которая, обрушилась на него, унесла не только его сподвижников, но и все их толки, оставив общество и людей с пустыми, так сказать, руками. Конечно, были достаточные причины для такого скорого и бесследного падения. Что бы ни говорили современники эпохи о повсеместном изучении политических наук, о занятиях Смитом, Бентамом, Филанжиери и проч., но способ занятия ими вполне был *«светский»* и никакого испытания выдержать не мог.

Необычайная и страстная влюбчивость в идеи и представления, попадавшие на глаза, сделалась господствующей чертой нашего общества после заграничных войн и заменяла ему настоящее образование. Влюбчивость эта и была главной причиной водворения у нас почти всех явлений европейской мысли и цивилизации, потерявших, однако же, на новоселье свои природные формы и краски. Происходило это главным образом оттого, что почти все подобные явления рисовались в воображении своих новых обожателей чрезвычайно ярко, но уже без всякого масштаба для определений относительной их величины и размера. Идеи являлись тогда, как кумиры, с затерянной генеалогией, но требовавшие безусловного поклонения. Вот почему каждое сведение, каждое представление, а тем более каждая теория, захваченные в ученых наших набегах на Европу, представлялись тогда и еще гораздо позднее так, как будто перед ними никогда ничего не было и ничего не остается за ними, и постоянно объявлялись, поэтому, чуть не спасением рода человеческого. Таким спасением рода человеческого, между прочим, считались и мистические, теософские, по временам сектаторские учения. Светская теология вообще процветала, как никогда: переводные книжки Лабзина, заключавшие в себе галлюцинации Юнгов-Штиллингов и Эккартсгаузенов, лежали на столах государственных людей и в будуарах дам; высшее общество стекалось на католические и протестантские

проповеди, везде находя для себя поразительные *неожиданности,* перед которыми благоговело, как перед первым и последним словом человеческой премудрости. Даже такое литературное явление, как романтизм, поддерживаемый известным «Арзамасом», понималось не иначе, как неожиданным даром судьбы, откровением, посланным заключить раз навсегда эстетические и творческие теории на земле. От мистических теорий Пушкин, по здоровой нравственной своей натуре, был всегда далеко, но взамен он был не прочь смотреть на романтизм как на какую-то неизъяснимую силу, в роде «благодати», от прикосновения которой ничтожные люди становятся привлекательными, и пустые предметы делаются в искусных руках из пустых поэтическими и многознаменательными. Не говорим уже об афоризмах и положениях экономического и политического содержания. Каждое из них считалось само по себе кладом, найденным на чужой земле: требовалось только донести его бережно до дома, чтобы сделать всех кругом себя и мудрыми и счастливыми людьми. Рассказывают, будто Гегель заметил про философскую систему Шеллинга, что, не опираясь на систему логики, она, при всей своей грандиозности, производит на ум читателя впечатление внезапного пистолетного выстрела, неизвестно откуда раздавшегося. То же самое можно сказать и про культуру русских образованных классов двадцатых годов. Без основ общего и солидного университетского образования, она вся состояла, говоря иносказательно, из ряда пистолетных выстрелов такого рода, раздававшихся постоянно со всех сторон.

Для того, чтобы понять все сиротство европейских идей на нашей почве, надо вспомнить, какой правильный, строго-последовательный ход приняли естественные, политические и философские науки на Западе в начале столетия. Ограничиваясь, для примера, одним философским отделом знания, нельзя не подивиться, каким чудом явились в нашей светской публике, рядом со старыми и укоренившимися верованиями ее в сенсуализм и Руссо, еще теории Шеллинга и Окена. Развитие философских учений в Германии происходило в математически стройном порядке. Родоначальник всех ее идеалистических систем, определивший предметы и задачи мышления, именно Кант, был почти совершенно неизвестен русским философам, как и ближайший его наследник Фихте, который, однако же, и умер, так сказать, на их глазах — в 1815 г. Не далее, как в 1818 г. Гегель уже открывал в Берлине свои лекции, в которых довершал упразднение и разложение внешнего мира в категориях логической идеи, но из круга этих деятелей вырваны были у нас Шеллинг и несколько дру-

гих имен, и поставлены одиноко, как символы. исполненные необычайных загадок. Это был обыкновенный прием «светского» образованного мира, который никогда не переживал в собственном сознании самого процесса и хода известной науки, а постоянно искал поразительных идей, изумительных догматов, чего-нибудь феноменального и оковывающего внимание. После обретения подобного, смеем выразиться, ново-«*явленного*» учения он всецело предавался его страстному обожанию. История эта повторялась с каждым предметом, к которому он обращался, и выразилась даже в его исключительном поклонении псевдоклассическому искусству и французской драме.

Так как борьба с французским эстетическим кодексом и с классической поэзией вообще занимает не последнее место в жизни и творчестве Пушкина, то мы обязаны также сказать несколько слов и о художественных понятиях эпохи. Уже и в это время имена Гете и Шиллера начинали проникать в общество. «Вестник Европы» с 1818 г. стал противопоставлять, хотя еще и очень робко, французским трагикам известия о драмах Гете и Шиллера, но с появлением Пушкина он отказался, как известно, от этой пропаганды и возвратился назад. Не более выдержки показала и светская критика. Для нее знаменитые поэты Германии были опять чем-то в роде неожиданных небесных знамений, появившихся на европейском горизонте и задающих трудные вопросы зрителям. И действительно, их не легко было уразуметь без знакомства с деятельностью Лессинга, очистившего им дорогу, и с новой немецкой философией, воспитавшей их дух и устроившей их созерцание. Оставалась классическая драма и классическое искусство вообще, столь доступные образованному нашему классу по своему чистому французскому диалекту: они не требовали и особенной подготовки. На классической драме и сосредоточились общие восторги и похвалы. Высокообразованные люди эпохи успели понять красоту ее фразы, проникнуться чинностью и приличием ее форм, этикетом времен «великого монарха», который герои ее соблюдали даже в минуты катастроф, наконец ее напыщенно великими (sublime) или ухищренно тонкими изречениями. Эти выходки и фразы одно поколение детей за другим учило у нас наизусть чуть ли не полвека с ряду. Самый же дух псевдоклассического искусства, так понятный народам романского происхождения, был совершенно чужд северным его поклонникам. Какие струны сердца могли, в самом деле, будить у них отголоски греко-римского языческого мира, что могли говорить их уму и воображению другие составные части классической поэзии — воспоминания из эпохи «возрож-

дения» с ее жаждой блеска, щегольства, наслаждений или мотивы, занесенные в нее от средневековых труверов, из кодекса рыцарской чести и морали и проч. Но сладкая привычка слушать французскую речь и изъясняться ею держала все светское общество долго в упоении перед псевдоклассическим искусством. Пушкин, однако же, скоро отрезвился, благодари Байрону, от этого упоения, которое сначала разделял со всеми; но понадобились весь его талант и многолетние усилия критиков, чтобы ослабить в обществе эту почти кровную его привязанность. Еще в 1830 году Пушкин, приступая к изданию «Бориса Годунова», сомневался в его успехе, основываясь на классических симпатиях публики и прибавляя: «нововведения, кажется, не нужны и опасны ». (См. «Материалы» 1855, стр. 147).

Вообще говоря, благородные личности той эпохи (мы разумеем ее лучших людей, ее «интеллигенцию») поражали в последовавшее затем время благоговейной преданностью и любовью к той или другой идее, явившейся им на заре жизни, как истина. Оно и понятно. Все, что они называли знанием, никогда не носило характера изучения, допускающего видоизменения взглядов, поправки их или развития. Всякое знание, так или иначе добытое, было для них глубоким, непоколебимым верованием непререкаемым догматом, чем и объясняется замеченная в них стойкость убеждений до слепоты и упрямства.

Горячий и страстный дилетантизм времени развивался с особенной силой и полнотой на почве русской истории, в области представлений и понятий о прошлом русского народа, которым объяснялось настоящее его положение и из которого выводились предсказания о его будущем. Дилетантизм этого рода вышел совсем не из желания противодействовать господству западной науки в обществе или заставить ее, покинув свой доктринерский характер, заняться вопросами русской жизни. Напротив, и ученое доктринерство, и пламенная патриотическая фантазия часто сживались тогда друг с другом в уме одного и того же лица, которое могло свободно призывать воображаемые факты русской истории на помощь идеям чужеземного происхождения, нисколько не замечая их разновидности и внутреннего противоречия. Так именно случилось у нас по вопросу о древнеславянском быте. В светском обществе образовалась значительная партия, желавшая вывести цели и задачи русского развития из указаний истории, из свойств самого духа, «психеи» — русского народа, подобно тому, как передовые люди Германии вызывали тени Арминия, воспоминания Тацитовских немцев и проч. для обновле-

ния и одушевления своего народа. Но по тому же недостатку точных сведений и научного изучения предмета, которое замечалось во всех других сферах тогдашней умственной деятельности, эта партия сама приобрела чрезвычайно произвольный, фантастический характер. Из множества поэтических, но призрачных ее толкований русской истории, особенным успехом пользовалось то, которое помещало в общеславянском мире, с самой ранней его поры, величественные народные учреждения, обеспечивавшие каждой общине самостоятельное развитие. Светская эрудиция, овладевшая этой темой и сделавшая ее модной темой своих учено-патриотических разговоров, рассуждала о вечах в древних общинах, о подчиненной роли князей в тех же общинах, об устройстве самими племенами и народными группами всего своего политического быта и всех своих отношений к другим родственным племенам и народным группам. Заключения добывались партией также легко, как и факты. Светская эрудиция усматривала в старых порядках древнего нашего быта высокий идеал общественного и политического существования, достойный восстановления и подражания. Молодое поколение призывалось осуществить этот старый, утерянный идеал жизни, который тем удачнее исполнял свою роль идеала, чем туманнее и неопределеннее представлялся сознанию. Мы осуждены приводить не много свидетельств в подтверждение нашего очерка, так как описываем внутреннюю, интимную жизнь общества, которое, по особенным причинам, редко спускалось до обнаружения своего настроения печатным словом или гласным заявлением, оставив после себя только живые предания, нами здесь и подобранные. Со всем тем уцелело от этой эпохи и несколько положительных свидетельств созерцания, описываемого теперь. Так, полемические заметки М.Ф. Орлова и Никиты Муравьева, направленные против духа и основных положений истории Карамзина, имели точкой своего отправления ревность по величию славян и по красоте их истории. Яснее выразилась теория в известном «Разборе Донесения», составленном Луниным и тем же Н. Муравьевым: там одно из примечаний излагает в виде непреложного исторического догмата, не нуждающегося в подтверждениях и изысканиях, повсеместное существование на Руси республик и совещательных собраний, никогда не признававших единоличной власти; память о них сказывалась будто и в московский период истории, например при Иване Грозном, и очевидно была свежа будто бы в народе даже при Петре I-м и позднее. Да и не одними теориями ограничивалось в то время это псевдоисторическое созерцание, возникшее

в светском быту: оно перенесено было на другую почву, как это тогда постоянно делалось, и на основании его составлялись тайные общества, имевшие в виду осуществление федерации славянских племен, чему служит доказательством «Общество Соединенных Славян», возникшее на юге России. Проекты конституций, начертанных Никитой М. Муравьевым и кн. Трубецким, носят на себе отпечаток того же учения; оно подсказало им деление нашего русского мира на множество самостоятельных областей и держав, принятое и «Русской Правдой» Пестеля. Разница тут состояла только в способе устроения федеративной связи между этими частями. Какую долю времени посвящал впоследствии сам Пушкин на изъяснение *a priori* русской истории, мы уже знаем из документов, помещенных в наших «Материалах» 1855 г. Выводы его могли быть иные при этом, но приемы исследования унаследовал он от своих современников александровской эпохи, и способ относиться к истории был у него одинаковый с ними. Вот, что он писал, например, в 1831 г., рассуждая о феодализме, как о могущественном элементе развития, который пережили западные народы и отсутствие которого в русской жизни и истории, по мнению Пушкина, достойно сожаления: «Феодализм мог бы развиться (у нас) наконец, как первый шаг учреждений независимости (общины были бы второй), но он не успел... Он рассеялся во времена татар, был подавлен Иоанном III-м, гоним, истребляем Иоанном IV-м. Место феодализма заступила аристократия, и могущество ее в междуцарствие возросло до высочайшей степени. Она была наследственная — отселе местничество, на которое до сих пор привыкли смотреть самым детским образом. Не Феодор, а Языков и меньшое дворянство уничтожили местничество и боярство. С Феодора и Петра начинается революция в России, которая продолжается и до сегодня» и проч.

Замечательно, что под псевдорусскую народную охрану становились и реакционные учения, поражавшие своим чужевидным, экзотическим характером. Так ультрамистическое направление, водворившееся в самом министерстве народного просвещения, еще думало, что исполняет задачу, указанную ему всей старой русской историей. Оно также заявляло претензию опираться на коренные основания народных убеждений, понятий и представлений, когда боролось с просвещением вообще. Во имя этих предполагаемых оснований и элементов русского народного духа, деятельный агент направления, известный Магницкий, свершал преобразование казанского университета, сделавшее из этого учебного заведения образец лице-

мерного прохождения какой-то таблички благочестивых упражнений, не имевшей ни малейших отношений к знанию и образованию, а другой, не менее деятельный и известный Рунич, во имя тех же подставных начал, открывал процесс в петербургском университете, 1820 г., не только против чужеземной науки вообще, но и против первых, необходимых и неизбежных приемов всякого мышления и исследования. Замечательно однако же, что через три года после окончательного преобразования университетов, и именно с эпохи назначения министром народного просвещения (1824 г.) адмирала А.С. Шишкова, все основания, проводимые мистическим направлением, признаны были подложно-русскими, его учения нечестивым поползновением ввести беззаконную примесь в недра настоящих коренных русских убеждений; а некоторые из его учреждений, как «Библейские Общества» — даже бессознательной революционной пропагандой (См. «Записки А.С. Шишкова»)[1]. Настоящее русское созерцание оказалось теперь на стороне членов и основателей общества «Беседы русского слова». Так еще мало согласны были у нас люди понимать под известными названиями одно определенное явление. Биографическая важность приведенных нами фактов по отношению к Пушкину, кажется, не может подлежать сомнению. Из такой-то путаницы перекрещивающихся воззрений и учений, не очень состоятельных и по себе, должен был он выделять элементы своего умственного и нравственного воспитания. Он умел, однако же, усвоить от этой эпохи лучшее ее достояние — ее пытливость, ее стремления к осмысленному, разумному существованию и ее вражду ко всему злобному, низкому и раболепному. Она-то и образовала из Пушкина тип гениального человека с простой душой, насадителя благороднейших чувств и помыслов на Руси — радетеля и провозвестника всего, что возвышает мысль и помогает ей переносить тяготы и противоречия жизни.

Таков был один отдел «Большого Света»; но существовал еще и другой, *литературный* отдел его, тоже замешанный в деле образования личности поэта не менее первого. К нему теперь и переходим.

[1] Литература по этому предмету уже довольно обширна у нас. Подробности этих событий достаточно известны из статей в «Чтениях Московского Общества любителей истории и древностей» 1862 г., из монографии «Магницкий» в «Русском Вестнике» 1865 г., составленной г. Феоктистовым, и из статей: «Материалы для образования в России в царствование Императора Александра I-го», г. Сухомлинова в «Журнале Министерства Народного Просвещения» 1865 г., и в приложении к нему 1866 г. — Позднейшие статьи А.Н. Пыпина, в «Вестнике Европы» 1870 г., дополняют этот ряд чрезвычайно важных и любопытных исследований.

IV.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Умственное и нравственное развитие Пушкина. — Ученые и литературные общества. — Арзамас. — Его значение и громадное влияние на Пушкина. — Руслан и Людмила. — Катастрофа и высылка поэта из Петербурга.

Переходим к изложению умственного и нравственного развития, какое началось для Пушкина при той обстановке, которую мы старались описать.

Если самолюбие Пушкина было оскорблено осторожностью и скрытностью аристократических и политических кругов, то с другой стороны — оно находило полное вознаграждение себе в обществе литераторов. Здесь все двери были настежь для Пушкина: восторженные и неумолкаемые приветствия встречали его при каждом появлении между собратами, как бы различны ни были их убеждения. Пушкина носили здесь на руках и те люди, которые не протягивали ему руки, когда стояли на другой почве. Он был балованное дитя современных ему писателей, которые старались избегать его эпиграмм и домогались от него посланий, как отличия. По этому случаю возникали между приятелями Пушкина вообще даже переписки, хлопоты и ревнивые объяснения своих прав на стихотворный подарок. Мы знали еще недавно престарелых людей, вспоминавших с гордостью о том, что Пушкин, в былые времена, посвятил им несколько печатных или альбомных строк. Все это приходило ему даром — без всякого труда, домогательства или заискивания у тол-

пы своих поклонников. И если припомнить, что Пушкин тогда еще был загадкой и ничего не мог предъявить, кроме способности к легкому стихосложению, к остроумной шутке и нескольких попыток в элегическом роде (о дружеских посланиях и памфлетах не считаем нужным упоминать), то надо будет повторить, что само общество наше, по одному предчувствию его силы, выносило его на ту высоту, на которой он действительно и укрепился потом.

Класс тогдашних литераторов не отставал от публики в провозглашении великих надежд, подаваемых Пушкиным, но сам от себя уже ничего не мог ему сообщить, ничем не мог поделиться с ним. Класс этот еще не сознавал для себя особенного призвания в обществе, а о том, чтобы готовиться к роли руководителя публики в нравственных и эстетических вопросах — в нем не было и помина. Издали следил он за движениями и явлениями, которые слагались на поверхности петербургского образованного общества, но отражал их уже крайне слабо и тускло, как о том еще будем говорить; а что касается до задачи — возвыситься над многоречивыми толками «большого света», определить их смысл и отношения друг к другу и сделаться центром и светочем общественной мысли, отыскав основания для нее собственным, свободным и самостоятельным трудом, — то о возможности и необходимости подобной задачи в круге тогдашних литераторов не было и предчувствия[1].

Учиться тут чему-либо, чего еще не знал Пушкин, уже не предстояло возможности, хотя он усердно искал тогда учителей, если судить по известному анекдоту с П.А. Катениным, к которому явился с предложением — «побить да выучить». Напротив, из общества литераторов он вынес, благодаря их легкому отношению к своим занятиям, их промахам в языке и логике, их мелочным целям и стремлениям — привычку к глумлению и едкой насмешке, которая проявляется в его переписке с друзьями, с 1823 года, к сожалению до сих пор не собранной и не опубликованной вполне. Какая-то удаль остроумия, в ней проявляющаяся и иногда чрезвычайно метко пятнающая выбранные его жертвы, не покидала его и в сношениях с такими

[1] Само собой разумеется, что определяя общий характер писателей того времени, мы должны исключить из этого очерка имена тех тружеников науки, литературы и искусства, которые составляли славу эпохи. Таковы имена Жуковского, Карамзина, Ник. Тургенева, Куницына, Велланского и т. д.; но все эти лица стояли особняком, вне волнений литературных кругов, занятые каждый своим делом, и не дали им от себя ни тона, ни окраски, а еще менее какой-либо части собственного своего содержания.

людьми, как Жуковский и Карамзин, — это мы увидим далее, — хотя уже и отзывалась тогда шалостью избалованного юноши. Но Пушкин считал еще правом и необходимым условием свободной личности — не воздерживаться от шутки, когда она приходила на ум, к чему он так приобвык в кругу литераторов, беспрестанно вызывавших ее. Никто лучше Пушкина и не выразил обычного свойства тогдашних писателей: «они только разучиваются, — сказал он в одном месте своей переписки, — вместо того, чтобы учиться». Ясно, что с этой стороны никакой нравственной поддержки и дальнего наставления он получить не мог. Оставались многочисленные литературные общества того времени, официальные и полуофициальные, но является вопрос: что такое они были *в самом деле?*

Россия, как известно, переживала тогда эпоху «обществ» с филантропическими и моральными целями, подобно тому, как ныне переживает она эпоху акционерных, коммерческих и сцекуляционных ассоциаций. В обеих наших столицах каждый силился пристроиться к тому или другому литературному кругу, официально признанному администрацией, а некоторые принадлежали, сверх того, еще и масонским союзам, что уже считалось признаком высокого многостороннего развития и давало лицу особенный вес. Все эти круги терпелись и даже поощрялись сначала правительством в виду того, что они отвлекали людей от грубых занятий и удовольствий и возвышали умы сближением их с вопросами морального и отвлеченного свойства. На деле, однако ж, тогдашняя русская жизнь значительно упростила и понизила способы заниматься этими вопросами. Приманка масонских лож, с их затейливыми и всегда бессмысленными мистическими прозвищами, заключалась для современников преимущественно в том, что они давали людям возможность *«служить человечеству»*, иметь искренних братьев, как тогда думали, на всех концах вселенной, и потому чувствовать себя в связи со всем цивилизованным миром, не принося для этого никаких других жертв, кроме усвоения жаргона и устава своего братства и особенно покорности высшим степеням его. Не менее обольстительно было сделаться и двигателем просвещения, наук и искусств в собственном своем отечестве, приписавшись только в члены официального литературного общества и приняв на себя легкую обязанность не пропускать слишком часто его заседаний, выслушивать терпеливо чтение прозы и стихов на вечерах, заниматься тайной историей отношений, существующих между писателями, и быть наготове самому перевести или даже накропать какую-либо статейку. Но от такого

упрощения целей все эти «общества» обнаружили крайний недостаток самодеятельности и творчества. Их внутренняя слабость теперь поразительна, хотя и легко объясняется. Они сошли со сцены вскоре после этой эпохи: масонские общества — в 1822 г., литературные — в 1825 г., не оставив никаких следов после себя, не выработав для цивилизации и культуры страны ни одной черты, на которую бы можно было указать. Масонство русское времен Александра I-го окончательно утеряло свой строгий, подвижнический и моральный характер, которым отличалось в эпоху своего единственного цветения на Руси, соединенного с именами Новикова, Шварца, Походяшина: оно превратилось теперь в собрание сект и толков, разделенных обрядовой стороной, но одинаково бесцельных и беспредметных, которые доносили полиции о своих заседаниях или о своих «работах», как они еще величали свои пустовеличные собрания, в которых главным делом было исполнение различных, усвоенных ими ритуалов. Нет никакой возможности указать, чтобы гроссмейстеры русских масонских союзов, не говоря уже о рядовых членах, знали цели и задачи европейского масонства или создали для себя новые, применяясь к условиям края; таинственно, но тупо и молчаливо стояли они посреди нашего общества, без признаков чего-либо похожего на пропаганду, но с лживыми обещаниями будущих великих откровений.

От литературных обществ нам остались печатные документы, вполне разоблачающие характер их обычной деятельности. Все они имели свои журналы и органы. «Общество Любителей Словесности» при московском университете, так долго находившееся под председательством известного А.А. Прокоповича-Антонского, издавало периодически свои «Труды»; «Петербургское Общество Любителей Словесности, Наук и Художеств» выбрало для себя органом журнал своего председателя, А.Е. Измайлова, «Благонамеренный», столь много потешавший кружок Пушкина; наконец, петербургское же «Вольное Общество Любителей Словесности», управляемое тогдашним своим председателем Ф.Н. Глинкой, обзавелось журналом «Соревнователь Просвещения и Благотворения». Кто пробегал эти издания, тот знает, что, за исключением весьма немногих статей, содержание их не выражает даже и той степени образования, которая уже существовала у нас в «большом свете».

Приводим здесь для примера оглавления первых январских книжек этих журналов в 1818 и 1820 гг. Это, конечно, были лучшие №№ журналов, и вот что они содержали:

«Благонамеренный»
1818 года, № 1-й:

I. Стихотворения:

1. Властолюбие. Аркадий Родзянко.
2. Идиллия (Сыновняя любовь) В. Панаев.
3. Осень. С немецкого. Ры—ский.
4. Пруд и Капля. Басня. Ф. Глинка.
5. Кащей и Лекарь. Сказка. И.
6. Ответ и Совет. О. Н.
7. Ответ на вызов написать стихи. Г—а.

II. Проза.

1. Не родись не хорош, не пригож, а родись счастлив. Истинное происшествие. В—р П—в.
   NB. Действующие лица называются Аделаидой и Модестом.
2. Дорога от Устилуга до Варшавы. Открыв. из записок русского офицера. А. Раевский.
3. Несколько слов о кокетстве. В. П.
4. Избранные мысли из Рошефуко, Флориана, Демутье П—на Р—ая.
5. Отрывки из Вакефильдского священника. (Как образец чистого, правильного и приятного слога, каким писал покойный П.А. Никольский.
6. Разбор Хемницеровой басни: Воля и Неволя. И.

III. Смесь:

Русские анекдоты.

«Благонамеренный»
1820 года, № 1-й:

1. Приключение в маскераде. Истинное происшествие. В. Панаев.
2. Скандинавская мифология. Боги второй степени. (*Семь* страничек крупной и особенно разгонистой печати). А—ъ Р—х.

Мелкие стихотворения:

3. Мечты юности. П. Теряева.
4. Свидание. П. Межакова.
5. Романсы — числом 4.
6. Прости (*К Лиле*). Н. Покровского.
7. К одной девице, гадающей на картах. С. Н.
8. *К Лиле*. Ф. Б—л—ф.
9. Хмель и Василек. А. Ш-м-к-в.
10. Клятва пьяницы. Сказка. И.
11. Эпиграммы — числом 4.

Новости:

Иностранные известия из Франции, Италии, Австрии, Пруссии, Нидерланд, Сев. Америки (на *четырех* страничках). Благотворения, Эпиграммы, Загадки, Логогрифы, Омонимы, три шарады.
NB. В каждой из книжек до 80 страниц, in 12.

«Соревнователь Просвещения и Благотворения»
1818 года, № 1-й:

I. Проза:

1. Дух Российских Государей Рюрикова дома.
2. Странствование Гумбольдта по степям и пустыням Нового Света (*семь* стран.).
3. Различие между дружбою и любовью. А. Боровкова.
4. Ратмир и Всемила (Древнее предание).

II. Стихотворения:

1. Москва. «Сойди, поэзия священна». Графа Сергея Салтыкова.
2. Отрыв. из Делилевой поэмы: L'imagination. А. Крылова.
3. Странствование Амура. Ф. Глинки.
4. Выборы Флоры. Б. Бриммера.
5. Мальчик и Голубок. Басня. Ал. Дуропа.
6. Мартышка и Слон. Басня. Гр. Д. Хвостова.
7. Эпиграммы. Р—р.
8. Романс к другу. С нем. Н.

III. Смесь:

Жизнь В.П. Петрова. («Соперник Флакка и Марона»). Объявление о книге, ноты на романс: «Тщетно плачешь, друг любезный».

«Соревнователь Просвещения и Благотворения»
1820 года, № 1-й:

I. Проза:

1. Четыре первые Божества Индии (на *восьми* страничках). Бар. Корф.
2. О Людовике XIV. Д. Сахаров.
3. О гробах в Герцеговине. С польск. Ходаковский.
4. Зоя, или не следуйте системам философов. С фр. Н. А.

II. Стихотворения:

1. Альфонс. Б. Федоров.
2. *К Лилете*. Д.
3. Неумеренному честолюбцу. Гр. Д. Хвостова.
4. Неразделяемое наслаждение. Элегия. Плетнев.
5. К другу. Ал. Д.
6. Шарада. Ф. Г.
7. Свинья и Кабан. Басня. Ал. Д.

III. Смесь:

Ученые известия из Польши, Пруссии, Австрии, Швеции и Дании, Англии, Франции, Италии и *Филадельфии*. (На *восьми* малых страничках разгонистого шрифта).

В следующем 2-м № 1820 г. были статьи: «Еще некоторые замечания о Слободско-Украинской губернии», «Отрывок из походных записок Лажечникова» (3 странички), «О просвещении у исландцев», «Смерть Лукреции», и т.д.

Мы освобождаем читателя от перечня статей в «Трудах» Московского Общества любителей словесности, которые в беллетрическом отношении ничем не превосходили образчиков сейчас представленных, а в ученом и критическом носили *школьный* характер, удалявший от них читателей даже и в то время. Критические статьи и заметки Мерзлякова и друг. составляют исключения, но счастливые исключения встречаются также точно и у «Соревнователя», как и у «Благонамеренного».

Повторяем вывод, который сам собою представляется легко, когда рассматриваешь деятельность всех этих «Собраний»: они не расчистили дороги никакому серьезному литературному направлению, не утвердили ничего похожего на учение, доктрину или теорию, и не воспитали на собственных своих началах ни одного сильного таланта, который мог бы служить их представителем, а потому и говорить о сходстве или различии их стремлений было бы праздным делом[1].

Стоит упомянуть разве об одной черте, их отличавшей. Всякий раз, как появлялись люди в роде Карамзина или Пушкина, открывавшие собой новые литературные периоды, «общества» наши, застигнутые врасплох, приходили в волнение, погружались в толки и разделялись на партии, из которых одни сочувствовали вновь появившемуся феномену и рукоплескали ему, другие со страхом и бранью отвращались от него; но все это движение не изменяло рутины и врожденной косности корпораций и их заседаний, да и длилось обыкновенно короткий срок, после которого ряды членов опять приходили в порядок и каждый снова стоял на старом месте, со старыми умственными привычками и со старыми отношениями к другим, как будто ничего особенного и не случилось[2].

Понятно, что при таком характере литературных обществ и при таком состоянии беллетристики и критики в их недрах, не Пушкину приходилось искать у них помощи и указаний, а напротив, они опре-

---

[1] Можно добавить к этому в виде археологической подробности, что «Общество» Измайлова склонялось более к воззрениям «Беседы Любителей Русского Слова» Державина и Шишкова, и потому преследовало в своем органе романтизм и его «баловней», между тем как «Вольное общество» Глинки радушно относилось к новым деятелям и видимо состояло под влиянием знаменитого «Арзамаса», хотя и собиралось в доме Державина, как прямой наследник основанной им «Беседы».

[2] Надо помнить, что мы не говорим о жаркой борьбе, происходившей некогда между членами Шишковской «Беседы» и «Арзамасом» и действительно разделявшей их сторонников на серьезные партии. Ко времени выпуска Пушкина из Лицея — 1818 г., ни «Беседы», ни «Арзамаса» уже не существовало фактически, о чем ниже.

делены были следить за ним и учиться у него: так именно и случилось.

С 1820 года Пушкин повлек за собой блестящими и быстро сменяющимися своими произведениями, из которых каждое открывало новые источники поэзии и неожиданные соображения эстетического, морального и частью даже политического характера, — повлек, говорим, за собой также точно читающую нашу публику как и литературные общества, и писателей, и во многих случаях против воли и желания последних, уже свыкшихся с покоем литературных собраний. Гораздо позднее описываемого нами времени, и уже домогаясь позволения на издание политической газеты (1833 г.), Пушкин, в проекте своей официальной просьбы по этому поводу, чертил о себе следующие строки, которые он имел, по нашему мнению, полное право сказать, но которые он однако же вымарал, как, вероятно, отзывающиеся отчасти хвастливостью: «Могу сказать, что в последнее пятилетие царствования покойного государя (Александра I), я имел на все сословие литераторов гораздо более влияния, чем *Министерство* (т.е. м-во Просвещения), несмотря на неизмеримое неравенство средств».

Исключение составляло одно только литературное общество, именно «Арзамас». Значение этого знаменитого общества не только не разъяснено у нас вполне, но вряд ли еще и понято достаточно ясно и правильно, благодаря тому, что историки и судьи «Арзамаса» видели в нем одну только шутливую сторону и сочли его на этом основании за сборище веселых и праздных собеседников. Шутливость «Арзамаса» прикрывала, однако же, очень серьезную мысль, что именно и дает ему право на внимание в истории нашего просвещения.

Известно, что «Арзамас» основан был для противодействия Державинско-Шишковской «Беседе Любителей Русского Слова» и для поддержания не только переворота в языке и литературе, произведенного Карамзиным, который поэтому и считался как бы невидимой главой «Арзамаса», но и для защиты прав русских писателей на свободную, независимую деятельность. Пушкин был членом «Арзамаса» еще с лицейской скамьи, но ко времени появления его в свет «Арзамас» и «Беседа» существовали только номинально, и на литературной арене уже более не встречались. Время уничтожило между ними яблоко раздора. Большая часть нововводителей в сфере русской мысли и слова успели уничтожить предубеждение своих

врагов и победоносно выйти из смуты и наговоров, которые вызваны были их появлением.

Много раз приводился в литературе нашей донос куратора московского университета Голенищева-Кутузова, в котором он указывает на Карамзина как на заговорщика, помышляющего о ниспровержении законной власти и присвоении ее себе, с помощью многочисленных своих поклонников. Поводы к такого рода чудовищностям крылись столько же в личных вопросах, сколько и в условиях тогдашнего быта. Неизбежная связь всякой литературы с внутреннею политикою, т.е. с состоянием умов и жизнью страны вообще, как бы ни старались мешать образованию этой связи, давала повод ужасаться всякий раз, как эта связь обнаруживалась сама собою. Тогда поднимались вопли и жалобы с двух сторон: со стороны слепых, боязливых умов, и со стороны смелых пройдох, имевших своекорыстные цели. И те и другие разрешались одинаково, нелепейшими подозрениями и обвинениями. Нечто подобное доносу Г.-Кутузова повторилось и позднее, в эпоху появления романтизма. «Вестник Европы» Каченовского, человека вполне честного и благородного, видел в попытке уничтожения пиитических правил, проповедываемой новой школой романтиков, — затаенное ее намерение высвободиться изпод власти иерархических и всяких других авторитетов. Это было только заблуждение; но еще позднее известный Булгарин уже пользовался страхом администрации перед тенью политической литературы, просто выдумывая сплетни и разоблачая небывалые политические замыслы, для погубления своих критиков и недоброжелателей, и успевал в том не раз, как показывает история его с Дельвигом (1831), бывшая одной из причин преждевременной смерти последнего.

Карамзин уже переехал в Петербург и пользовался высоким уважением государя; Жуковский, пенсионер двора с 1816 г., уже приготовлялся к занятию поста воспитателя в царской семье; друзья и ревнители их славы — Уваров, Блудов, Дашков и друг. — уже стояли на дороге, которая повела их на высшие ступени в государстве. В виду все более усиливающегося их влияния и значения, «Беседа» потеряла часть своей энергии в преследовании новаторов, ту энергию, которой обнаружила так много еще не очень давно, именно в 1815, когда «Липецкие воды» кн. Шаховского, ее сторонника, со своим несколько топорным обличением балладистов и сантиментадов, делили публику на два лагеря. «Беседа», в лице Шишкова, обнаружила даже попытки идти на встречу прежним врагам, а с другой стороны «Арзамас» совсем замолк и не собирался более с 1817 г.,

столько же потому, что прямые цели его основания были достигнуты, сколько и по другому обстоятельству. В недра его внесена была рознь с прибытием новых членов яркой современной политической окраски (М.Ф. Орлова, Н.М. Муравьева, Н.И. Тургенева), членов, которые не хотели ограничиться узкой, либерально-литературной задачей «Арзамаса», упрекали его в бесцветности, пустоте и праздности и указывали политические и социальные цели для деятельности. Но «Арзамас» именно и занимался ими, стоя на почве литературных, ученых и художнических вопросов и не уступил намерению втянуть его в колею тайных обществ. Он предпочел лучше не собираться вовсе, чем собираться для скорых приговоров и решений, которые неспособны были изменить строя нашей жизни ни на одну йоту к лучшему, и Д.Н. Блудов, отстранивший предложение М.Ф. Орлова, — обратиться к вопросам политического содержания, — конечно не изменял делу прогресса и развития в отечестве, выразив в долгой речи по этому поводу желание остаться на почве критики, изучения русского слова и литературы[1].

Как бы то ни было, но дух этих двух знаменитых литературных центров не исчез вместе с ними. Главнейшие представители обоих направлений, выражаемых этими центрами, не изменили своих убеждений и борьба между ними продолжалась и тогда, когда знамен, под которыми они сражались прежде, не было уже видно на литературной арене; только спор был перенесен теперь из области теоретических рассуждений и словесности вообще, где все смолкло, благодаря особенным обстоятельствам времени, на служебную и деловую арену.

Прежде всего следует сказать, что «Арзамас» не имел собственно никакой, ни эстетической, ни политической теории, чем и отличался от своего соперника, «Беседы Любителей». Последняя, благодаря А.С. Шишкову, обладала полным кодексом воззрений на лучшие формы языка, на предметы, которыми должно заниматься искусство, и на пути, которыми следует вести русскую жизнь и русскую словесность к их вящему преуспеянию в духе благочестия, народности и нравственности. Каковы были требования и определения этого кодекса — теперь уже разобрано и оценено по достоинству; но он, по

[1] Можно пожалеть, что слух о намерении «Арзамаса» издавать журнал, слух, сильно распространенный в тогдашнем литературном мире, оказался несправедливым, также точно как нельзя не пожалеть и о том, что не состоялась политическая газета Н.И. Тургенева. Мы бы могли судить тогда с поличным в руках о направлениях, разделявших старых членов «Арзамаса» от новых.

всем вероятиям, имел некоторую обольстительную сторону для своего времени, потому что мы встречаем в числе приверженцев «Беседы» и врагов «Арзамаса» таких людей, как П.А. Катенин и А.С. Грибоедов, не говоря уже об А.Н. Оленине и т. д. Может быть это зависело от полноты и целостности системы Шишкова, которая давала готовые ответы на самые трудные вопросы русского просвещения и быта. Как бы то ни было, но Катенин при всех называл книгу Шишкова «О старом и новом слоге» своим литературным евангелием, а модно-архаические, славянофильские тенденции Грибоедова достаточно обнаруживаются в некоторых выходках «Чацкого», что и объясняет холодность, с которой встретили некоторые истые арзамасцы, как, напр., князь Вяземский, его бессмертную комедию. Чем же был собственно «Арзамас», не имевший противопоставить «Беседе» никакой равносильной эстетической и философской теории, а тайным обществам никакой не только выработанной, но и намеченной политической темы?

«Арзамас» представлял собственно партию молодых людей, которые, опираясь на пример Карамзина, отстаивали право каждого человека, сознающего в себе нравственные силы, открывать для себя новые дороги в жизни и литературе. «Арзамас» ставил ни во что напыщенность и торжественность выражения, которыми многие тогда удовлетворялись, и ненавидел пустую, трескучую фразу во всяком ее виде — либеральном или консервативном. Более всего сопротивлялся он намерению водворить обязательные правила для умственной и общественной деятельности своего времени, подозревая тут замысел управлять нравственными устремлениями эпохи, не справляясь с ней, и утвердить за несколькими личностями право безапелляционного суда над всеми мнениями и начинаниями ее. Вот почему «Арзамас» неукоснительно принимал под свое покровительство все, что появлялось с ясными задатками развития, с несомненными признаками способности завоевать себе будущность. Он очень любил противопоставлять новые имена и таланты старым известностям, да не отступал и перед разоблачением упроченных, но все-таки фальшивых репутаций, обнаруживая при этом, сколько кумовства, дружеских подкупов и самовосхваления издержано было для составления их. В лице Жуковского «Арзамас» приветствовал и *романтизм* в нашей литературе, а когда воздвигнуто было гонение на самую идею романтизма — «Арзамас», уже явно не существовавший, выслал однако же, горячего защитника новому виду творчества, князя Вяземского, и поддерживал его своим согласием. Вот в чем

заключались все теории Арзамаса. К этому надо прибавить, что орудием борьбы служили для него, когда он собирался еще в свои заседания, острота, насмешка, ироническое восхваление в стихах и прозе, причем, заставляя хохотать до упаду и таких людей, как Карамзин, «Арзамас» сам называл «галиматьей» свои произведения. Ничто не могло быть более по вкусу Пушкину, тоже расположенному отмщать метким эпитетом, эпиграммой или пародией бессильные или отсталые претензии: «Арзамас» шутил, но по тогдашнему времени воспитывающими и образующими шутками.

В области понимания и представления гражданских обязанностей, влияние «Арзамаса» на людей обнаруживалось не менее сильно. Тут опять мы не находим ничего похожего на систему или учение, с точностью определяющее все свои основы. Подобно тому, как на литературной почве чувство изящного, понимание таланта и силы в изображениях заменяло «Арзамасу» эстетическая теории, так на политической, вместо обдуманной программы, он обладал только живыми *инстинктами* свободы, стремлениями к образованию и крепкими надеждами на общечеловеческую, европейскую *науку*, как на лучшую исправительницу народных и государственных недостатков, а главное — он отличался непоколебимой верой в возможность соединения коренных основ русской жизни и русского законодательства — монархизма и православия со свободой лиц, сословий и учреждений. Проводя эти убеждения, «Арзамас» выражал истинную мысль своей эпохи, или по крайней мере огромного большинства ее людей, между которыми были и руководители ее судеб[1].

Конечно, несправедливо было бы смешивать характер и убеж-

[1] Строки эти были уже написаны, когда мы нашли подтверждение нашей мысли в двух замечательных изданиях последнего времени, именно в «Переписке Карамзина с Дмитриевым», издании академиков П. Пекарского и Я. Грота, и в «Истории царствования Александра I-го», составленной генералом М. Богдановичем. Не то ли же думал сам император Александр I-й, когда, по свидетельству своего историка, за несколько дней до кончины, говорил: «Пусть толкуют обо мне, что хотят, но я был и остался республиканцем». Конечно, знаменательные слова эти не могут быть поняты в смысле как бы отречения власти от своих прав, а содержат в себе, по нашему мнению, только благородное убеждение в ее назначении служить многостороннему развитию общества, всеми своими силами и средствами. И не пояснял ли ту же мысль Карамзин, когда в задушевной переписке с И.И. Дмитриевым, еще задолго до слов Императора, говорил: «я бы желал назвать себя монархическим республиканцем». Арзамасцы были такими республиканцами, готовыми всем жертвовать за монархическое начало в России. С течением времени мысль о дружном, параллельном развитии власти и свободы затерялась в среде членов описываемого общества, но в эпоху цветения «Арзамаса» она составляла драгоценнейшее убеждение их.

дения честного, прямодушного, хотя и упорного А.С. Шишкова с характером и проповедями таких честолюбцев и проходимцев, как Магницкий и Рунич; но оба эти реформатора все-таки прикрывали свои мрачные цели началами, сходными с воззрениями Шишковской «Беседы». «Арзамас», можно сказать, целиком вступил в борьбу со старым своим врагом, очутившимся уже на административной почве. Недавно опубликовано было письмо[1] к государю бывшего попечителя с.-петербургского округа С.С. Уварова (от 17-го ноября 1821 г.), смело объяснявшее средства, употребленные Руничем для возведения простых ученых и учебных положений в преступные заявления и в уголовные проступки, — письмо, не оставшееся без неприятных последствий для его автора. Позднее, когда с назначением министром самого А.С. Шишкова (1824) пресловутая «Беседа» очутилась, так сказать, во главе управления ведомством народного просвещения — она нашла всех старых своих противников на своих местах. Новый министр, как видно из его записок, до конца своей жизни сохранял убеждение, что шаткость общественного порядка в России находится в зависимости от ослабления основ старой русской жизни, старого русского воспитания и образования, потрясенных литературной реформой последнего времени, которая открыла будто бы двери всяческому легкомыслию и вольнодумству. Следствием этих убеждений было появление цензурного устава 1826 г. с его известным, крайне притеснительным характером[2]. В особенной смешанной комиссии, которая была составлена для просмотра иностранного цензурного устава, тогда же выработанного министром, заседали два арзамасца, Уваров и Дашков. Под их влиянием комиссия занялась не только иностранным цензурным уставом, но подняла вопрос и о русском недавно вышедшем, и строго разобрала его положения и основания[3]. Комиссия подготовила, таким образом, возможность нового проекта с более благоприятными условиями для русской ученой и художественной деятельности, который действительно вскоре и появился. Это был тот знаменитый цензурный устав 1828 г., который стоял так выше людей своего времени и укоренившейся цензурной практики, что никогда не был вполне применен

[1] В Материалах для ист. образования, г. Сухомлинова, 1866. Статья I.

[2] Мы воздерживаемся от ссылки на некоторые его параграфы, просто лишающие возможности русских ученых и писателей заниматься вопросами истории, права и иностранными литературами. Любопытные могут найти устав в Полном Собрании Законов.

[3] Из неопубликованных записок А.С. Шишкова.

к делу и большей частью оставался мертвой буквой вплоть до своего уничтожения в 1865 г.

Вообще, «Арзамас» представляет в истории нашей общественности поучительный пример собрания с одними нравственными и образовательными целями, формально просуществовавшего менее трех лет, но оставившего после себя долгий след и живую мысль, которая питала людей его, когда они уже были рассеяны по свету. Долго сохранили они свою либеральную окраску, одинаковое понимание европейских идей и неотлагательных нужд русского общества. Только гораздо позднее, в половине следующего царствования начинает тускнеть и загрубевать между ними единившая их мысль; люди «Арзамаса» наживают себе противоположные цели, расходятся в разные стороны и даже становятся отъявленными врагами друг друга. Что касается Пушкина, он остался ему верен всю жизнь.

Первые примеры светлых общественных стремлений, полученные им в общении с Жуковским, Карамзиным, Блудовым, Дашковым и другими членами «Арзамаса», залегли глубоко в его душе, вместе с твердым пониманием исторической почвы, на которой стремления эти могут быть осуществляемы. Если это созерцание не тотчас же выразилось на первых порах в его суждениях и поступках, то причиною были непреодолимые соблазны жизни, вместе с порывами и увлечениями молодости; но оно пустило корни в его мысль, в нравственную его природу, и при первой возможности дало свои отпрыски. Можно полагать, как уже было сказано нами, что атмосфера тайных обществ, окружавшая некогда его существование, сообщила впоследствии его слову ту прямоту, смелость и откровенность, с какими он отвечал на всякий вопрос, откуда бы он ни исходил. «Арзамас» дал ему нечто другое. Он научил его свободно, самостоятельно и независимо подчиняться условиям русского быта, желать им наиболее разумно содержания, искать для этих условий основ в мысли, философской поддержки, теоретического оправдания, и в то же время сохранять за собой право судить отдельные явления самого быта по своему разумению. Никогда он не был более смел и независим, как в то время, когда добровольно признавал необходимость покориться тому или другому требованию установленного порядка, потому что основывал эти уступки на представлениях и мотивах, еще казавшихся многим ересями и опасными идеями.

Но до всего этого еще было далеко, а теперь покамест невидимо копились только и отлагались на душе Пушкина все те начала, которые составили его последующий характер. Он продолжал пробо-

вать людей, искать впечатлений, либеральничать и потешаться жизнью. И вот, например, какой отрывок из его утерянных записок, касающийся Карамзина, сохранился в его бумагах, отрывок необычайно рисующий как его самого, так и высокую природу нашего историографа. Отрывок важен еще и тем, что написанный, по всем вероятиям в 1825 г., вскоре после смерти историографа, он выражает глубокую привязанность его автора к описываемому лицу и составляет как бы характеристику и надгробные проводы всему периоду нашего развития, кончившемуся с этим лицом.

«Кстати, замечательная черта, — говорит Пушкин. Однажды начал он (Карамзин) при мне излагать *свои любимые парадоксы*. Оспаривая его, я сказал: «Итак, вы рабство предпочитаете свободе!» Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я замолчал, уважая самый гнев прекрасной души. Разговор переменился. Я встал. Карамзину стало совестно, и, прощаясь со мной, он ласково упрекал меня, как бы сам извиняясь в своей горячности: «*Вы сказали на меня то, чего ни Шаховский, ни Кутузов на меня не говорили*». В течение шестилетнего знакомства, только в этом случае упомянул он при мне о своих неприятелях, против которых не имел он, кажется, никакой злобы, не говоря уже о Шишкове, которого он просто полюбил. Однажды, отправляясь в Павловск и надевая свою ленту, он посмотрел на меня наискось... Я прыснул, и мы оба расхохотались» ... В.А. Жуковский терпел точно такие же, если не большие выходки молодого человека и баловал его; может быть, пуще всех. Он, между прочим, первый смеялся его пародиям и эпиграммам на себя. П.А. Катенин рассказывает в своих (неизданных) «Воспоминаниях» о Пушкине, что Александру Сергеевичу очень нравилось, когда его сравнивали с Вольтером, и особенно доволен он был каламбуром, который выходил из шуточного прозвища, данного переводчиком «Андромахи» своему молодому другу. Катенин часто называл его: un monsieur a rouer (Arouet), и Пушкин всякий раз заливался при этом веселым смехом, но собственно ни на какого, даже микроскопического Аруэта, ни тогда, ни после, поэт наш не походил. В описываемую эпоху он представляется нам веселым молодым человеком, у которого было гораздо более своевольства, чем нажитых принципов, и гораздо более наклонности к задирающей шутке или к производству эффектных либеральных гимнов, чем революционного одушевления или действительной ненависти к людям и установлениям.

Уважение к самостоятельному суждению и независимым мнениям Катенина пережило у Пушкина эпоху молодости и продолжа-

лось в зрелые годы его, но критические воззрения Катенина не имели большого влияния на Пушкина, как на поэта, потому что стесняли постоянно его свободу творчества и фантазии. Один пример таких воззрений находится и в «Воспоминаниях» П.А. Катенина. Так, упоминая о пьесе «Моцарт и Сальери», критик осуждает Пушкина за то, что построил свой драматический этюд на сомнительном анекдоте и оклеветал Сальери. Другой учитель Пушкина от этой эпохи, Чаадаев, кажется, действительно имел некоторые права на это звание, признанные за ним и нашим поэтом, как известно, но, конечно, не в той степени, в какой обыкновенно провозглашал их сам наставник. П.Я. Чаадаев уже тогда читал в подлиннике Локка и мог указать Пушкину, воспитанному на французских сенсуалистах и на Руссо, — как извратили первые философскую систему английского мыслителя своим упрощением ее, и как мало научного опыта и исследования лежит у второго в его теориях происхождения обществ и государств. Выводы и соображения, которые рождались из анализа этих предметов, конечно, должны были поражать Пушкина новостью и сделать в глазах его «мудрецом» самого их проповедника. В перечне людей, у которых Пушкин искал тогда наставлений, нельзя забыть об А.Н. Оленине. Почтенный председатель академии художеств, будучи родственником и почитателем Г.Р. Державина, разумеется, склонялся на сторону «Беседы» и не совсем одобрительно смотрел на полемические замашки «Арзамаса», но он имел важное качество. По званию артиста и по прямому знакомству с классическим искусством, он понимал эстетические законы, которые лежат в основании художнического производства вообще, а потому мог уразуметь изящество произведения, если бы даже оно явилось и не с той стороны, откуда он привык его ожидать. Так, он был один из первых, которые признали поэтическое достоинство «Руслана и Людмилы». Качество это сделало самый дом его нейтральной почвой, на которой сходились люди противоположных воззрений, что облегчалось еще необычайной любезностью хозяйки, урожденной Полторацкой, а потом, через несколько лет, приветливостью красавицы-дочери, воспетой Пушкиным. Поэт наш был у них, как свой человек, и по семейным их преданиям, часто беседовал с А.Н. Олениным об искусстве. Впрочем, ни одно из этих лиц не провело никакой глубокой черты на его характере или на его таланте, по которой можно было бы судить о роде и степени их влияния. Один «Арзамас» оставил только на нем неизгладимые следы своего политического и литературного на-

правления, а все прочее сгладилось или пропало в его дальнейшем, самостоятельном развитии.

Несчастье Пушкина состояло в том, что современная литература не отвечала ни на один вопрос, существовавший уже в обществе: читать было нечего, а еще менее чему-либо учиться у нее.

Нет сомнения, что период петербургского брожения, который можно назвать «искусом», пережитым мыслью Пушкина, ранее бы кончился для него, если бы тогда существовало какое-либо серьезное литературное направление, которое обыкновенно понуждает людей собирать свои силы и ставить задачи для их деятельности. Но эпоха живых, горячих литературных споров, мы уже сказали, кончилась, и на арене русской печати не стояло никакого вопроса. Место Карамзина, как основателя школы, оставалось пусто с 1815 г., когда он покинул его для главного своего труда, и было пусто лет десять, когда его занял сам Пушкин. Мы уже видели, чем занимались журналы, отчасти связанные с литературными обществами; но и те, которые могли назваться независимыми, носили на себе не менее плачевный беллетристический и критический характер. «Вестник Европы» Каченовского, например, бесспорно был лучшим журналом эпохи и оставался первым до самого появления «Московского Телеграфа» (1824). Никто, конечно, не забудет его литературных заслуг. «Вестник Европы», хотя издали и очень робко, но, все-таки следил за развитием конституционных порядков в Польше, за так называемым освобождением крестьян в Остзейских провинциях, печатал заметки о «свободном труде», и сначала даже намекал, в упрек классицизму нашей сцены, на существование великой романтической школы Гете и Шиллера. Он особенно выдался вперед при появлении «Истории Государства Российского» Карамзина, когда первый осмелился отнестись к ней критически и показать возможность другого понимания задач и фактов русской истории, за что и получил от ультракарамзинистов генерическое прозвище «Зоила».

Кстати заметить, что ультра-карамзинисты имели, кроме того, очень много скрытных, не высказавшихся противников в публике. При выходе восьми томов истории Карамзина (1818) — этого памятника, с которого собственно и начинается у нас работа общественного самоопределения и самосознания, — труд Карамзина встречен был недоброжелательно не только людьми тайных кругов, но и множеством лиц, имевших претензию на либеральное, независимое развитие. Даже известный анекдот Пушкина свидетельствует о том же. «Историю Государства Российского» называли «придворной ис-

торией» и упрекали ее в отсутствии настоящих, исторических приемов для исследования прошлого славян и духа Московского княжества. Ничто, однако же, не показывает так наглядно приниженного состояния литературы тех годов, как обстоятельство, что наружу, в печать и в публику, выходили от противников истории только заметки о формальной ее стороне, а речь о принципах велась втихомолку. Принципы, лежавшие в глубине разноречия между врагами и защитниками «Истории», так и остались под спудом и не дошли до потомства ни в одной печатной строчке. А между тем в них-то и было все дело, потому что относительно археологии, ученого исследования предмета, эрудиции вообще, обе стороны в сравнении с яблоком раздора — с обсуждаемой ими историей, были пигмеи и обыкновенно довольствовались кое-какими заметками, походившими на детский лепет. Итак, сущность спора, по необходимости, состояла в различном определении целей истории, в различном представлении той службы, какую она вообще должна приносить современному обществу, тех ответов, которых вправе ожидать от нее новые поколения в их нуждах и требованиях, а это уже связывалось с развитием политических воззрений и направлений, существовавших в обществе. Вот где было настоящее слово этого спора между враждующими партиями; но ни секретные враги Карамзина, ни явные его приверженцы никогда не затрагивали этого слова в литературе, хотя много занимались им в частной жизни и приватных беседах.

Со всем тем, если проследить все содержание московского «Вестника Европы» в полном его составе за время, которым занимаемся, то общий характер журнала окажется не более важным, чем у его собратов по журналистике, и все дельные его статьи явятся опять чем-то в роде приятных неожиданностей. Подробный список с оглавлений его книжек мог бы представить такой же скорбный лист, смеем выразиться, нашей литературы с 1815 по 1820 г., какой сам сложился у нас из перечня статей «Соревнователя» и «Благонамеренного», уже сообщенного читателю. И «Вестник Европы» наполнялся произведениями, отстоявшими далеко от уровня общего образованная эпохи. «Речь о главных обязанностях молодого человека, вступающего в свет», Гавриила Попова, «О Спорах и Нориках, древних именах Словен», «Отрывок из рассуждения о чистой Математике», «Об отличительных свойствах памятников Египетских и о том, почему знаменитейшие из новейших художников не берут их для себя за образцы», и проч., и проч. Вот что составляло ученый багаж журнала. С беллетристической и художественной литературой было

еще хуже, и нет никакой возможности пробегать его переводы, в роде отрывка «Из обозрения степей славного путешественника Гумбольдта», хотя это не представило бы особенного труда, так как отрывок весь на четырех страничках, или перечитывать его мечтательные повести, его ребяческие идиллии, его стихотворения, притчи, басни и аллегории. Все это кажется как будто насмешкой над тогдашней читающей публикой, особенно когда знаешь разнообразие идей, полученных ею от Запада и сравнительную обширность ее образования.

Петербургский конкурент московского «Вестника Европы», журнал столь многоизвестного Н.И. Греча «Сын Отечества», также не лишен своего рода литературных заслуг. Он стоял ближе к умственному движению петербургской жизни, в которой принимал довольно деятельное участие, находясь постоянно в связях с противниками Шишковской школы, а потом с врагами партии правительственных мистиков, и не раз давал у себя место их жарким, прямым и косвенным протестам. Притом же журнал старался быть разнообразным и очень занимался критикой текущих явлений словесности. На страницах его встречаются самые почетные имена эпохи, начиная с Карамзина и С.С. Уварова, в нем даже и переписывавшихся между собой (1818 г., № VII), и переходя через ряд таких имен, как Головнин, Коцебу, А. Бестужев, Куницын, Давыдов и др. Все они сообщили свои вклады журналу, хотя, надо сказать, в необычайно микроскопических размерах. Чуть ли не наибольший из них, «Отрывок из путешествия вокруг света, флота капитана Головнина», умещался на 5-ти страничках крупного шрифта. Со всем тем нельзя не изумляться тому, что при подобных связях редакции и при такой обстановке журнал никогда не выходил из рамки умной, изворотливой посредственности. У него не было, как и у московского «Вестника Европы», руководящих идей. Само разнообразие журнала покупалось ценою крайнего ничтожества статеек, сообщавших обыкновенно на двух-трех страничках разгонистой печати известия об иностранных литературах, всю современную историю и политику, разборы русских книг, сведения о театре и проч. Ученая и литературная критика, занимавшая в нем не более места, чем все другие статейки, не имела никаких твердых оснований, не проводила никаких зрело обдуманных убеждений, если исключить несколько протестов за свободу мышления и развития — и большей частью писалась с ветра, по капризу или случайному настроению авторов. Благодаря такому повсеместному состоянию критики в это время, весьма замечатель-

7 Зак 1295

ные и почтенные ученые труды, явившиеся между 1816 — 20 гг., как, например, «Опыт теории налогов» Н. Тургенева, «Право естественное» А. Куницына, «Начертание статистики российского государства» К. Арсеньева, «История философских систем» А. Галича — никогда не знали на родине своей дельной оценки, которая вошла бы в сущность излагаемых ими предметов и учений. Последние три сочинения разобраны были не периодическими нашими изданиями, как следовало бы ожидать, а администраторами из партии мистических обскурантов, которые и произвели этот разбор, подкрепив его еще и надлежащими мерами, тем с большей свободой и развязностью, что ни с каким общественным и ни с каким авторитетным мнением в печати не имели надобности считаться. Все эти добросовестные труды, к которым следует еще причислить перевод Д. Велланского: «О свете и теплоте, как известных состояниях всемирного элемента» (из Окена) 1816, — просто потонули в пучине «большого света», где некоторые из них были подняты, как, напр., теории Окена — Велланского, усвоенные кн. Одоевским, а другие исчезли уже без следа, под шум разговоров о тысяче других явлений всякого рода. Так кончалась в памятное время министерства князя А.Н. Голицына первая четверть литературного периода, блестящее открытие которого Карамзиным и его последователями и сподвижниками в начале столетия, казалось, сулило ему совсем другую будущность.

Вина этого заглохшего состояния печати, конечно, отчасти падает на суровые обычаи тогдашней цензуры, изумлявшей слепотой и бессмысленностью придирок даже очень осторожные правительственные умы, но вместе с ней вину эту делят и многие другие лица и само общество. Цензура эта, как известно, была порождением страха в виду возбужденного состояния умов на Западе. Русская печать, еще ничем не заявившая наклонности следовать революционной пропаганде своих и западных агитаторов, просто платилась за излишество и шалости европейской печати, возбуждавшей ужас всех оберегателей европейского порядка, в числе которых значилась тогда и наша родина. Как далеко она зашла в этой работе *предупреждения преступлений*, показывают многие изумительные примеры. В той же просьбе Пушкина, 1833-го года, о дозволении ему политической газеты, откуда мы уже извлекли один отрывок, находится и еще следующая зачеркнутая фраза, совершенно справедливая в сущности и опущенная им, вероятно, из нежелания возбуждать неприятные воспоминания у тех людей, в которых он нуждался: «Литераторы во время царствования покойного Императора — говорит Пушкин — были

оставлены на произвол цензуры своенравной и притеснительной. *Редкое сочинение доходило до печати*»[1]. В другой статье Пушкин потрудился сообщить и самые факты цензурной практики, на основании которых он сделал это замечание. Место, где он упоминает о ней, взято нами из статьи: «О цензуре», и в печать не попало. Известно, что статья эта принадлежит к ряду кратких разборов, писанных Пушкиным, тоже в 1833 году, на известную книгу Радищева, главы которой он проверял одну за другой на дороге из Петербурга в Москву. Приводимое место до такой степени ярко обрисовывает обычные приемы тогдашней цензуры, что после него нет надобности вести речь далее об этом предмете. «Было время,— пишет Пушкин,— *слава Богу, что оно прошло и, вероятно, уже не возвратится,*— что наши писатели были преданы на произвол цензуры самой бессмысленной. Некоторые из тогдашних решений могут показаться выдумкой и клеветою. Например — какой то стихотворец говорит о *небесных* глазах своей возлюбленной. Цензор велел ему, вопреки просодии, поставить, вместо небесных, голубые — *ибо слово небо принимается иногда в смысле высшего промысла*. В славянской балладе Ж. назначается свидание накануне Иванова дня; цензор нашел, что в такой великий праздник грешить неприлично, и не хотел пропустить баллады. Некто критиковал трагедию Сумарокова; цензор вымарал всю статью и написал на поле: «переменить, соображаясь с мнением публики...» Понятно становится, отчего некоторые имена тогдашних цензоров, как гг. Бирюкова, Тимковского и Красовского, например, не сходили с языка у писателей 20-х годов: они не могли надивиться довольно силе их фантазии и изобретательности при толковании самых простых мыслей и представлений. Пушкин ошибся только в одном: времена старой цензуры возвратились лет через 15 и даже в следствие одних и тех же причин, чуждых русскому миру. Возникли и новые имена цензоров чуть ли еще не превзошедшие свои первообразы в подозрительности и в чудовищности своих догадок.

Но были еще причины беспомощного состояния литературы и поважнее цензуры, которая только делала свое настоящее дело. Об

[1] Пушкин отчасти испытал и на себе это действие цензуры. Имя его было так страшно и подозрительно ей, что он принужден был печатать несколько стихотворений, и притом самых чистых и возвышенных, как, напр., пьесы: «Овидию», «Мечта воина» — без подписи своего имени, а только со звездочками, во избежание ее придирок («Полярн. Звезда» 1823 года). Элегия («Простишь ли мне ревнивые мечты») тоже явилась без подписи автора («Пол. Звезда» 1824 г.).

идеальной цензуре с качествами государственного ума, способной строго оберегать интересы правительства и общественный строй, а вместе и понимать свободу, нужную мысли и словесности — тогда еще не было и помина. Цензура просто понималась, как застава, через которую следует пропускать как можно менее народа; но цензура, подобно всем другим установлениям, умеряется массой общественных и нравственных сил, ей противостоящих. К несчастию, последних-то и не было на лицо. Все лучшие силы времени ушли в молчаливые, гордые политические круги, презиравшие литературу, и заперлись там, почти никогда не выходя на литературную арену. После того, как с нее сошли и ветераны Карамзинского периода, вместе с главой своим, на другие, более обширные поприща — арена эта оставалась достоянием наших литературных обществ с их многочисленным персоналом, который, однако же, не имел ни трудовой энергии, ни особенно важных нравственных интересов, для ведения борьбы с некоторой настойчивостью и одушевлением. Цензура имела дело с разрозненными личностями и мелкими побуждениями, которых потому скоро и легко одолевала и устраняла. Умы и характеры другого рода сами сторонились перед нею, как перед несчастием эпохи, чем, конечно, цензура оказывала плохую услугу обществу в деле изъяснения, поправления и обсуждения идей, в нем проявившихся.

Производительные силы не совсем, однако же, заглохли у нас и под ее гнетом. Литература наша пробуждена была из летаргического сна своего двумя явлениями, последовавшими одно за другим: поэмой «Руслан и Людмила» Пушкина, которая походила на неожиданный луч солнца, осветивший литературное поле, давно с ним незнакомое, и альманахом «Полярная Звезда» К.Ф. Рылеева и А. Бестужева, который обнаружил, что само поле это еще не вовсе лишено семян и цветов, и далеко не похоже на голую степь, какую из него хотели сделать люди и обстоятельства. Так как оба явления принадлежат, по нашему мнению, к весьма крупным событиям той эпохи, то мы и скажем о них несколько слов, начиная с позднейшего, альманаха «Полярная Звезда».

Какую значительную долю влияния на словесность, а через нее и на общество, могли бы иметь наши политические круги, доказывает то обстоятельство, что два члена из среды их, явившись с «Полярной Звездой» (1823), привели в движение все умы, поднятые уже деятельностью Пушкина, и положили конец их праздному существованию, так что 1823-й год должен считаться годом возрождения лите-

ратуры и поворота к труду, замыслам и начинаниям разного рода. Это подтверждается и фактами. «Полярная Звезда» поставила себе задачей собрать в один центр все наличные и доселе разрозненные литературные силы, что было необходимо и что она сделала при громком сочувствии, как публики, так и писателей. Второй ее задачей было учинить поверку всего литературного наследства, оставленного прежними деятелями, и при том с точки зрения новых людей, которые призваны пользоваться наследством и желают оценить его по соображениям и по мерке своего времени. За эту работу взялся постоянный «обозреватель» «П. Звезды», А. Бестужев, суждения которого, правда, часто рождались по вызову эффектной, вычурной фразы, попадавшей под его перо, но смелость которого и независимость от предания уже предвещали начало нового периода литературы. Пушкин скоро понял важность задачи, принятой на себя новым критиком, и поспешил к нему на встречу. Прямо и бесцеремонно завязывает он с ним в 1823 г., из Одессы, где тогда находился, переписку, которая делается все серьезнее, чем далее идет. Он опровергает некоторые положения Бестужева, предлагает свои определения людей и произведений, взамен высказанных критиком, и видимо не желает остаться без дела и участия в этом, только что открытом процессе над миром литературных явлений, процессе, который должен был положить конец мирному общежитию литераторов под гул одних и тех же похвал, под покровом одного и того же всеобщего потворства и кумовства. Но, литературный орган, созданный «Полярной Звездой» и имевший все задатки весьма блестящей будущности, рассеян был политической бурей, посеянной самими его основателями и их товарищами по заговору. Не пропал только толчок, данный литературе изданием; живительный дух, которым от него повеяло освежил атмосферу словесности, и вслед за ним являются новые сборники, новые издания: «Мнемозина» кн. Одоевского, «Северный Архив» Булгарина, и наконец «Московский Телеграф» Полевого. Сам Пушкин, поддержанный в роли представителя новых творческих начал и романтизма на Руси восторженными похвалами Рылеева и Бестужева, крепнет в силах и действительно становится главой и светилом литературного периода, который по справедливости своей носит его имя.

Но это еще будущее. Обратимся к поэме «Руслан и Людмила» и посмотрим, что такое она была для этой эпохи. Пушкин писал ее в маленькой своей комнатке, на Фонтанке, куда он возвращался после пирушек, литературных вечеров, похождений всякого рода; где он

лежал иногда отчаянно больной и где потом принимал своих гостей, готовый на всякую проказу по первому их призыву[1]. «Руслан и Людмила» создавалась в среде всего этого смутного, тяжелого, в разных смыслах, времени и была единственным делом, занимавшим Пушкина в течении многих лет. Несколько подробностей, касающихся истории возникновения этого первого труда нашего поэта, которые сообщаем ниже, кажется, не будут лишними даже для определения степени его развития и состояния его мысли в ту эпоху.

Известно, что Пушкин потрудился оставить нам в записных своих тетрадях почти всю историю своей души, почти все фазисы своего развития и даже большую часть мимолетных мыслей, пробегавших в его голове. Исключение из этого правила составляет только первая, начальная тетрадь его, пустые страницы которой дают красноречивое свидетельство о том, как еще бедна была его жизнь нравственным содержанием. Он ничего не внес в первую свою тетрадь, кроме двух посланий к приятелям, одной эротической эпистолы, одной французской блюетки, переложенной потом в русскую пьесу («Твой и Мой»), одной эпиграммы («Ты прав, несносен Фирс»), пять-шесть стихотворений вчерне[2], да несколько бессвязных, неразборчивых строк какой-то начинавшейся, но незаконченной фантазии, похожей на программу к пьесе — «Фауст и Мефистофель». Никаких признаков беседы с самим собою, что составляло отличительную черту позднейших его тетрадей, здесь мы не встречаем, а если и является нечто подобное такой беседе, то исключительно в форме рисунков. С одним из них мы уже знакомы, но, кроме его, тетрадь наполнена эскизами женских головок, начертанных весьма бойким карандашом и мужских портретов, иногда в целый рост, как, например, тогдашнего петербургского генерал-губернатора графа Милорадовича, который в то же время был и героем театральных, закулисных романов. Между этими изображениями мы встречаем и голову самого Пушкина, слившуюся в один поцелуй с другой неизвестной женской головкой:

---

[1] Несколько слов о ней сохранилось в «Русском Альманахе», изд. В. Эртелевым и А. Глебовым (стр. 218).

[2] В числе их находится и пьеса: «Уединение» («Деревня», по первой редакции), конец которой, направленный против крепостного права, стал известен и государю, одобрившему как мысль, так и стихи произведения; но эта вторая и существеннейшая половина его не попала ни в одно издание сочинений поэта при его жизни. Так точно другое стихотворение, тогда же им написанное (а не в лицее, как утверждают некоторые биографы), именно: «Послание к Императрице Елизавете Алексеевне», только один раз было напечатано в журнале «Соревнователь Просвещения» (1819, № 10-й) и затем уже не повторялось более вплоть до 1856 г.

импровизированный художник так дорожил подобного рода воспоминаниями, что под рисунком сделал подпись: «Le baiser, 1818, 15 Déc.» От всех листов начальной его тетради веет страшно-рассеянным существованием, не находившим времени поместить что-либо иное, кроме впечатлений, какие вызывала и искала игра молодых и только что проснувшихся физических сил. Напрасно было бы ожидать тут следов его чтения, бесед с людьми, наблюдения жизни, нравственных и исторических заметок, что составляет такую поучительную сторону его тетрадей вообще: автору еще нечего было соображать, нечего помещать и не в чем исповедываться.

Ясно становится, что жизнь для Пушкина представляла еще не что иное, как простой сбор материалов, разбор и обсуждение которых отлагались до другого времени.

Есть, однако же, как в этой начальной тетради, так и в отдельных листах, составляющих ее дополнение, свидетельство, что самый упорный, усидчивый труд не был чужд ему даже и в это время: перемаранные, искрещенные и опять восстановленные строфы «Руслана и Людмилы» занимают в тех и других огромное место. Если принять в соображение, что поэма задумана еще на лицейской скамье и не совсем была готова даже весной 1820 — то время, употребленное на ее создание, придется определить четырьмя или, может быть, пятью годами. Ни одна из поэм не стоила Пушкину стольких усилий, как та, которою он начинал свое поприще и которая, по-видимому, не должна была очень затруднять автора: только необычайная отделка всех ее частей могла бы изобличить тайну ее произведений, но об этом никто не догадывался: тогда вообще думали, что Пушкину достается все даром. Дни и ночи необычайного труда положены были на эту полушутливую, полусерьезную фантастическую сказочку, и мы знаем, что даже основная ее мысль, идея и содержание достались Пушкину после долгих и долгих исканий. Так, мы встречаем у него множество программ для русской сказки, в числе которых наиболее понятная и разборчивая назначает еще героем поэмы пленного Бову, попавшего в руки злого царя и спасающего свою жизнь разгадыванием его загадок и исполнением его неисполнимых задач, при помощи, с одной стороны, дочери царя, царевны Мельчигреи, а с другой — доброго волшебника. Имена действующих лиц приложены тут же: Маркобрун, Сувор, Зензивей, Милитриса, *Дидон, Гвидон.* Лет через 15, когда Пушкин вздумал опоэтизировать русскую сказку на свой манер, он употребил в дело последние два имени. Всего замечательнее, что первая мысль о нынешнем названии поэмы представилась

Пушкину во французской форме, именно так: «Rouslane et Ludmilla». Слова эти написаны на самой программе о Бове и уже предвещают чужестранные, ариостовско-французские приемы самой поэмы, которую они породили.

Так в течении трех лет шумной петербургской своей жизни, Пушкин находил приют для мысли и души своей в одной этой поэме, возвращался к самому себе и чувствовал свое призвание через посредство одного этого труда! Со стороны это может показаться очень мало, но у Пушкина, как и у всех его друзей, начиная с Жуковского, было предчувствие, что «Русланом» он мог завоевать себе исключительное положение в литературе.

И действительно, Пушкину суждено было именно поднять и оживить литературный мир и общество своей поэмой. При появлении ее в 1820 г., она делается сигналом пробуждения не только старых партий и их воззрений на словесность, но и всех их страстей, которые казались заснувшими надолго. Классики-староверы и прежние реформаторы принимаются снова за давний, оставленный ими спор. Затем все, что только страдало отсутствием чтения, поэтических впечатлений, художественного удовлетворения мысли, то есть огромное большинство русских читателей — бросается на поэму Пушкина, как на живое слово, разрешающее долгий пост, в котором томился русский люд со своими эстетическими потребностями. Не подлежит сомнению, что всеобщее царство скуки и пошлости, охватившее нашу словесность незадолго перед появлением поэмы, много способствовало ее успеху, но она имела еще и сама по себе обаятельные качества. Никто не мог вдоволь наслушаться сладчайшей стихотворной речи, какой заговорил ее автор, а еще более никто не мог довольно надивиться бойкости всех его приемов, рассказу его, исполненному движения, разнообразию найденных им мотивов, занимательности содержания, построенного на сказочных небылицах. Все, что прежде выдавалось за народную русскую жизнь в повестях Карамзина, в балладах Жуковского, в одах на манер «Ермака» Дмитриева и проч., меркло перед новым способом изображать сказочный мир и вводить его в сферу искусства. Не то, чтобы тут открывались вполне или даже частью разоблачались тайны народного творчества и народной фантазии, хотя некоторые из их ходов и приемов угаданы довольно счастливо, но тут поражало мастерство и виртуозность, с какими разрабатывались произвольные темы, в духе народных сказаний. К этому присоединились еще и другие оригинальные отличия поэмы от старых подделок под русские предания: ни малейшего

признака нервной слабости или фальшивого одушевления, ни напыщенности, ни слезливости, ни фантасмагории страхов и чертей; напротив, все в ней было весело, бодро, страстно и имело молодое здоровое выражение. Вот чем поразила первая поэма Пушкина современников, которые, наслаждаясь ею, думали, что она передает сущность и характер народной поэзии. Конечно, теперь «Руслан и Людмила» являются не более как изумительным tour-de-force начинающего таланта, и о сродстве поэмы с народным творчеством не может быть и речи.

Вообще, историческое изложение совершенно необходимо, когда идет речь о первых опытах Пушкина и о восторгах, с какими их встречала публика. С этой поры, с «Руслана» именно каждое из его произведений только увеличивает круг литературного волнения, поднятого начальной поэмой. Надо перенестись мысленно в ту эпоху и, если возможно, сделаться на мгновение ее современниками для того, чтобы основательно понять, какое громадное впечатление должны были производить следовавшие за тем поэмы Пушкина. Все было в них открытием. «Кавказский Пленник» и «Бахчисарайский Фонтан», например (1822 — 24), изумили и околдовали публику неподдельным языком страсти, искренностью чувства, пылом молодого сердца, биение которого слышалось, так сказать, во всех их строфах, уже не говоря о поэтическо-реальной обстановке, в которой двигались их романтические события и байронические характеры.

Впечатление росло с каждым годом. Едва публика успела насытиться двумя поэмами Пушкина, как он явился перед ней опять с ослепительной картиной Петербурга и с начальным абрисом характера, уже не имевшего и признаков романтической неопределенности прежних его героев (первая глава «Онегина», 1825). Затем, когда в том же году разнесся слух о «Цыганах» и отрывки из них пошли по рукам в списках, Пушкин возведен был общим приговором в гениальные писатели, хотя далеко еще не все права на это название состояли у него на лицо. Кстати о списках. Это напоминает нам, что Пушкин мог уже и тогда избавиться от стеснительных условий печати, характеризовавших эпоху. Издателям его и поверенным в делах стоило не малых трудов, чтобы помешать распространению каждого нового его произведения в многочисленных рукописных экземплярах прежде посещения самими оригиналами типографского станка, который, таким образом, становился ненужным автору для сообщения с публикой и для приобретения славы. Известно, что одни только *денежные соображения*, которые у Пушкина всегда стояли на

первом плане, помешали всем его поэмам, следовавшим за «Русланом», опередить пример, данный позднее комедией Грибоедова, и — миновав цензуру и печать, обойти весь русский мир, до самых крайних его углов, в рукописях. Но мы ушли вперед и возвращаемся к нашему рассказу.

Прежде чем была окончена поэма «Руслан и Людмила», над Пушкиным обрушилась давно ожидаемая и предвиденная катастрофа.

Подробности дела, кончившегося высылкой Пушкина из Петербурга, не вполне известны, так как составляют еще секрет архивов; но можно принять за достоверные и доказанные следующие известия о нем. Дело началось по докладу петербургского генерал-губернатора графа Милорадовича, который получил, не без труда и издержек, как мы слышали, копию с известной оды «Свобода» и с нескольких политических эпиграмм и песен, ходивших под именем Пушкина в городе. Многим уже было тогда известно, что доклады генерал-губернатора о лицах и происшествиях, несмотря на все его добродушие и рыцарскую правдивость, носили строгий, несколько преувеличенный характер[1], и не имели важных последствий только по отвращению государя вообще к шуму из пустяков. На этот раз случилось иначе. По всем вероятиям, государь повторил только слова доклада, когда, встретив на прогулке, в Царском Селе, директора лицея Энгельгардта, сказал, что Пушкин наводнил Россию возмутительными стихами, которые вся молодежь учит наизусть (Пущин, «Атеней», 1859 г. № 8). Энгельгардт горячо защищал характер молодого поэта, и слова его были выслушаны благосклонно. Дело в том, что рыцарская струна в сердце государя, всегда очень чувствительного к правдивому заявлению, была уже затронута поступком Пушкина в канцелярии генерал-губернатора, куда он был потребован вслед за докладом. Приглашенный указать свои стихи, Пушкин с откровенностью и полной надеждой на высокий характер того, от имени которого исходило приказание, написал тут же на память все литературные грехи своей музы, за исключением, впрочем — как говорили тогда — одной эпиграммы на гр. Аракчеева, которая бы ему никогда не простилась. Со всем тем можно полагать, что ни заступничество Энгельгардта, ни этот поступок самого Пушкина не в состоянии были бы смягчить во многом ожидавшего его приговора, если бы не явились еще более могущественные ходатаи за поэта. Н.М. Карамзин,

[1] См. «Историю» г. Богдановича.

предуведомленный П.Я. Чаадаевым о бедствии, грозившем Пушкину, поспешил к нему на помощь и заинтересовал в судьбе его статс-секретаря гр. И.А. Каподистрия, пользовавшегося еще тогда — до греческого восстания — великим доверием государя. Граф Каподистрия, знакомый с характером настоящих агитаторов в Европе, понимал Пушкина чуть ли не лучше самых близких его знакомых и хорошо видел, на какой основе тщеславия, минутных увлечений и молодых страстей держится вся его политическая пропаганда. Будущий президент греческой республики употребил свое влияние для того, чтобы изменить первоначальное, довольно суровое решение, принятое относительно памфлетиста и, благодаря еще поруке Карамзина, успел в том. Вместо ссылки в Сибирь, которая угрожала Пушкину, или даже водворения на покаяние в Соловецком монастыре — как утверждают некоторые — все дело ограничилось простым служебным переводом из Петербурга в канцелярию генерала И.Н. Инзова. Последний, занимая должность «попечителя колонистов южного края», проживал в Екатеринославле и состоял в ведомстве того же министерства иностранных дел, где служил Пушкин и на управление которым граф И.А. Каподистрия имел почти одинаковое влияние с его официальным начальником графом Нессельроде. В довершение своих благодеяний, граф предупредительно снабдил еще Пушкина собственноручным, рекомендательным письмом к генералу Инзову, что помогло изгнаннику нашему с первого же раза установить некоторый род свободных отношений к новому своему начальству. Все это делалось с ведома и совета Карамзина. 5-го мая 1820 г. Пушкин и покинул столицу.

Есть однако же еще одна подробность, принадлежащая тоже к этому делу и опускаемая обыкновенно биографами, но весьма важная, как для характеристики самой эпохи так и по тому обстоятельству, что в свое время потрясла Пушкина до глубины души: — мы говорим о слухе, который еще задолго до призыва поэта к генерал-губернатору распространился в городе и упорно держался затем некоторое время. На основании его, во всех углах говорилось, что Пушкин будто бы был подвергнут телесному наказанию при тайной полиции за вольнодумство. Когда слух дошел до Пушкина, он обезумел от гнева и чуть не наделал весьма серьезных бед, чему легко поверить, зная его представления о чести и о личном человеческом достоинстве. Через пять лет он еще дрожал от негодования, вспоминая о тогдашней позорной молве, запущенной на его счет, и памятником этого душевного состояния остался в его бумагах один стран-

ный документ от 1825 года. Проживая тогда в Михайловском после второй своей ссылки и изыскивая все способы освободиться от заточения, Пушкин решился обратиться с письмом на имя императора; но вместо дельного и согласного с обстоятельствами письма, из-под пера его вылился какой-то пламенный и фантастический монолог, в котором правдиво было только глубоко-возмущенное чувство, его подсказавшее. Письмо было набросано по-французски и выписку из него мы здесь приводим в переводе. Разумеется, оно никогда и ни в каком виде не было послано. «Мне было 20 лет в 1820 г., — говорит в нем Пушкин. Несколько необдуманных слов, несколько сатирических стихов обратили на меня внимание. Разнесся слух, что я был позван в тайную канцелярию и высечен. Слух был давно общим, когда дошел до меня. Я почел себя опозоренным перед светом, я потерялся, дрался — мне было 20 лет! Я размышлял, не приступить ли мне к самоубийству или... Но в первом случае я сам бы способствовал к укреплению слуха, который меня бесчестил, а во втором, я не смывал никакой обиды, потому что обиды не было: я только совершал преступление и приносил жертву общественному мнению, которое презирал... Таковы были мои размышления; я сообщил их одному другу, который вполне разделял мой взгляд. Он советовал мне начать попытки оправдания себя перед правительством: я понял, что это бесполезно. Тогда *я решился выказать столько наглости, столько хвастовства и буйства в моих речах и в моих сочинениях, сколько нужно было для того, чтобы принудить правительство обращаться со мною, как с преступником. Я жаждал Сибири, как восстановления чести.*

«Я был глубоко тронут великодушными мерами правительства относительно меня, которые окончательно уничтожили смешную клевету...»

Черновое письмо здесь обрывается, но остановимся на нем еще одно мгновение.

Нет никакой возможности, на основании исторических данных, принять целиком объяснение Пушкина и поверить, что только из желания смыть с себя пятно, наложенное неблагородной почвой, отдался он задирающему либерализму и всем увлечениям жизни и пера, которыми ознаменовали петербургский период его развития. В отрывке есть еще и смешение эпох: сколько нам известно, например, в Петербурге Пушкин ни с кем не дрался, и слова его могут быть отнесены только к эпохе его пребывания в Кишиневе. Истина письма заключается, как уже сказали, в неудержимом чувстве негодова-

ния, которым оно пропитано, благодаря одному воспоминанию о давно забытом слухе. Самый факт возникновения такого слуха еще очень знаменателен, и если мы теперь свободно, хотя и не без стыда за свое довольно давнее прошлое, говорим о нем с публикой, то именно в виду его исторического значения. Стоит только подумать, что такой слух зародился и находил себе полную веру в недрах того же самого общества, которое занято было глубокомысленными нравственными и политическими вопросами, которое готовилось к социальному перевороту и для которого издавалась с высочайшего дозволения волюминозная книга Делольма «Конституция Англии», даже и посвященная августейшему имени[1]. Позорный слух никого не изумил, никому не показался бредом, изрыгнутым каким-либо маньяком: так еще сходился он с административными нравами вообще, с тем, что всегда можно было ожидать от условий тогдашней русской жизни. Если вспомнить еще, что слух передавался тогда совсем не с ужасом или негодованием от человека к человеку, а с шуткой и добродушной веселостью, то характер обстановки, в которой жило это общество, и самых его понятий о правах людей и чести, покажется, может быть, далеко не блестящим.

Как бы то ни было, Пушкин покинул Петербург, конечно, неохотно, но не с тем мрачным отчаянием, которое сопровождало его позже при вторичном насильственном переселении из Одессы в Михайловское (1824). Он уносил из Петербурга сладкие воспоминания и полагал, что расстается с ним не надолго. С тех пор Петербург никогда уже не терял над ним своего обаятельного влияния; мы знаем, что, несмотря на бездну новых впечатлений, встреченных па юге России, Пушкин уже не отрывал глаз своих от Петербурга. Он жил его жизнью, разделял мысленно его удовольствия и занятия, и вместе с партией друзей, там оставленных, боролся с теми, кого они считали врагами. В этом смысле замечание наше о косвенном влиянии на судьбу поэта министра народного просвещения, князя А.Н. Голицына, оправдывается фактами. Пушкин уже около месяца жил в Кишиневе, когда книга Куницына, по которой он учился — «Право естественное» — подверглась запрещению и конфискации по определению ученого комитета министерства народного просвещения, в

[1] Вот полное ее оглавление по каталогу Смирдина, где она приведена за № 2112: «Конституция Англии, или состояние английского правления, сравненного с республиканскою формою и с другими европейскими монархиями, соч. де-Лольма, пер. с фр. Иван Татищев, 2 части. М. В универс. типогр. 1806 г. (8) 15 руб.»

октябре 1820, согласившегося с мнением о ней Магницкого и Рунича. Через год нагнала его весть в том же Кишиневе о полном торжестве мистической обскурантной партии, об исключении четырех профессоров из стен петербургского университета и проч. Известия эти, из которых последнее совпало еще с возбужденным состоянием умов в Кишиневе, видевшем так сказать зародыш греческой революции в своих стенах, и затем дальнейшее ее развитие в соседней Молдавии — открыли двухгодичный период настоящего «Sturm und Drang» в жизни Пушкина. Тогда-то написана была известная эротическая поэма его, в виде ответа на корыстное ханжество клерикальной партии, наградившая потом автора мучительными угрызениями совести на всю жизнь, и тогда же воцаряется в душе его, под именем байронизма — мрак и хаос искусственно-возбужденных и разнузданных страстей, прорезаемый по временам полосами чистого, светлого, целомудренного творчества. Время было страшное, и поэзия одна спасла тогда Пушкина от конечной потери той изящной, нравственной физиономии, под которой он известен русскому миру: она одна поддержала его и вывела опять на предопределенную ему дорогу.

V.

НА ЮГЕ РОССИИ.

1820 — 1823.

Прибытие в Кишинев Пушкина после поездки на Кавказ и в Крым. — Его настроение. — Планы обличительной комедии, трагедии, сатиры и поэмы. — Русский байронизм и его характеристика. — Село «Каменка» и ее влияние. — Начало греческой революции. — Кишиневское общество. — Назначение графа М.С. Воронцова наместником края и переход Пушкина на службу в Одессу.

Нет никакой нужды повторять здесь еще раз сказание о прибытии Пушкина в Елисаветград к генералу Инзову, о болезни, постигшей его там, и о появлении в городе семейства Раевских, которое увезло с собой поэта на Кавказ, в Пятигорск, куда само направлялось. Также точно могут быть опущены и известия о том, мирно-художественном характере жизни, сделавшейся уделом поэта сперва в Пятигорске, а потом в Крыму. Все это неоднократно пересказывалось биографами Пушкина, на основании собственноручных его писем к брату и к б. Дельвигу, которые тоже приводимы были in extenso уже несколько раз. Гораздо любопытнее этих данных — новый свет, брошенный на поездку Пушкина документами, недавно опубликованными: важнейший из них принадлежит Н.М. Карамзину, который в письме к Дмитриеву («Переписка Кар. с Дмитр.», стр. 290) положительно заявляет, что путешествие на Кавказ дозволено было Пушкину, *как знак прощения поэта за прошлые его вины*, прибавляю, что правительство еще положило ему выдать при этом

на дорогу 1000 руб. Факт пересылки этого правительственного пособия Пушкину через посредство К.А. Булгакова не подлежит сомнению. В «Русском Архиве» 1863 г. (№ 12) напечатано письмо Инзова, извещающее К.А. Булгакова о получении этих денег и о передаче их по назначению, но при этом ген. Инзов приписывает одному себе почин дозволения вояжа, прося Булгакова замолвить перед И.А. Каподистрия доброе слово, в случае, если последний не одобрит этого распоряжения. Оба известия, Карамзинское и Инзовское, могут быть соглашены: правительство, наказавшее Пушкина, выслало ему в знак примирения 1000 р., еще не имея сведений о состоявшемся его путешествии, и потом одобрило этот факт, как отвечающий его собственным намерениям относительно поэта. Рука благородного начальника Пушкина по министерству иностранных дел, И. А. Каподистрии, чувствуется во всех этих распоряжениях; да он и не ограничился этим, а в следующем, 1821 г, справлялся еще о положении Пушкина прямо из Лайбаха, где тогда находился с императором на конгрессе. Все это давало Пушкину основательный повод надеяться на скорое возвращение в Петербург. Вышло однако же иначе. С того же Лайбахского конгресса, на котором рассуждали о делах Испании и Греции, граф Иван Антонович отказался от должности статс-секретаря и в следующем году покинул Россию: Пушкин был забыт, да к тому же и байроническое направление, которому он все более и более подчинялся, оказалось важной помехой к осуществлению его ожиданий и предположений.

История развития байронического направления и есть собственно история Пушкина за все время его пребывания на юге России. Там он приобрел его, и там же пережил его и победил. Но байронизм русский вообще и Пушкина в особенности, имел только отдаленное сходство с явлением, известным в Европе под этим именем. На нашей почве байроническое настроение приобрело такие родовые черты, такую чисто-местную национальную окраску, и в крайних своих порывах оттенялось такими своеобычными, иногда свирепыми и вообще антигуманными подробностями, что изучение *нашего* байронизма становится делом крайне любопытным и поучительным.

Байронизм подкрадывался к Пушкину тихо, и прежде всего своими эстетическими и художественными приемами, в ожидании времени, когда практические следствия этого учения, устраивающие самую жизнь, окажут, в свою очередь, неизбежное действие на его существование. Мы скоро увидим, как понято было им это учение и в какой оригинальный цвет оно окрасилось; но здесь должны еще сде-

лать предварительно следующее замечание. Полное подчинение образцу, волновавшему тогда почти все умы Европы, должно было неизбежно свершиться в душе Пушкина при первом знакомстве с Байроном: тут он обретал, наконец, учение, соответствующее пылу молодого ума и притом такое, которому легко было покориться, ибо оно прежде всего стояло за право личности относиться свободно ко всем явлениям жизни исторического, политического и общественного характера. Весь круг идей, в котором он доселе вращался, показался ему крайне ничтожен и бледен перед основаниями и стремлениями британского поэта, и только вместе с утихающей молодостью и возвращавшейся трезвостью суждения всплыли наверх опять взгляды и уроки, полученные им от петербургского периода жизни, в беседах с людьми, подобными Карамзину, Жуковскому и проч., как сказали, и которые глубоко залегли в его душе. Ход этой нравственной революции, настигший Пушкина в Кишиневе, мы здесь и изложим по документам, которые сохранил сам поэт для своей биографии в своих заметках.

Старый генерал Раевский, которого Пушкин, в одном из своих писем, называет *человеком без предрассудков*, был родственником Потемкина и живым остатком екатерининского века, сохранившись от него при критическом отношении ко многим темным его сторонам, одно существенное его предание, именно учение о праве главы избранной дворянской фамилии понимать службу государству и свои обязанности перед ним так же, как честь и доблесть своего звания, независимо от каких-либо посторонних требований и внушений, что не мешало ему самому быть очень твердым и подчас суровым истолкователем личной своей воли с другими. Семейство его состояло тоже из гордых и свободных умов, воспитанных на тех же доктринах личного, унаследованного права судить явления жизни по собственному кодексу и не признавать обязательности никакого мнения или порядка идей, которые выработались без их прямого участия и согласия. Старшая дочь Раевского, Катерина Ник., та, о которой Пушкин отзывался, как о женщине необыкновенной, умела покорять людей твердостью характера и прямотой своего слова. В Кишиневе, куда она явилась позднее, и уже супругой генерала М.Ф. Орлова, ее называли за эти качества в шутку друзья дома «Марфой Посадницей». Под ее руководством и под руководством ее сестры, впоследствии кн. Волконской, Пушкин принялся на Кавказе за изучение английского языка, основания которого знал и прежде. Книга, которую они выбрали для практических упражнений, была — «Со-

8 Зак. 1295

чинения Байрона». Таким образом, благоговение к великому поэту росло в Пушкине по мере самого углубления в смысл его идей; а известно, какие задушевные отношения образуются между читателем и автором от подобных долгих, непрерывных бесед друг с другом. На Кавказе же, к семейству генерала Раевского присоединился и старший сын его, Александр Николаевич, с которым Пушкин сошелся тотчас же и очень близко. Пушкин возымел с самого начала весьма высокое понятие о качествах своего друга. Он прямо писал брату, что старший сын Раевского будет более нежели известен; а на словах, как нам передавали, выражался еще решительнее. При тогдашнем всеобщем ожидании политических перемен во всех углах Европы, Пушкин говорил об Алекс. Н—е, как о человеке, которому предназначено, может быть, управлять ходом весьма важных событий. Друзья часто сиживали, как вспоминает сам поэт в другой, позднейшей своей поездке на юг (путешествие в Арзерум, 1829), на берегах Подкумка, в виду величавого Бешту, и долго беседовали. Содержание этих бесед никто, конечно, передать не может, но вот что любопытно: А.Н. Р. уже пользовался тогда репутацией скептического ума в нашем обществе. Когда, в 1823 г., Пушкин напечатал свое лирическое стихотворение «Демон», общественное мнение узнавало в недовольном, разочарованном человеке пьесы лицо его друга, хотя никаких дельных оснований для такого предположения вовсе не существовало. Даже и в печать проникло мнение, что стихотворение списано с живого и существующего оригинала. Пушкин вздумал приготовить по этому поводу заметку, которую собирался послать в журналы, без подписи имени и как бы от постороннего лица, но которая, однако же, не попала в печать, хотя по изворотливости языка и некоторому тону лицемерия, обусловливаемых тогдашней цензурой, видимо приготовлялась для опубликования. Приводим заметку, как она найдена нами, в кратких афоризмах, не совсем обделанных и едва набросанных, потому что и в этом черновом виде своем она еще крайне любопытна, наивно объясняя усилия, с какими люди того времени додумывались до созерцания «демонов».

«Многие, — пишет Пушкин, — были того же мнения[1] и даже указывали на лицо, которое Пушкин будто бы хотел изобразить в этом *странном* стихотворении... Кажется, они неправы; по крайней мере, *я* вижу в «Демоне» цель более нравственную. Не хотел ли

[1] В предшествующем, недостающем периоде была или могла быть, по всем вероятиям, речь о «Демоне», как о копии с живого оригинала.

поэт олицетворить сомнение? В лучшее время жизни — сердце, не охлажденное опытом, доступно для прекрасного. Оно легковерно и нежно. Мало-помалу вечные противоречия существенности рождают в нем сомнение, чувство мучительное, но не продолжительное... Оно исчезает, уничтожив наши лучшие и поэтические предрассудки души... Недаром великий Гете называет вечного врага человечества — духом *отрицающим*... И Пушкин не хотел ли в своем «Демоне» олицетворить сей дух отрицания или сомнения и начертать в *приятной* картине печальное влияние его на нравственность нашего века?»

Во всяком случае, благодаря обществу, в котором теперь обретался Пушкин, ум его настроен был гораздо серьезнее, чем когда-либо прежде. Все было серьезно кругом него, начиная с кавказской природы и кончая .людьми. Действие подобной обстановки отразилось и на его произведениях. Прекрасные этнографические подробности, которыми наполнен «Кавказский Пленник», тогда же задуманный, показывают, что старый, шаловливо-остроумный тон его музы был уже порван и мысли указано новое течение. Даже в неудачной попытке создать байронический характер в лице героя поэмы, несостоятельность которого почувствована была самим автором прежде публики, есть намек на появление умственных и творческих задач, гораздо более важных, чем все доселе его занимавшие. Но главнейшая услуга, оказанная Пушкину теперешней его обстановкой, все-таки заключалась в том, что возбудила в нем жажду учения, самообразования, подняла в уме его вопросы, для которых требовалась уже вседневная привычка к размышлению и круг познаний, доселе ему еще не достававший. По образованию он не стоял в уровень ни со своими привычными собеседниками, ни с репутацией, которой начинал пользоваться; он бросился на труд пополнения своего воспитания с удвоенной энергией. Последней не могли ослабить уже и все утехи Юрзуфа, местечка в Крыму, сделавшегося почти знаменитым в истории нашей литературы, благодаря пребыванию в нем Пушкина. Там он отдыхал от кавказского лечения, вместе с семейством Раевских и другими наехавшими гостями и гостьями. Как ни велики были забавы и обаятельные впечатления крымской жизни сперва в Юрзуфе, а потом в Бахчисарае, сохраненные и стихотворениями Пушкина[1], они уже не могли пошатнуть или заслонить собою цели,

[1] См. пьесы 1820 г.: «Дориде», «Дорида», «Нереида», элегии: («Редеет облаков летучая гряда) и др.

которая теперь поставлена им была для себя. Раевские покинули Крым несколько ранее. Словно для окончания предварительного его воспитания он проехал еще на возвратном пути к ним, в известную Каменку, — село Раевских-Давыдовых, — Киевской губернии, о которой будем говорить далее, и оттуда уже явился в Кишинев к своему начальнику генер. Инзову. Во время довольно длинного вояжа этого, центральное управление колонистами переведено было из Екатеринослава в Кишинев, который и сделался, поэтому, резиденцией как Инзова, так и его чиновников. Пушкин явился в Бессарабию с жаждой к умственному труду и с готовым уже байроническим настроением.

Внешняя жизнь Пушкина в Кишиневе и обстановка его жизни уже известны публике из наших «Материалов для биографии А.С. Пушкина» (1855), из обстоятельной монографии г. Бартенева «Пушкин на юге России», дополнением которой (и в высшей степени драгоценным) служат отрывки из «Дневника и воспоминаний И.П. Липранди», приложенные к «Р. Архиву» 1866. Отрывки этого «Дневника» получают особенную важность, как свидетельство современника и очевидца о характере и настроении поэта в данное время. После этих разъяснений остается еще исследовать тайный процесс его мысли, откуда выходили все его поступки, предприятия и общий тон жизни. К описанию этого процесса приступаем теперь.

Учение и самообразование продолжались у Пушкина и тогда, когда он поселился в доме Инзова, на горе, в так называемой «Метрополии» Кишинева. Пушкин принялся за собирание народных песен, легенд, этнографических документов, за обширные выписки из прочитанных сочинений и проч. К сожалению, вся эта работа поэта над самим собой, за очень малыми исключениями, о которых речь впереди, пропала для нас бесследно. По словам И.П. Липранди, Пушкин прибегал даже к хитрости для пополнения недостающих ему сведений: он искусственно возбуждал споры о предметах, его интересовавших, у людей более в них компетентных, чем он сам, и затем пользовался указаниями спора для приобретения нужных ему сочинений. В Кишиневе же он начал ряд тех умных «Заметок», которые продолжались у него и гораздо долее 1828 года, когда были впервые напечатаны («Северные Цветы», 1828) под общим заглавием: «Мысли и замечания». Вообще, он сам хорошо выразил серьезную сторону своей жизни в известном послании к Чаадаеву из Кишинева, помеченном числами 6—20 апреля 1821 и столько раз уже приводимом

биографами для подтверждения факта о трудолюбии и дельном настроении поэта за все это время:

> «Учусь удерживать вниманье долгих дум
> *И в просвещении стать с веком наравне*».

Любопытен только вопрос — что значило тогда в русском обществе: стать с веком наравне?

Здесь кстати будет заметить, что стихотворение написано, как скоро увидим, в самом разгаре политических страстей и байронического брожения у Пушкина. Спокойный, мудро-эпический тон пьесы находится в совершенном противоречии со всем, что мы знаем о бешеной жизни Пушкина в эту эпоху, и еще раз показывает, как заблуждаются биографы и в какое заблуждение вводят читателей, когда на основании стихотворений в которых личность поэта является преображенной поэзией и творчеством, вздумают судить о действительном реальном ее виде, в известный момент. Правда, что они могут сказать: в поэтическом отражении писатель более походит на самого себя, чем в дрязгах и треволнениях жизни, но тогда уже не следует вовсе и заниматься последней, а довольствоваться только одним художническим ее обликом.

Плодом занятий и размышлений Пушкина осталась между прочим, от этого времени статья «Некоторые исторические замечания», не попавшая в печать. Причину этого исключения можно искать в резкости ее формы и языка: *домашние*, так сказать, исследования почти всегда так пишутся. Некоторые критики, в том числе и г. Бартенев, видят в статье Пушкина признаки ранней зрелости ума и суждения, ссылаясь особенно на его упреки императрице Екатерине за отобрание монастырских имений, которые *могли быть* употреблены духовенством на дело народного образования. Мы не имеем такого высокого мнения о статье, которая для нас представляет только занимательность, как превосходный пример либеральных толков времени и светской учености, нами уже описанной. Собственно говоря, статья посвящена исключительно царствованию Екатерины II-й, а все предшествующие упомянуты только вскользь и огулом, но основы ходивших тогда мнений о новейшей Русской Истории сохранены в ней в достаточной полноте. Любопытно, что Петр Великий, на реформы которого смотрели в прошлом столетии не совсем благоприятно даже такие противоположные умы, как президент академии наук, княгиня Дашкова, и историк князь Щербатов, восстановляется запиской Пушкина в полном величии, но на основаниях довольно

фантастического характера: «Петр I-й,— говорит автор ее,— не страшился народной свободы и неминуемого действия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон». Движение, им данное государству, продолжалось и после него: «...Наследники северного исполина,— продолжает автор,— изумленные блеском его величия, с суеверной точностью подражали ему во всем, что только не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства были выше его образованности и добро производилось не нарочно, между тем как азиатское невежество обитало при дворе»... Через несколько строк после этого, Пушкин прямо переходит к верховникам, вызвавшим герцогиню Анну Ивановну на престол и также быстро определяет их замыслы; но это место у Пушкина мы считаем важнейшим местом из всей его записки. Оно представляет нам как бы дальний отзвук «Арзамаса», тем более замечательный, что он раздался в среде и на почве радикальных убеждений. Вот это место: «Аристократия после него (Петра) неоднократно замышляла ограничить самодержавие; *к счастью*, хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож и образ правления остался неприкосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализма и существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян[1]. Если бы гордые замыслы Долгоруких и прочих совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили бы или даже уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния, ограничили бы число дворян и заградили бы для прочих сословий путь к достижению должностей и почестей государственных. Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство; *ныне же* политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян: *желание лучшего соединяет все состояния против общего зла и твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас на ряду с просвещенными народами Европы*»... Это место заслуживает названия пророчества, но из всего последующего окажется, что в своих нападках на аристократию, Пушкин подразумевал только своекорыстную, эгоистическую и невежественную касту олигархов, а совсем не целую сословную партию. Затем автор записки обрушивается уже всей силой негодования на царствование Екатерины II-й,

[1] Если сличить это место с цитатой о феодализме, которую мы не без намерения привели выше, то разница между созерцанием Пушкина в 1821 и взглядами его в 1831 окажется очень значительной. Мы объясняем далее причины этой кажущейся разновидности.

и оно понятно — почему? Восторженные поклонники императрицы, как тогда, так и гораздо позднее еще, составляли у нас партию консерваторов, которая противопоставляла всем благим начинаниям Александровской эпохи блеск, величие и мудрость царствования великой бабки императора. Борьба с этой партией выразилась у Пушкина столь же резким, сколько и односторонним обличением идеала, который создали себе консерваторы из лица императрицы. Отсюда желчный, неумеренный тон его записки. Правление Екатерины обвиняется *в важных ошибках против политической экономии*[1], в жестокости деспотизма, при лицемерном усвоении либеральной внешности перед Европой (повторяется сказка о Княжнине, будто бы умершем под розгами Шешковского за свою трагедию), в раздаче крестьян любимцам своим, закрепощении Малороссии и Польши, в растлении общественных нравов, в расточительности и проч. Не находит пощады и известный призыв депутатов в комиссию об уложении: «Фарса наших депутатов, — говорит Пушкин, — столь непристойно разыгранная, имела в Европе свое действие» и проч. Словом, это великое имя принесено было в жертву тогдашнему радикализму вполне и совершенно бесстрашно.

Из приведенных нами выписок достаточно видно, каким резким сторонником «*эманципации*», свершившейся только 40 лет спустя, был Пушкин в свое время. В этом качестве заявлял он уже себя с весьма ранних пор, как знаем, да иначе и не могло быть у питомца и друга Тургеневых, которые крестьянский вопрос считали единственной серьезной стороной тогдашнего либерализма и тогдашних либеральных ассоциаций. Не довольствуясь партикулярными, так сказать, заявлениями своего сочувствия к вопросу, Пушкин хотел написать еще комедию или драму потрясающего содержания, которые могли бы выставить в позорном свете безобразие крепостничества, а вместе с тем показать и темные стороны самого образованного общества нашего. Программа такой комедии или драмы, затерявшаяся в бумагах поэта, изложена в довольно странной форме. Все действующие лица будущей драмы названы в ней по именам предполагаемых ее исполнителей на сцене, т.е. фамилиями тогдашних знаменитейших актеров петербургского театра.

Вот что говорит программа: «*Валберхова* — вдова, *Сосницкий*

[1] Пушкин никогда не занимался полит. экономией, но вспомним моду на Адама Смита, Беккария, Филанжьери и проч. Без слова о полит. экономии нельзя было обойтись.

— ее брат, *Брянский* — любовник Валберховой, *Рамазанов, Боченков*. Сосницкий дает завтрак, Брянский принимает гостей. Рамазанов узнает Брянского. Изъяснение. *Пополам.* Начинается игра. Сосницкий все проигрывает, гнет на карту *Величкина*. Отчаяние его».

Конечно, трудно было бы доискаться смысла в этой лаконической программе, если бы не существовала еще другая, которая может служить пояснением первой и которую здесь же прилагаем:

I.

С. и *В*. (то есть Сосницкий и Валберхова — брат и сестра). *В*. Играл? *С*. Играл. *В*. Долго ли тебе быть Бог знает где? Добро бы либерал... да ты-то что?[1]. Зачем не в свете... где вся молодежь? *С*. Вы все бранчивы... Скучно... То ли дело ночь играть. *В*. Скоро ли отстанешь? *С*. Никогда, сестрица милая... Уезжай. У меня будет завтрак. *В*. Игра?... *С*. Нет... *В*. Прощай.

II.

С. Карты!.. *Величкин* (то есть старый слуга или дядька Сосницкого). Проиграетесь... *С*. Полно врать... Я поспею.

III.

В. и *Бр*. (то есть Валберхова и любовник ее Брянский, тоже игрок. Вероятно, первая умоляет своего любезного спасти ее брата).

IV.

Бр. и *Рамазанов* — узнают, уговариваются (то есть два шулера, один великосветский, а другой из низших слоев общества, узнают друг друга и уговариваются проучить Сосницкого).

V.

Валб. Что за шум? *Величкин*. Играют. *Валб*. Поди за Брянским.

[1] Тут есть исторический намек. Вдова Валберхова, по этой программе, должна была говорить, вероятно, о либералах-аристократах эпохи, братавшихся с разночинцами и убегавших от общества и его удовольствий для того, чтобы, предаваться серьезным занятиям и беседам о важных предметах. Пушкин часто упоминал и потом об этой черте эпохи.

VI.

Валб. И Брянский такой же.

VII.

Брян. и *Валб*. (Вероятно объяснение между ними). *Бр*. Я пополам! (то есть пополам с Рамазановым). Ему урок... проигрывается...

VIII.

Сос. В отчаянии (т.е. уже проигравшийся). *Бр*. (Вероятно, подстрекающий его). ***Величкин*** уговаривает, тот ставит его на карту, проигрывает. Величкин плачет, Сосницкий тоже. ***Брянский*** и ***Рамазанов*** (вероятно, открывают заговор). Конец.

Из сличения обеих программ оказывается возможность продолжить правдоподобное изъяснение всего плана будущей комедии. По нашему мнению, дело должно было заключаться в том, что аристократическая вдова (Валберхова), имеющая любимого ею брата, желает спасти его от несчастной страсти к игре. Она советуется со своим любовником, тоже из высшего света и тоже игроком, но уже опытным и знакомым с проделками шулеров. Любовник обещает ей содействие, и на первом же игровом вечере у Сосницкого встречает полного шулера, Рамазанова, узнает его, и принуждает обыграть хозяина пополам с собою, но в шутку. Так и делается. Под конец сеанса они заставляют Сосницкого поставить на карту своего старого дядьку Величкина. Происходит раздирающая сцена, кончившаяся наставлениями и поучениями и проч.

Вот какого рода обличительную комедию задумывал Пушкин в Кишиневе. По нашему мнению, известные посмертные отрывки из какой-то стихотворной комедии Пушкина, приведенные нами в «Материалах 1855 г.» и повторенные изданием Исакова, принадлежат к той же мысли о комедии из крепостного и шулерского мира — только план ее уже изменился несколько, и вместо брата и сестры являются на сцену мать и сын. Она также не была написана, и понятно почему.

По свойству своего таланта, Пушкин не мог долго держаться в ограниченных рамах светской драмы или обличительной комедии, при самом твердом намерении отдаться им вполне. Мы видим, что едва он поставил вехи для своего произведения, как тотчас же пере-

шел к мысли о политической трагедии. Здесь, конечно, открывалось более простора для лирического вдохновения, которое ему всегда легко доставалось и не требовало в такой мере обдумывания мотивов и жизненного наблюдения. Трагедия отвечала притом гораздо лучше состоянию его души и мысли и лучше могла выразить весь пыл смутных оппозиционных порывов, которые их одолевали. Вот почему почти рядом с программой комедии является у него программа трагедии *«Вадим»*, часть которой уже известна публике по собранию его сочинений. Под этим именем Пушкин замышлял написать картину заговора и восстания *«славянских племен»* против *«иноплеменного»* ига, напомнить именем Вадима известную трагедию Княжнина, удостоенную официального преследования в прошлое столетие, и наконец открыть эру мужественных Альфиеровских трагедий в русской литературе, на место любовных классических, которые в ней господствовали. Все содержание новой трагедии должно было вертеться около движения народных масс и служить апофеозой гражданским доблестям их руководителя Вадима, причем и *«славянские племена»* и *«иноплеменники»* составляли только весьма прозрачную аллегорию, за которой легко было разобрать настоящих деятелей и настоящих врагов, подразумеваемых трагедией. Пушкин так ясно хотел выразить свою истинную цель, что в сцене трагедии, напечатанной в изданиях его сочинений, стих, вложенный им в уста Рогдая, одного из заговорщиков, описывающего всеобщий ропот новгородцев:

> *«К пришельцам ненависть*
> Я зрел на каждой встрече» —

был просто написан так, как будто дело шло о событии очень близком и современном:

> *«Вражду к правительству*
> Я зрел на каждой встрече».

Но и эта трагедия не удостоилась отделки и продолжения, и опять понятно по какой причине. Истинного в ней было только настроение автора, а затем ни история, ни предание — никаких дельных материалов для нее не приготовили. Все было в ней выдумка и подлог, а долго обращаться с подобными элементами производства Пушкин не мог, как уже было сказано. Он бросил трагедию и перешел к мысли о поэме с таким же псевдоисторическим и либеральным содержанием, но ложь и несостоятельность замысла и тут оста-

новили его. Он отказался и от поэмы. От нее уцелели для нас только два отрывка («Два путника» и «Сон»), которые приведены в издании его «Сочинений» и которые уже блещут неподдельной красотой своих подробностей, как читатель может сам удостовериться.

Должно согласиться, что эта тайная деятельность мысли и творчества у Пушкина носит совершенно другой характер, чем та, которую он открыл публике и которую мы знаем по его сочинениям от эпохи 1821 — 1824 г. Под лучезарными произведениями его поэтического гения, отданными свету, текла, не прерываясь вся жизнь, другая, потаенная струя творчества общественного, политического, исповеднического и задушевного характера, имевшая большое влияние и на общий тон его поэзии. Из этого источника, может быть, получала последняя то жизненное, реальное выражение, которое в ней неотразимо чувствуется, несмотря на чистую сферу искусства, в которой она постоянно держалась, как в настоящем своем элементе. Это тем важно, что даже для понимания настоящего смысла многих его лирических песен, представляющих как бы малые законченные и самостоятельные поэмы, необходимо еще знание душевных и умственных волнений поэта, которые составляют, так сказать, их подкладку. В таком именно пояснении нуждаются особенно все стихотворения Кишиневской эпохи, посвященные имени «Овидия», поклонение которому зародилось у Пушкина тотчас по приезде на новое место жительства и служения.

По справедливому замечанию г. Бартенева (в статье «Пушкин на юге России»), Пушкину показалось, что между ним и несчастным щеголем времен Августа, автором «Искусства любить» и «Превращений», есть, кроме сходства талантов, еще разительное сходство в судьбе и общественном положении. Пушкину приятно было думать, что на расстоянии тысяч-двух лет он испытывает одинаковую участь и страдает одинаковыми нравственными страданиями с изгнанником первого римского императора. Он оплакивал судьбу Овидия, трогательно взывал к его тени, и не довольствуясь спорами о месте погребения его, совершил поездку в обществе Липранди, по свидетельству последнего, к предполагаемому месту Овидиевой гробницы. Все это факты вполне определенные, но остается затем не разъясненным вопрос: как мог горделивый образ Байрона мирно уживаться в душе Пушкина рядом с образом бедного римского денди, лишенного всякой нравственной энергии, разливавшегося постоянно в лести, жалобах и мольбах к Августу из надежды возвратиться опять в Рим, к месту своих прежних подвигов? Дело в том, что и Байрон и

Овидий были олицетворение противоположных стремлений самого Пушкина в ту эпоху. Он жил тогда двойной жизнью, именно — потребностью отрицания современных условий общественного быта, которая в удалении от главных административных центров находила себе больший простор. Это настроение хорошо уживалось с Байроном, питаясь духом и мыслью британского поэта, но вместе с тем Пушкин жил еще надеждами и планами, прямо противоположными этому настроению, диаметрально исключавшими его. Пушкин жаждал именно, на подобие своего предшественника, Овидия, наслаждений столичного жителя, светских и блестящих литературных успехов, которые тянули его в Петербург, где они преимущественно обретались и раздавались. Мы уже видели, что с самого своего появления на юге, Пушкин имел причины ждать скорого вызова своего обратно в Петербург; тем не менее он постоянно делал на месте все возможное, чтобы помешать такому вызову. Цели его двоились, как и самая мысль: Байрон и Овидий призваны были выражать те силы, которые боролись в собственной его душе. Когда надежда появления опять на берегах Невы все более и более с течением времени вымирала у Пушкина, Байрон или, лучше, то русское видоизменение байронизма, о котором упоминали, окончательно овладело им и подчинило его себе безраздельно.

Мы пришли к основному началу, определившему и окрасившему собою один замечательный период в жизни Пушкина, и уже необходимо должны ближе заняться вопросом: — чем сделался вообще «байронизм» на русской почве и какой стороной привился он в частности к нашему поэту?

Уже с первых шагов Пушкина в Кишиневе можно усмотреть признаки особенного понимания той свободы мысли, которую байронизм будто бы предоставляет человеку, и той смелости поступков, на которую будто бы он уполномочивает. После недолгого пребывания на квартире, Пушкин переехал в дом, занимаемый наместником Бессарабии И.Н. Инзовым, в старом городе, как сказали. Личность этого почтенного человека недостаточно исследована у нас, хотя вполне заслуживала бы внимания. Мы почти ничего не знаем о достойном генерале. Все наши сведения о нем ограничиваются несколькими официальными данными, заключающимися в известном издании: «Александр I и его сподвижники», да известиями, что Инзов, через воспитателя своего, князя Н.Н. Трубецкого, а потом через своего начальника, кн. Н.В. Репнина, при котором служил адъютантом, рано ознакомился с учениями наших, так называемых, мартинистов про-

шлого века, и до конца жизни сохранял их строгий взгляд на жизнь и обязанности христианина. Есть и еще одно свидетельство о почтенном генерале — это портрет Инзова, оставленный нам Ф.Ф. Вигелем в его «Записках»; но портрет видимо написан под влиянием оскорбленного самолюбия, ибо «Записки» Вигеля, несмотря на их живое и местами талантливое изложение, были у автора еще и орудием посмертной мести против лиц, когда-либо не доверявших его нравственному характеру или помешавших ему достигнуть влиятельного поста на службе, которого он и не заслуживал по милости множества закоренелых предрассудков. Вот почему, когда он рисует честного и благородного Инзова мрачным, сосредоточенным в себе честолюбцем, человеком необузданных страстей, которые он старался подавить в себе, по принципу мистического самоумерщвления, то мы уже догадываемся, почему такие, а не иные краски очутились на его кисти. Инзов, между прочим, исповедывал — как и вся его партия — известное учение о *благодати*, способной просветить всякого человека, каким бы слоем пороков и заблуждений он ни был прикрыт, лишь бы нравственная его природа не была окончательно извращена. Вот почему, например, в распущенном, подчас даже безумном Пушкине, Инзов видел более задатков будущности и морального развития, чем в ином изящном господине, с приличными манерами, серьезном по наружности, но глубоко испорченном в душе. По свидетельству покойного Н.С. Алексеева, он был очень искусен в таком распознавании натур, несмотря на кажущуюся свою простоту. Вот что писал сам Пушкин в 1825 г. про Инзова, придавая своей автобиографической заметке форму диалога между собой и каким-то воображаемым высокопоставленным лицом. Из этого диалога мы извлекаем следующие строки: «Инзов меня очень любил и за всякую ссору с молдаванами объявлял мне комнатный арест и присылал мне — скуки ради — французские журналы... Генерал Инзов — добрый, почтенный... (человек). Он русский в душе. Он не предпочитает первого английского шалопая своим соотечественникам. Он уже не волочится, страсти в нем уже давно погасли; он доверяет благородству чувств, потому что сам имеет их; не боится насмешек, потому что выше их и никогда не подвергается заслуженной колкости, потому что он со всеми вежлив»... Очерк, конечно, слаб, так как видимо служит Пушкину только оттенком для какого-то другого характера, но и эти отрицательные черты уже много говорят в пользу первого начальника нашего поэта.

Но как он отвечал на все благорасположение своего ментора?

Мы знаем, что и прежде, и после этой эпохи, Пушкин нисколько не церемонился в обращении со всякого рода авторитетами, ему встречавшимися, что он никогда, ни перед кем не мог воздержаться от проказы или шутки; но здесь, по всему, что до нас дошло, примешалось к этой черте нечто злобное и рассчитанное. Он как будто с наслаждением дразнил старого генерала. Тот же Вигель, и на этот раз со всеми признаками достоверности, рассказывает, что, обедая у Инзова, Пушкин нарочно заводил вольнодумный разговор, и зная строго-религиозные убеждения хозяина, старался развивать наиболее противоположные им теории. Замечательно, что он никогда не мог окончательно рассердить Инзова, так, как и Карамзина прежде. Напротив, когда в 1823 г Инзов сдал должность начальника новороссийского края, которую исправлял с июля 1822 г., графу М.С. Воронцову, то всего более огорчен был добровольным переходом на службу к своему преемнику — бывшего своего чиновника, столько им любимого — Пушкина. «Ведь он ко *мне* был послан» — жаловался добрый старик.

Кроме этой развязности в обращении с людьми, русский байронизм отличался еще и другими своеобычными чертами. Он, например, никогда не отдавал себе отчета о причинах ненависти к политическим деятелям и к современному нравственному положению Европы, которой отличалось это учение за границей. Нашему байронизму не было никакого дела до того глубокого сочувствия к народам и ко всякому моральному и материальному страданию, которое одушевляло западный байронизм. Наоборот, вместо этой основы, русский байронизм уже строился на странном, ничем неизъяснимом, ничем не оправдываемом презрении к человечеству вообще. Из источников байронической поэзии и байронического созерцания добыто было нашими передовыми людьми только оправдание безграничного произвола для всякой слепо-бунтующей личности и какое-то право на всякого рода *«демонические»* бесчинства. Все это еще переплеталось у нас с подражанием аристократическим приемам благородного лорда, основавшего направление и всегда помнившего о своем происхождении от шотландских королей, как известно. Мы приводим здесь разительный пример именно такого понимания байронизма. В бумагах Пушкина осталась записка по-французски, неизвестно кем писанная, но, вероятно, вызванная каким — либо предшествующим разговором ее автора с нашим поэтом. Дикое сочетание аристократической кичливости с грубостью мысли и чувства в ней поразительны. «Vous êtes, mon digne maître, говорит записка,

brave, mordant, méchant — cela n'est point assez: il faut être tyran, féroce, vindicatif. C'est où je vous prie de me conduire. Les hommes ne valent pas qu'on les évaluent par les étincelles de sentiments par lesquelles je me suis imaginé des les évaluer. C'est par *berquovetz* qu'il faut les éstimer. Il faut devenir aussi égoiste et aussi méchant qu'ils le sont en général, pour en venir à bout. C'est alors seulement qu'on peut assigner la place qu'il convient à chacun d'occuper. Et ce bien cela, mon tres-aimable compatriote, ou bien ai-je tort? Prononcez»! («Вы, мой достойный наставник, смелы, язвительны, злы — но этого еще мало: надо быть тираном, свирепым, мстительным. Прошу вас научить меня этому. Люди не стоят того, чтобы их ценили по искрам чувства, как я было вздумал их оценивать. Их надо весить *берковцами*. Подчинить их себе можно только тогда, когда сам сделаешься таким же эгоистом и таким же злым, каковы они. После этого уже можно приступить к назначению каждому его настоящего места. Так ли это, мой любезный соотчич, или я ошибаюсь? Решайте».) Такие-то записки мог получать теперь Пушкин — этот, по природе своей, как мы знаем, добродушный и любящий человек. Не по действию одной случайности, как нам кажется, сохранилась и самая записка в его бумагах. Может быть, он тайно гордился в это время титулом мастера в науке вздорной ненависти к человечеству, которым чествовала его записка, сама будучи произведением пустого тщеславия, распаленного праздным существованием на трудах и поте того самого человечества, которое она учила презирать.

Мы приведены в необходимость оспаривать мнение, довольно распространенное, по которому весь кишиневский период Пушкинской жизни, со всеми его увлечениями, считается делом преднамеренным у поэта, напускным, заимствованным, как мода. Друзья Пушкина, а за ними и биографы, распространившие это мнение, ссылаются в подтверждение его не только на те просветы поразительно трезвых суждений, какие почасту бывали у поэта, но и на самые статьи его, в которых заключаются автобиографические намеки, в роде статьи: «Анекдот о Байроне», тогда же им написанной. Известно, что эта статья говорит о врожденной религиозности Байрона и проводит мысль, что многое в английском поэте должно приписать его страсти или его слабости — казаться не тем, худшим, чем он в самом деле был. Говоря это, Пушкин мог, будто бы, разуметь столько же Байрона, сколько и самого себя. Но состояние его тетрадей и записок, в которых Пушкин никогда не лгал на себя, опровергает эти предположения, показывая, что ночь, облегавшая сознание поэта в

кишиневскую эпоху, была действительной ночью, и что яркие просветы зрелой мысли, которыми она прорезывалась, свидетельствуют только о силе нравственного творчества, не вполне утерянной им и тогда. Мы уже сказали, что поэзия, например, была его спасительницей и вывела его опять к свету и правде, при врожденной мощи и крепости его мысли, созревавшей чрезвычайно быстро, как окажется из дальнейшего изложения нашего очерка.

Совокупное действие известий о торжестве враждебных ему начал в Петербурге, вызывающих и возбудительных подробностей тогдашней кишиневской жизни, а наконец слухов о греческом восстании в Молдавии, которое ознаменовало себя на первых порах неимоверными жестокостями и предательствами, придало особый характер беседам Пушкина с самим собой. Тетради его каждой своей страницей говорят уже о необычайном состоянии его фантазии, возбужденной до крайней, высочайшей степени. Рисунки, которыми он любил досказывать все недоговоренное или неудобно высказываемое, теперь умножаются. Одной стороной они примыкают к прежним упражнениям этого рода, представляя, на подобие их, цепь мужских и женских головок, вероятно портретов, иногда целые фигуры, а иногда и полные картинки, содержание которым давали теперь или анекдоты из жизни самого поэта, или скандалезная хроника города Кишинева[1]. Пушкин как будто сам занялся приготовлением «иллюстрации» для собственной биографии. Но в эту иллюстрацию введены уже были черты и элементы, не существовавшие до Кишинева, и после Кишинева нигде не повторявшиеся снова: они поражают своим характером. Здесь именно является впервые тот цикл художнических шалостей, которому французы дают название *diableries* — чертовщины. Этот род изображений отличается у Пушкина, однако же, совсем не шуткой: некоторые эскизы обнаруживают такую дикую изобретательность, такое горячечное, свирепое состояние фантазии, что приобретают просто значение симптомов какой-то душевной болезни, несомненно завладевшей их рисовальщиком.

[1] Так известная проделка Пушкина с молдавским бояриным Бальш, которого он заставил лично отвечать за неосторожное или необдуманное слово жены, получила следующее «иллюстрированное» толкование. Пушкин изобразил в пустой комнате длинного сухощавого человека, по-видимому, только что разбуженного, в куртке, но без исподнего платья, который стоит с раздвинутыми руками, и с видом крайнего изумления ищет, этой принадлежности своего туалета. Комната украшена только деревянным стулом, да на окне, спиной к зрителям, помещается символ лукавой робости — кошка. Внизу надпись: «Ma femme, ma cullote, et mon duel donc! Ah, ma foi, qu'elle s'en tire comme elle voudra, puisque c'est elle qui porte cullotte».

В одной из тетрадей, после пометок, способствующих к открытию времени ее употребления, из которых одна гласит: «18 Juillet 1821, nouvelle de la mort de Napoléon»; а другая: «bal chez l'archevêque arménien» встречается весьма сложная *«сатанинская»* композиция, описание которой даст понятие читателю и о всех прочих того же рода. Под скрипку маленького беса с хвостиком танцуют четыре мужских и женских бесенят, наделенных тоже хвостиками. На полях картинки составляя рамку ее, видны две виселицы: под одной из них, с повешенным человеком, сидит задумавшись мужчина в большой круглой шляпе; под другой видно колесо и орудия пытки. Картинка имеет еще и соответствующий эпилог: внизу ее распростерт скелет, со стоящей перед ним фигурой на коленях, как будто старающейся отыскать признак жизни в костяке. Через страничку является и достойное «pendant» к этой композиции. «Pendant» изображает большого беса, сидящего в тюрьме, за решеткой, и греющего ноги у огня. Нельзя не обратить внимание на господствующий мотив всех этих рисунков, постоянно вертящихся около представлений тюрьмы, казни, пыток и проч. Мотив не ослабевает, не изнашивается в течении целого года. Так в рисунке, принадлежащем уже к 1821 г., мы еще видим чертика, распростертого на железной решетке, под которую подложен огонь, усердно раздуваемый другим, приникшим к земле, чертиком. Сверху, как бы с неба, летит на помощь пациенту какая-то крылатая женщина, по фигуре принадлежащая к тому же семейству демонических личностей. Для того, чтобы подолгу останавливаться на производстве этого цикла фантастических изображений, надобно было находиться в особенном нравственном и патологическом состоянии.

Нет никакой возможности остановиться на мысли, что все эти рисунки следует отнести к пустым произведениям праздных минут Пушкина. При дальнейшем исследовании оказывается, что они были предтечами и так сказать живописной пробой серьезного литературного замысла — именно большой политической и общественной сатиры, которая и начинается в среде их, как в своем настоящем источнике. Действие ее должно было происходить тоже в аду, при дворе сатаны. Если судить по нескольким стихам, или, лучше, по некоторым обломкам стихов, вырванным нами из хаоса (и то с великим усилием) ее перемаранных строчек, поэма начиналась у Пушкина довольно торжественно. Нет сомнения, что следующие строчки отзываются чем-то торжественным:

«Во тьме кромешной...
Откуда изгнаны навек
Надежда, мир, любовь и сон,
Где море адское клокочет,
Где грешника внимая стон
Ужасный сатана хохочет...»

Тот же эпический тон сохраняется и в следующем отрывке, как нам кажется:

«Один (сатана) в своих чертогах он;
Свободней грудь его вздыхает,
Живее мрачное чело
Волненье сердца выражает:
Так моря зыбкое стекло...»

Приемы эти, однако же, скоро пропадают и уже в отрывках, добытых нами из второго приступа Пушкина к своей поэме, они сменяются иронией и шуткой, обнаруживая гораздо большую развязность кисти, чем прежде. Считаем нужным еще раз повторить, что стихи, которые мы приводим, никак не могут считаться стихами в настоящем смысле слова, и о том, что бы вышло из них у Пушкина, не дают ни малейшего понятия.

«Так вот детей земных изгнанье!
Какой порядок и молчанье!
Какой огромный сводов ряд!..
Но где же грешников варят?..
— Там, гораздо дале.
— Где мы теперь? — В парадной зале!»

Кто этот ответчик, мы не знаем. Разговор между посетителем ада и его руководителем, неизвестным Вергилием поэмы, продолжается еще далее, в том же тоне.

«Сегодня бал у сатаны,
... На именины все званы...
Смотри, как два бесенка
На кухню тащут поросенка...
А этот бес — как важен он!
Как чинно выметает вон
Опилки, серу, пыль и кости...
— Скажи мне, — скоро-ль будут гости?»

Мы приведем еще и третий отрывок, несмотря на бессвязность

его, в которой виноват опять наш, по необходимости, плохой разбор. В нем уже является и первый гость:

— Кто там?
— Привел я гостя. — Ах, Создатель,
Вот доктор Ф.[1], наш приятель! —
— Живой! — Он жив, да наш давно.
Сегодня-ль, завтра-ль, все равно!
— Об этом думают двояко;
Обычай требовал однако
Соизволенья моего...[2]».

Итак, вот все осколки какого-то литературного замысла. По отсутствию программы, на этот раз совершенно недостающей, сверх обыкновения, сатирической поэме Пушкина, всякие догадки о ее содержании, конечно, становятся невозможны, но, однако же, позволительно, думаем, сделать предположение, что в числе грешников, варящихся в аду, и в сонме гостей, созванных на праздник геенны, явились бы у Пушкина некоторые лица городского кишиневского общества и наиболее знаменитые политические имена тогдашней России, прием которых в подземном царстве соответствовал бы, разумеется, представлению автора о их бывшей или текущей земной деятельности. Мы уже знаем, что, по роду своего таланта, Пушкин не мог долго выдерживать, несмотря на все искусственные возбуждения духа, чисто сатирического настроения[3]. Вот почему сатанинская поэма, задуманная им, была брошена после нескольких приемов и уступила место другой не менее сатанинской, но более чувственной и страстной поэме. Эту поэму он и кончил, сообщив ей, между прочим, изумительную отделку. Поэма нажила ему много хлопот впоследствии, а что всего важнее, составила для него предмет неумолкаемых угрызений совести и вечного раскаяния — до конца жизни, как уже сказа-

---

[1] Не Фрикен ли? известный кишиневский врач того времени.

[2] Один отрывок, из того же плана поэмы, — смерть, обыгрывающая посетителя в карты, — приведен в «Сочинениях Пушкина» 1857 т. VII, лис. 88-й.

[3] Этому не противоречит и значительное количество эпиграмм, оставшихся у Пушкина от кишиневской жизни и написанных для потехи приятелей. Они не имеют ничего общего с сатирой, требующей другого настроения. Все они, сколько мы их ни видели, уже потеряли от времени свою соль и жало. Таковы эпиграммы на К—зи, на Федора Кру—го, прозванного Тадарашкой, на известную умницу Тарсис (кишиневская Жанлис), на страстную игрицу в банк m-me Богдан и т.д. К тому же роду принадлежат эпиграммы и послания к Аглае, обращения к женщине, потерявшей один глаз, и проч. Цинические эпистолы к еврейке, содержательнице одного постоялого дома, довершают этот ряд застольных экспромптов и произведений.

ли. В нее, в эту поэму именно и разрешилась наконец вся фантастическая «чертовщина», нами описанная, что свидетельствует, между прочим, и короткая программа поэмы, нашедшая себе достойное место в промежутках между упомянутыми рисунками. По циническому и кощунскому своему характеру, она не может и не заслуживает быть выписанной здесь.

Итак, с рокового 1821 г, начинается короткая полоса Пушкинского кощунства и крайнего отрицания, о которой принято у нас умалчивать, как будто это мимолетное и случайное настроение способно в глазах мыслящего человека изменить или отнять хоть одну черту из того светлого образа его симпатической личности, постоянно выражавшей чистейшие стремления человеческой души, который сложился в представлении публики и ничем потрясен быть не может. Опасения друзей и поклонников Пушкина за его образ, на основании того или другого факта из его жизни, по крайней мере, напрасны, и доказывают, что они еще не усвоили себе полного понимания типа, за который радеют...

Проследим далее всю эту историю заблуждений самого светлого ума эпохи, поучительную во многих отношениях и для наших современников.

В процессе усвоения Пушкиным псевдо-байронических приемов и навыков мысли, очень видную и влиятельную роль играет село Каменка, киевской губернии — поместье Давыдовых, которые по матери, в первом замужестве Раевской, приходились близкими родственниками как старому генералу Раевскому, ее сыну, так и двум приятелям Пушкина, Александру и Николаю Раевским, ее внукам. Зимой 1821 г., генерал Инзов отпустил Пушкина в Киев отпраздновать свадьбу генерала М.Ф. Орлова, который женился на одной из Раевских — Екатерине Николаевне, а оттуда Пушкин, в феврале того же года, проехал в Каменку, где, между прочим, окончил «Кавказского Пленника». Там-то он встретился с декабристом И.Д. Якушкиным, объезжавшим южный край с целью узнать мнения членов бывшего «Союза Благоденствия» и вообще либеральных людей местности об упразднении «Союза», произнесенном в Москве, и о взглядах их относительно тайных обществ вообще. Якушкин рассказывает в своих записках, что накануне его отъезда из Каменки там составлено было присутствующими нечто в роде формального совещания, где обсуждался вопрос о том: нужны или нет тайные общества в России; что Пушкин стоял за необходимость последних; что при закрытии совещания, достаточно обнаружившего мнения его уча-

стников, Пушкин, ожидавший немедленного посвящения себя в члены тайного общества, подошел к нему, Якушкину, с упреком и сказал: «Я никогда не был так несчастлив, как в эту минуту: я уже видел жизнь свою облагороженной, и все это оказалось злой шуткой». Все это правдоподобно, хотя и можно сомневаться относительно точных слов Пушкина при этом случае, которые, заключая в себе ту же мысль, могли быть и иные; но дело в том, что произнося их в минуту воодушевления, он также мало был заговорщиком и отчаянным радикалом, как мало был атеистом, создавая свои поэмы и эпиграммы в воспаленном состоянии ума.

Сама пресловутая «деревня Каменка» держала Пушкина под своим влиянием совсем не революционной пропагандой, которой у нее никогда и не было, несмотря на то, что, при образовании тайного общества на юге (1823 г.), в число его членов попали В.Л. Давыдов, князь С.Г. Волконский, А.В. Поджио, люди, связанные близким родством между собой и с хозяевами «деревни». Еще не определено доселе — насколько согласие участвовать в заговоре выходило у лиц, замешанных в нем, из твердого политического убеждения их, и насколько оно было делом случайности, уважения и доверчивости к вербовщику и даже просто фальшивого стыда перед смелым оратором. Ни тогда, не позднее Каменка не отличалась твердым служением какой-либо политической идее или ясным пониманием и преследованием какой-либо цели и задачи пропагандного свойства. Она подчиняла себе Пушкина совсем не общественной или революционной стороной своей деятельности, а тоном своих суждений о лицах и предметах, образом мышления, в ней господствовавшим, способом относиться к явлениям жизни и духовному миру человека, ею усвоенным. Ни перед кем так не хотелось Пушкину блеснуть либерализмом, свободой *от предрассудков*, смелостью выражения и суждения, как перед друзьями, оставленными в Каменке. Можно сказать, что пресловутая деревня постоянно носилась перед глазами его и служила как бы орудием, которое держало его на крайних вершинах русско-байронического настроения. Не подлежит сомнению, что оттуда же получил он и созерцание, подсказавшее известные его «Наставления» меньшому брату, Льву Сергеевичу, при выходе его в свет, писанные по-французски в самый разгар сношений наставника с Каменкой и помещенные частью в наших «Материалах» (1855, т. I, стр. 234), и полнее в «Библиографических Записках» 1859, № 1, и в монографии г. Бартенева. Приводим здесь несколько выдержек из «Наставления» в нашем переводе: «Тебе предстоят столкновения с

людьми, которых ты еще не знаешь. Прежде всего постарайся думать об этих людях как можно хуже: тебе не часто придется поправлять свое суждение... Презирай их, как можно вежливее: в этом заключается лучшее средство уберечься от ничтожных предрассудков и ничтожных страстишек, которые ждут тебя при появлении в свет... Не будь угодлив и подавляй в себе чувство доброжелательства, к которому можешь быть склонен. Люди не понимают его и расположены видеть в нем низость, так как всегда рады судить других по самим себе... Никогда не принимай благодеяний: по большей части благодеяние есть не что иное, как предательство... Относительно женщин — желаю тебе от души обладать той, которую ты полюбишь» и проч.

Некоторые из афоризмов, заключающихся тут, звучат совершенно одинаково, по нашему мнению, с афоризмами цинической записки, советовавшей ненавидеть человечество, которую уже знаем. Достаточно сблизить несколько цитат из обоих филантропических кодексов этих, для того, чтоб усмотреть их родство и внутреннюю связь. Если бы это мрачное воззрение на общество и на условия человеческого существования в среде его соединялось еще с отдалением от забав и искушений света можно бы было принять, по крайней мере, последовательность и достоинство строгой выдержки в исповедниках такого учения. Ничего подобного, однако же, у них не встречается, а наоборот, можно положительно утверждать, что они были рабами, в полном смысле слова, того самого света, который учили презирать и остерегаться. Они жаждали его одобрений, похвал, его удивления. Так и Пушкин много говорил и делал лишнего для вызова восторгов и рукоплесканий у толпы, а всего более у своих приятелей Каменки. Он вернулся от них в Кишинев накануне, можно сказать, бегства из города князей А. Ипсиланти и Кантакузена в Молдавию, поднятия ими знамени восстания и начала греческой революции. В руках кого-либо из тогдашних обитателей Каменки должно храниться послание Пушкина к одному из Давыдовых, из которого приводим здесь несколько стихов, по черновому списку:

«Меж тем, как генерал Орлов,
Обритый рекрут Гименея,
Под мерку подойти готов,
Священной страстью пламенея;
Меж тем, как ты, проказник умный,
За ужином с бутылками аи,
Проводишь ночь в беседе шумной
..... Раевские мои.

Когда везде весна младая
С улыбкой распустила грязь
И *с горя* на брегах Дуная
Бунтует наш безрукий князь[1] —
Тебя, Раевских и Орлова,
И память Каменки любя,
Хочу сказать тебе два слова
Про Кишинев и про себя...»

Строфа, следующая затем, посвящена известию с смерти митрополита, известию, которое, между прочим, с некоторыми подробностями о похоронах этого иерарха, находится и в печатных записках Пушкина, но тон печатной заметки, конечно, значительно разнится от тона послания, постоянно отличающегося характером развязной до неприличия шутки. В том же самом тоне следуют строфы и далее:

«Говеет Инзов и намедни
Я променял Вольтера бредни
И лиру, грешный дар судьбы,
На часослов и на обедни,
Да на сушеные грибы...»

И так далее, до последних пределов глумления. Окончание послания не представляет уже никакой возможности для разбора, пропадая в бесконечных поправках. Пушкин вспоминает тут, как Давыдов с братом своим («Аристиппом» других стихотворений поэта) надевали демократический халат и выпивали чашу до дна *за тех* и *за ту*, но *те*, прибавляет автор, в Неаполе шалят, а *та* едва ли воспрянет: народы тишины хотят, усталых к миру тянет и проч. Не трудно догадаться, что под *теми* Пушкин подразумевает итальянских карбонариев, а под *той* — революционную Францию, скованную реставрацией и даже воевавшую за укрепление династии Бурбонов в Испании.

Здесь, между прочим, впервые упоминается *о бунте А. Ипсиланти*. Весть о том, что долго и в тайне формировавшаяся этерия начала внезапно борьбу с Турцией у самых границ Бессарабии, поразила кишиневское общество изумлением. По прибытии Пушкина из Каменки, где, как мы видели, он довольно долго гостил, восстание этеристов было уже совершившимся фактом: 5-го марта 1821 г. уже начались резня и убийства в Яссах и Галаце. Пушкин едва успел собрать первые подробности о деле, как, с дозволения Инзова, уехал

[1] Князь Ипсиланти.

в Одессу (май, 1821), и уже оттуда извещал, по всем вероятиям, кого-либо также из каменских жителей, следующим письмом о начале греческой революции: «Уведомляю тебя о происшествиях, которые будут иметь последствия важные не только для нашего края, но и для всей Европы.

Греция восстала и провозгласила свою свободу. Теодор Владимиреско, служивший некогда в войсках покойного князя Ипсиланти, в начале февраля нынешнего года вышел из Бухареста с малым числом вооруженных арнаутов, и объявил, что греки не в силах более выносить притеснений и грабительств турецких начальников, что решились освободиться от незаконного ига, что...[1]. Сия прокламация взволновала всю Молдавию. Кн. Суццо и... консул хотели удержать распространение бунта. Пандуры и арнауты отовсюду бежали к смелому Владимиреско — и в несколько дней он уже начальствовал 7000 войска.

21-го февраля генерал князь Александр Ипсиланти, с двумя из своих братьев и с князем Геор. Кантакузен, прибыл в Яссы из Кишинева, где оставил он мать, сестер и двух братьев. Он был встречен тремястами арнаутов, и... и тотчас принял начальство города. Там издал он прокламации, которые быстро разошлись повсюду: в них сказано, что феникс Греции воспрянет из своего пепла, что час гибели для Турции настал и проч. *и что великая держава одобряет подвиг великодушный.* Греки стали стекаться толпами под его трое знамен, из которых одно трехцветное, на другом, развевается крест, обвитый лаврами, с текстом: «сим знаменем победиши»; на третьем изображен возрождающийся феникс. Я видел письмо одного инсургента. С жаром описывает он обряд освящения знамен и меча князя Ипсиланти, восторг духовенства и народа; прекрасные минуты надежды и свободы!

В Яссах все спокойно. Семеро турок были приведены к Ипсиланти и тотчас казнены, — странная новость со стороны европейского генерала! Турки, в числе 100 человек, были перерезаны, 30 греков убиты тоже. Известие о возмущении дошло до Константинополя. Ожидают уже... но еще их нет. Трое бежавших греков находятся со вчерашнего дня в здешнем карантине. Они уничтожили многие ложные слухи. Старец Али принял христианскую веру и окрещен именем Константина. 2-х-тысячный отряд его, который шел на соединение с сулиотами, уничтожен турецким войском. Восторг умов дошел

[1] Письмо в этом месте прожжено два раза насквозь.

до высочайшей степени: все мысли устремлены к одному предмету — на независимость древнего отечества. В Одессе я уже не застал любопытного зрелища: в лавках, на улицах, в трактирах — везде собирались толпы греков; все продавали за ничто свое имущество, покупали сабли, ружья, пистолеты; все говорили о Леониде, о Фемистокле, все шли в войско счастливца Ипсиланти. Жизнь, имения греков в его распоряжении! Вначале имел он два миллиона. Один Паули дал 600,000 пиастров, с тем, чтобы ему их возвратить *по восстановлении Греции!* 10,000 греков записалось в войско, Ипсиланти идет на соединение с Владимиреско. Он называется главнокомандующим северных греческих войск и уполномоченным тайного правительства. Должно знать, что уже 30 лет составилось и распространилось тайное общество, коего целью было освобождение Греции. Члены разделены были на три степени. Низшую степень составляла военная (т.е. состоявшая из военных людей), вторую граждане: члены их имели право каждый приискивать себе товарищей, но не воинов, которых избирала только 3-я, высшая степень. Ты видишь простой ход и главную мысль сего общества, которого основатели еще неизвестны. Отдельная вера, отдельный язык, независимость книгопечатания; с одной стороны просвещение, с другой глубокое невежество — все покровительствовало вольнолюбивым патриотам. Все купцы, все духовенство, до последнего монаха считались в обществе, которое ныне торжествует. Вот тебе подробное описание последних происшествий нашего края; кинем пророческий взор на будущее и постараемся разгадать судьбу Греции.

«Странная картина! Два народа, давно падших в презрительное ничтожество, в одно время восстают от долгого усыпления и возобновляются, являются на политическом поприще мира[1]. Первый шаг Ипсиланти прекрасен и блистателен! Он счастливо начал!! — 28 лет, оторванная рука, цель великодушная! отныне он принадлежит истории: завидная участь! Кинжал изменника опаснее для него сабли турков; Константин[2] не будет совестливее Клодовика и влияние молодого мстителя Греции может его встревожить. *Признаюсь, я бы посоветовал кн. Ипсиланти предупредить престарелого злодея*: нравы той страны, где он теперь действует, оправдывают политические убийства.

---

[1] Пушкин, вероятно, подразумевал во втором народе Италию и карбонарское движение ее.

[2] То есть Али-Паша, принявший христианство.

Важный вопрос: что станет делать Россия? Займем ли мы Молдавию и Валахию под видом миролюбивых посредников; перейдем ли мы за Дунай союзниками греков и врагами их врагов? Во всяком случае буду уведомлять».

Восторженный тон по поводу восстания, которым отличается письмо — приводимое тоже с чернового оригинала — не долго держался у Пушкина, как мы увидим скоро. Мысль о необходимости в иных случаях политических убийств доказывает, что Пушкин старался играть роль свободно-мыслящего человека перед друзьями чрезвычайно тщательно, но у него была еще переписка из Одессы с кишиневскими знакомыми и особенно знакомками, которая носит совсем другой характер. Она возвращает нас к описанию самого общества, где процветали его корреспонденты. Как элемент брожения, возмутивший физический и нравственный организм Пушкина, оно заслуживает стоять на первом месте в биографическом описании.

Кишиневское общество, как и всякое другое, искало удовольствий и развлечений, но благодаря своему составу из помеси греко-молдаванских национальностей, оно имело забавы и наклонности, ему одному принадлежащие. Многие из его фамилий сохраняли еще черты и предания турецкого обычая, что в соединении с национальными их пороками и с европейской испорченностью представляло такую смесь нравов, которая раздражала воображение и туманила рассудок, особенно у молодых людей, попадавших в эту атмосферу любовных интриг всякого рода. По внешности кишиневская жизнь ничем не отличалась от жизни губернских городов наших: те же рауты, балы, игрецкие дома, чопорные прогулки в известной части города по праздникам, беготня и поздравления начальников в торжественные дни и проч., но эта обстановка едва прикрывала своеобычные черты домашнего и нравственного быта жителей, не встречавшаяся нигде более, кроме этой местности. С первого раза бросалось в глаза повсеместное отсутствие в туземном обществе не только моральных правил, но и просто органа для их понимания. То, что повсюду принималось бы как извращение вкусов или как тайный порок, составляло здесь простую этнографическую черту до того общую, что о ней никто и не говорил, подразумевая ее без дальнейших околичностей. Правда, что в некоторых домах все крупные этнографические черты подобного рода стояли открыто на виду, а в других таились глубоко в недрах семей, но отыскать их там находились всегда охотники, заранее уверенные в успехе. Люди заезжие из

России употребляли на поиски этих редкостей много времени и не очень давно встречались еще старожилы, которые признавали свою кишиневскую жизнь самым веселым временем своего существования. Пушкин не отставал от других. Душная, но сладострастная атмосфера города, мало-эстетические, но своеобразные наклонности и привычки его обитателей действовали на него, как вызов. Он шел на встречу ему, как бы из «point d'honneur». Картина Кишинева, которую здесь представляем, оправдывается всеми свидетельствами современников, несмотря на многочисленные их умолчания и вообще смягчающий тон. Мы не преувеличиваем ее выражения, а скорее еще не уловили вполне характера распущенности, каким отличался город в самом деле. Это подтверждается и фактами.

«Воспоминания» И.П. Липранди, о которых уже упоминали, например, дают возможность, несмотря на свой сдержанный тон, бросить взгляд на внутренний быт этого общества, и содержат много любопытных откровений и разоблачений. Для представления обстановки Пушкина в Кишиневе не мешает ознакомиться с характером самих домов, где он любил проводить свое время. Так, у вице-губернатора М.Е. Крупянского процветала карточная игра, кончавшаяся обыкновенно ужином. Пушкин был усердный посетитель его вечеров, столько же привлекаемый игрой, сколько и встречами в его семействе с красавицей молдаванкой, Марией Егоровной, по мужу Эйхвельт, которая получила прозвание еврейки за воображаемое сходство с Ревеккой Вальтер-Скоттовского романа: «Айвенго» — (не должно смешивать ее с еврейкой цинических эпиграмм Пушкина). В другом доме Кишинева, именно у члена верховного совета Е.К. Варфоломея, Пушкин встречал опять красавицу, дочь хозяина, знаменитую Пульхерию Егоровну. Песенка, тогда же сложенная в ее честь и очень распространенная в городе, называет ее «Кишиневский наш божок». Здесь уже царствовали танцы под звуки домашнего оркестра из крепостных цыган, прерывавшего кадрили и мазурки более или менее дикими песнями своего народа. Обе героини, Эйхвельт и Варфоломей, имели еще по приятельнице, из которых каждая не уступала им самим ни в красоте, ни в жажде наслаждений, ни в способности к бойкому разговору. Между этими молодыми женщинами Пушкин и тогдашний его поверенный по всем делам кишиневской жизни, Н.С. Алексеев, к которому он скоро и переселился на житье из строгого дома ген. Инзова, и устроили перекрестную нить волокитства и любовных интриг. Все эти сведения нужны еще и для того, чтоб понимать намеки в некоторых стихотворениях

и в последующей переписке Пушкина, в которых он упоминает о еврейке, Пульхерии и проч., присоединяя к ним иногда (как в письме к Алексееву уже от 1830) имена Стамо, Худобашева. Стамо и Худобашев были чиновниками нашего правительства, служившими Пушкину мишенью для насмешек и подчас весьма нецеремонных шуток. Стамо он даже считал своим братом по Аполлону, так как тот занимался еще и поэзией.

Недаром отпрашивался Пушкин у добродушного Инзова и в Одессу так часто. Там у него были новые любовные связи, не уступавшие кишиневским, но никогда не заслонявшие их. Некоторые имена из числа этих последних он даже и популяризировал на Руси; как, например, имя пресловутой «Калипсо». Мы видели еще черновое письмо Пушкина из Одессы от этой эпохи к двум кишиневским дамам, фамилии которых неизвестны. В послании своем, Пушкин преимущественно обращается к той из них, которую называет уменьшительным именем Maïguine, aimable Maïguine и вот какой речью говорит с ней: «Hélas, aimable Maïguine, loin de vous mes facultés s'anéantissent; j'ai perdu jusqu'au talent des carricatures, quoique la famille du pr. M-i soit digne d'en inspirer... Mais est-il vrai que vous crûtes venir à Odessa. Venez au nom de Dieu. Nous aurons pour vous attirer bal, opéra italien, soirées, concerts, cicisbés soupirant — tout ce qu'il vous plaira. Je contreferai le singe et je voas dessinerai M-me de T... A propos de l'Aretin — je vous dirai, que je suis devenu chaste et vertueux — c'est à dire en parole, car ma conduite a toujours été telle» и т.д. Послание было бы просто непонятно, если бы мы не знали, что наглость обращения с людьми вообще входила в систему русского байронизма и что она вызывалась, кроме всего другого, еще и моральной бедностью самого общества, с которым поэт пришел в соприкосновение. Обыкновенно случалась беда для кого-нибудь, если при игре и самом ходе этих интриг встречался какой-нибудь непрошеный человек на пути, в роде неизвестного француза, по имени Дегильи, которого Пушкин письменно вызывал на дуэль, вероятно для отстранения его соперничества. Чтобы покончить с этим порядком фактов приводим ответ Пушкина, когда Дегильи устранился от дуэли. Ответ сообщен нам Н.С. Алексеевым.

Avis à M-r Deguilly, ex-oficier français.

Il ne suffit pas d'être un Jean......; il faut encore l'être franchement.

A la veille d'un... duel au sabre, on n'écrit pas sous les yeux de sa femme des jérémiades et son testament. On ne fabrique pas des contes à dormir debout avec les autorites de la ville, afin d'empêcher une

égratignure. On ne compromet pas deux fois son second. (Выноска Пушкина: Ni un général qui daigne recevoir un piedplat dans sa maison).

Tout ce qui est arrivé, je l'ai prevu, je suis faché de n'avoir pas parié.

Maintenant tout est fini, mais prenez garde à vous. Agréez l'assurance des sentiments que vous méritez.

Pouschkine.

6 Juin, 1821.

Notez encore que maintenant en cas de besoin je saurai faire agir mes droits de gentilhomme russe, puisque vous n'entendez rien au droit des armes.

Пушкин не считал тогда унизительным для себя действовать таким образом и говорить языком обоих приведенных документов.

За исключением двух-трех греческих и русских домов, державшихся в стороне от общества и поставленных на европейскую ногу, не с кем было и завязывать серьезных отношений: все остальное население города, высший класс его, не понимали даже особенного привилегированного положения, в которое поставлена была Бессарабия или понимали его очень узко и своекорыстно. Кишинев обладал еще в то время каким-то фальшивым подобием конституционной палаты, не оказывавшей никакого влияния на нравы, обычаи и политическое его развитие. После присоединения Бессарабии там учрежден был верховный совет из местных почетных лиц края, который, опираясь на особый статс-секретариат по делам области, существовавший в Петербурге, постоянно воевал с генерал-губернаторами, отстаивал боярские привилегии и мешал устройству каких-либо правомерных отношений между сословиями. Благодаря этому совету, управление краем было вообще слабо, а при добром Инзове его можно сказать и совсем не существовало. Обстоятельство это, вместо того, чтобы открыть простор для частной деятельности, хотя бы и в духе местного, провинциального патриотизма — открыло здесь только дорогу дружной оппозиции, когда надо было обличить и искоренить злоупотребления или помочь стране освободиться от того или другого вопиющего обычая. Позднее, когда управление краем (1823) вверено было графу М.С. Воронцову, он приступил к упразднению совета, и сделал это без особенных затруднений, так как учреждение не имело, корней в населении и ничему не служило, кроме собственных эгоистических и узких интересов.

Неудивительно поэтому, что интеллигенцию города составляли совсем не местные жители, а пришлое военное население, именно большинство офицеров 16-й дивизии, с прикомандированными к ней чинами генерального штаба и с общим их начальником генералом М.Ф. Орловым. Они-то образовали временное, но истинное передовое сословие города.

Эта 16-я дивизия, принадлежавшая к составу 2-й армии гр. Витгенштейна и к 6-му корпусу ее — испытала вскоре тяжкую участь: на нее упали первые удары правительства, обеспокоенного известиями о существовании военного заговора на юге. Правда, что дивизия и выдавалась назойливо из всех либеральным характером своего понимания служебных обязанностей. Мы не имеем ни желания, ни возможности определять степень виновности перед дисциплиной и военными законами главных деятелей ее. Может быть, известный майор В.Ф. Раевский, посаженный в крепость и сосланный затем по суду на поселение (1822 г.), и действительно проводил в ланкастерских школах взаимного обучения, которые он устраивал для солдат с согласия своего начальника, вредные тенденции, опасные для духа армии. Может быть также, что обвинения в непозволительном сближении начальников с нижними чинами и в поблажке подчиненным имели своего рода основания. Точно также любимая мысль либеральных начальников воздерживать дурных командиров от излишних строгостей и объяснять им настоящие приемы и условия службы,— могла быть производима неосторожным или мало обдуманным способом. Все это остается для нас делом недоступным для исследования, да и совершенно посторонним целям, какие имеем в виду. Позволительно только думать, основываясь на всем, что знаем об эпохе, что 16-я дивизия сделалась жертвой столько же своих ошибок, сколько и вражды направлений, существовавшей в самом составе управления армией, где представители суровых обычаев военной дисциплины сталкивались с представителями новых либеральных воззрений на способ служебного воспитания солдат. Политические необходимости, как говорится, выдвинули старую консервативную партию вперед из ее страдательного положения, а первый случай ничтожного нарушения дисциплины, нисколько не связанный с вопросами о началах военного управления, дал ей возможность отметить за прежнее пренебрежение к ней и показать свою силу. Вообще говоря, благодаря той борьбе направлений, которая распространена была повсеместно, и неизвестности, какое из них господствует в данную минуту, всякому развитому человеку эпохи и на всех поприщах

приходилось уже отдаваться реформаторским поползновениям на свой риск и страх. Никто порядочно не знал, находится ли он на настоящем правительственном пути или уже сошел с него и когда? Каждому предоставлялось самому угадывать, что именно должно полагать, в известную минуту, дозволенным и недозволенным; многие, конечно, и ошибались при этом, становясь преступниками вследствие только неправильной выкладки своего ума. Как бы то ни было, но когда буря разразилась над Кишиневом, то она унесла, кроме упомянутого майора В.Ф. Раевского, еще двух бригадных генералов, самого начальника дивизии и, что всего печальнее, ознаменовалась страшными кровавыми расправами с нижними чинами, вовлеченными в проступки по недоразумению, ошибочному пониманию приказаний, ограниченности.

Разоблачения всего этого дела в упомянутом уже «Дневнике» И.П. Липранди просто неоцененны по свету, который они бросают на всю внутреннюю историю 16-й дивизии. Кстати заимствуем еще один отрывок из этих «Записок». Когда В.Ф. Раевский уже заключен был в Тираспольскую крепость — Пушкин отказался от случая устроить с ним свидание, во избежание неприятных последствий, какие это дело могло иметь для самого узника, что еще раз показывает у Пушкина обычное его натуре соединение крайнего увлечения с трезвостью суждения, когда ему оставалось время подумать о своем решении. Взамен Раевский, бывший также и поэтом, успел прислать ему лирическое стихотворение «Певец в темнице» из своего заключения. Он нашел возможность, по замечанию Пушкина, говорить в этом стихотворении о *Новгороде,* Пскове, Марфе Посаднице, *Вадиме.* Пушкин хвалил стихотворение, особенно остановился на одном, либерально-риторическом четверостишии его, прибавляя, «как это хорошо, как это сильно! Мысль эта никогда не встречалась: *она давно вершилась в моей голове, но это не в моем роде: это в роде Тираспольской крепости, а хорошо*». Таков рассказ И.П. Липранди. Никто не подозревал тогда, что сам Пушкин втайне писал о Новгороде и о Вадиме и что недавно еще покинул их, признав в них, может быть, и тогда — *не свой род!* Мудрено, впрочем, было и не писать про них: они составляли тогда излюбленную тему светской либеральной эрудиции, а за ней и стихотворного декламаторства[1].

---

[1] В июньской книжке «Вестника Европы» за 1874, передан следующий рассказ самого В.Ф. Раевского, касающийся этого дела:

«1822 года, 5-то февраля, в 9 часов пополудни кто-то постучался у моих две-

Близко и скоро сошелся Пушкин со всеми, наиболее замечательными людьми этого военного круга, благодаря своим связям с домом М.Ф. Орлова, где очень часто бывал, и благодаря еще интересу, который находил в беседах кружка. Здесь-то он набирался сведений, встречаясь с очень умными и развитыми людьми и участвуя в жарких их прениях о разных предметах из области искусства, иностранной литературы и всеобщей истории, которые иногда раздражали его, давая более или менее заметным образом чувствовать недостаточную его подготовку к серьезным учено-литературным состязаниям. Он бросался тогда на книги, запирался у себя в дому и на время покидал волокитства и интриги. Между серьезными умами, составлявшими обычное общество М.Ф. Орлова, и генеральный штаб его дивизии, давши, между прочим, и русской литературе и русскому обществу несколько очень известных и почетных имен, частью также процветали фантастические представления исторических и политических вопросов; но фантазия была тогда вообще важной участницей в деле мышления, и очень немногие уберегали себя от этой примеси. Кстати будет упомянуть здесь об анекдоте, который довольно живописно рисует проникновение фантастического элемента во все слои общества и в такие звания, которые, по-видимому, с ним должны были бы считаться несовместимыми. В городе существовала масонская ложа, под названием «Овидиевой», которая состояла под непосредственным управлением бригадного генерала П.С. Пущина, который чуть ли не был и основателем ее. Новости никакой

рей. Арнаут, который стоял в безмолвии передо мною, вышел встретить или узнать кто пришел. Я курил трубку, лежа на диване.

— Здравствуй, душа моя! сказал Пушкин весьма торопливо и изменившимся голосом.

— Здравствуй, что нового?

— Новости есть, но дурные; вот почему я прибежал к тебе.

— Доброго я ничего ожидать не могу после бесчеловечных пыток С. (Эти слова относятся вероятно к следствию, которое производил С. над нижними чинами одной роты). Но что такое?

— Вот что, продолжал Пушкин: С. сейчас уехал от генерала (Инзова); дело шло о тебе. Я не охотник подслушивать, но слыша твое имя, часто повторяемое, признаюсь, согрешил — приложил ухо. С. утверждал, что тебя надо непременно арестовать; наш Инзушка — ты знаешь, как он тебя любит — отстаивал тебя горячо. Долго еще продолжался разговор; я многого не дослышал; но из последних слов С—ва ясно уразумел, что ему приказано: ничего нельзя открыть, пока ты не арестован.

— Спасибо, сказал я Пушкину; я этого почти ожидал; но арестовать штаб-офицера по одним подозрениям отзывается турецкою расправой; впрочем, что будет, то будет. Пойдем к Липранди, — только ни слова о моем деле».

она не представляла: масонские ложи плодились, и одна тайная масонская ложа «Для офицеров» вскоре образовалась и в Петербурге, но «Овидиева» существовала почти открыто. Конечно, только убеждение в возможности найти сочувствие к своему учреждению между людьми даже высшей администрации, — поддерживало генерала при осуществлении его мысли, и, конечно, также ему никогда в голову не приходило, что в нужную минуту, пожалуй, ожидаемое сочувствие может и не оказаться на лицо[1]. Весьма забавен факт, рассказываемый про нее тоже Липранди. На одно из заседаний этой ложи, которое приходилось в день Пасхи и имело место в подвале какого-то каменного дома, явился *Болгарский архимандрит,* пожелавший сделаться братом-каменщиком. Следуя обычному церемониалу приема новых членов, он спустился в подвал с завязанными глазами, ведомый под руки, но болгары, его соотечественники, собравшиеся у решетки дома, полагая, что духовный пастырь их попал в западню и подвергается опасности, бросились за ним и торжественно вывели спасенного на Божий свет, прося и принимая от него благословения. Мы знаем, что случай этот чрезвычайно забавлял Пушкина. Он не преминул поместить его в своих тетрадях особой картинкой, которая заслуживает внимания. Под сводами какого-то массивного строения, которое должно принять за паперть церкви, перед большим образом с зажженной лампадой, стоят 7 лиц по порядку один за другим, представляя из себя самое странное и дикое смешение национальностей и характеров: именно тут собраны греческий монах, молдаванский боярин, бессарабский мужик, католический поп, якобинец в фригийской шапке и с палкой в руке и проч. Внизу красуется подпись: «12 апреля, День Светлого Воскресения, 1821 г.» Картинка, по всем вероятиям, очень близко передавала состав ложи, но она также может служить и эмблемой того смешения национальностей,

---

[1] К, нему-то, несколько позднее и уже в эпоху *Греко-Турецкой брани,* Пушкин обращался с экспромтом, не лишенным, впрочем, своего рода иронического оттенка, как можно судить по последним его стихам:

«И скоро, скоро смолкнет брань
Средь рабского народа —
Ты молоток возьмешь во длань
И воззовешь — свобода!
Хвалю тебя, о верный брат,
О каменщик почтенный!
О Кишинев, о темный град!
Ликуй — им просвещенный»!

которое воцарилось в городе, когда разыгрался последний акт революционной драмы в Молдавии и Валахии в том же 1821 г.

После того, как мелкий, неспособный и кровожадный А. Ипсиланти был наголову разбит турками в Валахии и дело этеристов окончательно погибло в Дунайских княжествах, возникнув с новыми людьми, силами и с большей патриотической энергией на юге Балканского полуострова, Кишинев представил редкое зрелище. Он получил свою долю инсургентов, разбежавшихся в разные стороны, кто куда мог. Кроме немногих образованных греческих фамилий, искавших в нем приюта от внезапной политической бури, их застигшей, Кишинев увидал в стенах своих еще толпы фанариотов, молдаван и бродяг, которые принесли с собой, вместе с навыком к интригам, коварному раболепству и лицемерию, еще свежие предания своих полу-разбойничьих лагерей. Тогда-то Пушкин впервые познакомился с недавними бойцами румынского восстания, людьми, которые почти и не сознавали разницы между борьбой за дело освобождения родины и подлым грабежом, насилием и убийством. Отзыв Пушкина об этих воинах «освобождения» увидим сейчас. Наглость в обращении была уже почти тут необходима, просто для того, чтобы держать всю эту негодную эмиграцию перед собой в должных границах. К сожалению, навык к презрительному своеволию обращения, полученный Пушкиным прежде и усиленный этой толпой, укоренился в нем на довольно долгое время. Большая часть молдаванских бояр, с которыми он ссорился и за ссоры с которыми Инзов объявлял ему домашние аресты, не принадлежала прямо к эмиграции, выброшенной греческой революцией в Кишинев. Еще менее принадлежали к ней наши русские заезжие по службе и по делам соотечественники, тоже не избавившиеся от его придирок, вспышек и вызовов. Пушкин уже нажил в среде кишиневского туземного и пришлого населения наклонность к самоуправству и властолюбивым притязаниям. Так со всех сторон — со стороны друзей, рукоплескавших его лихим, наиболее эксцентрическим проделкам, со стороны женщин, им встреченных, и тем более покорявшихся ему, чем решительнее были его слова и поступки, со стороны общества, не обладавшего никаким моральным содержанием для того, чтобы сдерживать его порывы и робко пропускавшим мимо себя молодого человека, которому вздумалось его оскорблять и попирать — все клонилось к тому, чтобы помочь Пушкину в деле искажения его природной, нравственной физиономии, в чем он и успел на целых два года.

В ином месте («Материалы для биографии Пушкина 1855 г.)

мы сказали, что Пушкин вел «журнал» греческого восстания — и к этим словам ничего более присоединить не можем и теперь. Из трех отрывков, оставшихся от этого труда, очень обезображенных временем, нельзя вывести никакого заключения, кроме того, что Пушкин весьма интересовался сначала молдавской революцией. Приводим их в примечании, без перевода французского их текста[1]. Гораздо понятнее и в смысле пояснения видоизменений мысли Пушкина, гораздо важнее его суждения о деятелях и орудиях греческого восста-

---

[1] I.

Notice sur la revolution d'Ipsylanti

Le Hospodar Ipsylanti trahi la cause de l'Ethérie et fut cause de la mort de Riga et... Sons fils Alexandre fut Ethériste (probablement du choix de Capo-d'Istria et de l'aveu de l'Empereur). Ses frères, Кан, Контогони, Софианос, Тапо. Michel Suzzo fut reçu Ethériste en 1820; Alexandre Suzzo, Hosp. de Valac. Apprit le secret de l' Ethérie par son secrétaire (Valetto), qui se laissa pénétrer ou gagner en devenant son gendre. Alex. Ips. en janvier 1821 envoya un certain Aristide en *Servie* avec un traité d'aillance offensive et deffensive entre cette province et lui, général des armées de la Gréce. Aristide fut saisi par Alex. Suzzo, ses papiers et sa tête furent envoyés à Constantinople — cela fit que les plans furent changé tout de suite, Michel Suzzo ecrivit à Kichineff. On empoisona Alex. Suzzo et Ipsylanti passa à la tête de quelques Arnautes et proclama la révolution.

II.

Les *capitans* sont des indépendants, corsaires, brigands ou employés Turcs revetus d'un certain pouvoir. Tels furent Lampro etc. et en dernier lieu Formaki, Iordaki-Olimbiotti, Колокотрони, Контогани, Anastas etc. Iordaki-Olimbiotti fut dans l'armée d'Ipsyl. Ils se retirèrent ensemble vers la frontière de la Hongrie. Alex. Ipsylanti menacé d'assasinat s'enfuit d'après son avis et fulmina sa proclamation. Iordaki à la tête de 800 h. combattit 5 fois l'armée Turcs, s'enferma enfin dans le monastère (de Scovlian). Trahi par les juifs, entouré des Turcs il mit le feu à la poudre et sauta.

Formaki, capitan, Etheriste, fut envoyé de la Morée à Ipsyl., se battit en brave et se rendit à cette dernière affaire. Decapité à Constantinople.

III.

Notice sur Penda-Deka.

Penda-Déka fut élévé à Moscou; en 1817 il servit à un évêque grec refugié... et fut remarqué de l»Empereur et de Capo-d'Istria. Lors du massacre de Galatz il s'y trouva. 200 Grecs assassinèrent 150 Turcs. 60 de ces derniers furent brulés dans une maison où ils s'étaient refugiés. P.D. vint quelque jours après à Ibraïl comme espion. Il se presenta chez la Pacha et fuma avec lui comme sujet Russe. Il rejoignit Ipsylanti à Tergovitsch; celui-ci l»envoya calmer les troubles de Jassy — il y trouva les Grecs vexés par les Boyards; sa présence d'esprit et sa fermeté les sauvèrent. Il prit de munitions pour 1500 hommes tandis qu'il n'en avait que 300. Pendant 2 mois il fut prince de Moldavie. Кантакузен arriva et prit le commandement. On se retira vers Stinka. Кантакузен envoya P.D. reconnaitre les ennemis. L'avis de P.D. fût de se fortifier à Barda (1-re station vers Jassy). K. se retira à Skovlian et demanda que P.D. fit son entrée dans la guarantaine. Panda-Déka accepta. P.D. nomma son second Papas-Ouglon-Arnaute.

ния, с которыми так близко познакомился в Кишиневе и в своих частых посещениях Одессы. Пушкин является здесь в качестве трезвого судьи виденного и испытанного, и в этой новой роли своей чрезвычайно хорошо обрисовывается следующим отрывком, писанным по-французски из Одессы уже в 1823 г., когда пыл байронического настроения начинал улегаться в его душе и место его заступало прямое наблюдение жизни. Отрывок составлял часть чернового пространного письма к какому-то дальнему приятелю о греческом движении в княжествах и его героях, которых Пушкин так хорошо узнал. Мы приводим его в буквальном переводе, не желая обременять читателя долее чужестранной речью, к которой должны были даже несколько раз прибегать по необходимости: «Константинопольские нищие, карманные воришки (coupeurs de bourses), бродяги без смелости, которые не могли выдержать первого огня даже плохих турецких стрелков — вот что они. Они составили бы забавный отряд в армии графа Витгенштейна. Что касается до офицеров, то они еще хуже солдат. Мы видели этих новых Леонидов на улицах Одессы и Кишинева, со многими из них были лично знакомы, и свидетельствуем теперь о их полном ничтожестве: ни малейшей идеи о военном искусстве, никакого понятия о чести, никакого энтузиазма. Они отыскали средство быть пошлыми в то самое время, когда рассказы их должны были бы интересовать каждого европейца. Французы и русские, которые здесь живут, не скрывают презрения к ним, вполне ими заслуженного; да они все и переносят, даже палочные удары с хладнокровием, поистине достойным Фемистокла. Я не варвар и не апостол Корана, дело Греции меня живо трогает: вот почему я и негодую, видя, что на долю этих несчастных (misérables) выпала священная обязанность быть защитниками свободы».

В таком виде представляет нам Пушкин сподвижников Ипсиланти и Кантакузена после двух лет своего знакомства с ними. Гре-

---

Il n'y a pas de doute que le prince Ipsyl. eut pu prendre Ibraïl et Jourja. Les Turcs fuyaient de toutes parts croyant voir les Russes à leur trousse. A Boncharest les députés Bulgares (entre autre Capidgi...) proposèrent à Ips. d'insurger tout leurs pays — il n'osa!

Le massacre de Galatz fut ordonné par A. Ipsyl. en cas que les Turcs ne voulussent par rendre les armes.

Читатель вспомнит, что об одном из этих капитанов, Кирджали, Пушкин составил впоследствии рассказ, вероятно тоже на основании теперь не существующих своих записок о греческом восстании.

ческое восстание в княжествах, воспламенившее всю Европу, встречало в нем теперь, благодаря образцам его деятелей, выброшенным в Кишинев и Одессу, докладчика очень строгого. Это уже было далеко от того, сравнительно недавнего, времени, когда он искренно увлекался их попыткой, как видели из первого его письма о революции, и пророчил им громадный успех, как видно в его «Записках» (см. печатные «Записки» Пушкина в его сочинениях). По весьма понятному недоразумению, мнение его о греках Валахии и Молдавии, поднявших знамя восстания, истолковано было петербургскими и прочими друзьями его, как превратное мнение о деле греков вообще, к которому он не оставался и не мог остаться равнодушным, особенно когда оно получило тот героический характер, который проявился уже на другом конце оттоманской империи. Пушкин был раздосадован недоразумением. Свидетельством тому служит опять сохранившийся отрывок из чернового письма, изготовленного Пушкиным и посланного к кому-то в Петербург с видимой целью поправить неблагоприятное впечатление, произведенное тем ложным известием о его отдалении от партии доброжелателей греческого дела. Выдержка, прилагаемая нами, уже принадлежат к эпохе окончательного переселения Пушкина из Кишинева в Одессу (1823 – 24 г.). Несмотря на темноту недописанных фраз ее, она достаточно ясно показывает, что Пушкин старался всемерно защитить себя от упрека в нерасположении к делу греков, которое могло бы бросить тень на его либерализм и на великодушие его чувства вообще: «С удивлением услышал я, что ты почитаешь меня врагом освобождающейся Греции и поборником турецкого рабства. Видно слова мои были тебе странно перетолкованы; но чтобы тебе ни говорили, ты не должен был верить, чтобы когда-нибудь сердце мое не доброжелательствовало благородным усилиям возрождающегося народа. Жалею, что принужден оправдываться перед тобою и повторю здесь то, что случалось мне говорить касательно греков». (NB. В этом месте Пушкин оставил значительный пробел, который, вероятно, пополнил при окончательной редакции соображениями и фактами, в роде приведенных выше; затем он продолжает:) «Люди, по большей части, самолюбивы, легкомысленны; старые – невежественны, упрямы: истина, которую все-таки не худо повторять. Они не терпят противоречия, никогда не прощают неуважения. Они легко увлекаются пышными словами, охотно повторяют всякую новость, и однажды к ней привыкнув – не могут с ней расстаться.

Когда что-нибудь делается общим мнением, то глупость общая вредит ему столько же, сколько и единодушие.

Греки между европейцами имеют гораздо более вредных поборников, нежели благоразумных друзей. Ничто еще не было столь народно, как дело греков, хотя многое в политическом отношении было важнее для Европы» .... На этом и кончается отрывок.

Хотя письмо имеет видимую цель оправдаться перед друзьями от незаслуженного подозрения в перемене своих убеждений, но некоторая сдержанность суждения, открывающаяся даже и в этих фразах, признаки *резонерства* и *оговорки,* в них чувствуемые, показывают, что Пушкин уже не состоял в числе слепых энтузиастов восстания. Происходило это, по нашему мнению, совсем не от претензии на политическую дальновидность, которая была бы чем-то необычайным в это время. Дело объясняется проще: Пушкин следовал только внушениям наших ультра-либеральных кружков, которые боялись, что турецко-греческая распря отвлечет внимание европейских народов от собственных их дел и что европейские правительства, пользуясь благоприятным случаем, направят мысль и одушевление народных масс в такую сторону, где массы эти становятся бесплодными для самих себя. Греция осуждена была также точно на упреки современного радикализма, как и консервативных дипломатов «Священного Союза», очень косо посматривавших, со своей точки зрения, на ее дело.

Перечислив все элементы, участвовавшие в образовании одного из самых мятежных периодов в жизни Пушкина, мы уже можем перейти к общим выводам относительно психического состояния нашего поэта за все время его течения. С самого его начала Пушкин становится подвержен частым вспышкам неудержимого гнева, которые находили на него по поводу ничтожнейших случаев жизни, но особенно при малейшем подозрении, что на пути к осуществлению какой-либо, более или менее рискованной, затеи встречается посторонний, мешающий человек. Самолюбие его делается болезненно-чутким и раздражительным. Он достигает такого неумеренного представления о правах своей личности, о свободе, которая ей принадлежит, о чести, которую она обязана сохранять, что окружающие, далее при самом добром желании, не всегда могут приноровиться к этому кодексу. Столкновения с людьми умножаются. Чем труднее оказывается провести через все случаи жизни своевольную программу поведения, им же самим и придуманную для себя, тем требовательнее еще становится ее автор. Подозрительность его растет: он видит

преступления против себя, против своих неотъемлемых прав в каждом сопротивлении, даже в обороне от его нападок и оскорбительных притязаний. В такие минуты он уже не выбирает слов, не взвешивает поступков, не думает о последствиях. Дуэли его в Кишиневе приобрели всеобщую известность и удостоились чести быть перечислены в нашей печати; но сколько еще ссор, грубых расправ, рискованных предприятий, оставшихся без последствий и не сохраненных воспоминаниями современников! Пушкин в это время беспрестанно ставил на карту не только жизнь, но и гражданское свое положение: по счастью, карты — до поры до времени — падали на его сторону, но всегда ли будут они так удачно падать для него — составляло еще вопрос.

Сам Пушкин дивился подчас этому упорному благорасположению судьбы и давал зарок друзьям обходиться с нею осторожнее и не посылать ей беспрестанные вызовы; но это уже было вне его власти. Ко всем другим побуждениям нарушать обет присоединилась у него еще одна нравственная особенность. Он не мог удержаться именно от соблазна идти на встречу опасности, как только она представлялась, хотя бы в ней не были замешаны его честь и личное достоинство, хотя бы она даже не обещала ни славы, ни удовлетворения какому-либо нравственному чувству. Ему нужно было только дать исход природной удали и отваге, которые, по справедливому замечанию И.П. Липранди, так преобладали у него, что давали ему вид военного человека, не отгадавшего своего настоящего призвания. Он даже не мог слушать рассказа о каком-либо подвиге мужества без того, чтобы не разгорелись его глаза и не выступила краска на лице, а перед всяким делом, где нужен был риск, он становился тотчас же спокоен, весел, прост. К сожалению, можно предполагать, что в описываемый нами период Пушкин пришел к заключению, что человек, готовый платить за каждый свой поступок такой ценной наличной монетой, какова жизнь, имеет право распоряжаться и жизнью других по своему усмотрению. Таким представляется нам в окончательном своем виде русский байронизм, — эта замечательная черта эпохи, — развитый в Пушкине стечением возбуждающих и потворствующих обстоятельств и усиленный еще молодостью и той горячей полу-африканской кровью, которая текла в его жилах.

И что же? Были минуты, и притом минуты, возвращавшиеся очень часто, когда весь байронизм Пушкина исчезал без остатка, как облако, разнесенное ветром по небу. Случалось это всякий раз, как он становился лицом к лицу к небольшому кругу друзей и хороших

знакомых. Они имели постоянное счастье видеть простого Пушкина без всяких примесей, с чарующей лаской слова и обращения, с неудержимой веселостью, с честным и добродушным оттенком в каждой мысли. Чем он был тогда — хорошо обнаруживается и из множества глубоких, неизгладимых привязанностей, какие он оставил после себя. Замечательно при этом, что он всего свободнее раскрывал свою душу и сердце перед добрыми, простыми, честными людьми, которые не мудрствовали с ним о важных вопросах, не занимались устройством его образа мыслей и ничего от него не требовали, ничего не предлагали в обмен или прибавку к дружелюбному своему знакомству. Сверх того, в Пушкине беспрестанно сказывалась еще другая замечательная черта характера: он никак не мог пропустить мимо себя без внимания человека со скромным, но дельным трудом, забывая при этом все требования своего псевдо-байронического кодекса, учившего презирать людей, без послаблений и исключений. Всякое сближение с человеком серьезного характера, выбравшим себе род деятельности и честно проходящим его, имело силу уничтожать в Пушкине до корня все байронические замашки и превращать его опять в настоящего, неподдельного Пушкина. Он становился тогда способным понимать стремления и заветные надежды лица, как еще они ни были далеки от его собственных идеалов, и при случае давать советы, о которых люди, их получившие, вспоминали потом долго и не без признательности. Таким образом, душевная прямота, внутренняя честность и дельное занятие, встречаемые им на своем пути, уже имели силу отрезвлять его от наваждений страсти; но была и еще сила, которая делала то же самое, но еще с большей энергией — именно поэзия.

Трудно себе и представить, каким орудием нравственного спасения было для Пушкина — чистое творчество, обнаруживая тайну его гения и указывая ему самому настоящие качества его ума и сердца. Пушкин перерождался нравственно, когда приступал к созданию произведений, назначавшихся им для всего читающего русского мира. Дух его как-то внезапно светлел и устраивался по-праздничному, возвышаясь над всем, что его сдерживало, томило и угнетало. Самые подробности жизни, тяготевшие над его умом, разрешались в тонкие поэтические намеки и черты, сообщавшие произведению, так сказать, запах и окраску действительности. Он должен был сам любоваться тем нравственным типом, который вырезывался из его собственных произведений, и мы знаем, что задачей его жизни было походить на идеального Пушкина, создаваемого его гением.

Но эти два Пушкина не всегда составляли одно и то же лицо, особенно в кишиневский период, и это еще раз заставляет нас упомянуть о промахе биографов, подменивающих настоящую реальную жизнь поэта лучезарными абрисами, какими она светится в его сочинениях. Последние всегда содержат указание только на то, чем она *могла бы* быть, по мысли поэта, а что она была в действительности, — насколько приближалась и отходила от его идеала, уже должен рассказать исследователь. Если бы судить о Пушкине по изящным, чистым произведениям лирического характера, выданных им с 1821 по 1823 г., то никому бы не пришло в голову, что они написаны в самую бурную эпоху его жизни, в период пыла и порывов, «Sturm und Drang», какой немногие изживали на веку своем. Но и тогда уже чистое творчество, которым они были навеяны, служило звездой, освещавшей ему выход из жизненной смуты, и живительным источником, возобновлявшим его душевные силы; в нем он давал спасительные уроки самому себе, в нем он обретал и создавал для себя созерцание жизни, далеко превосходившее то, которым отличался в свете. Чистое творчество хранило и берегло лучшую часть его нравственной природы, не позволяло ей загрубеть, составляло прикрытие его души, мешавшее ржавчине порока и страстей проникнуть до нее и разложить ее. Ему — чистому творчеству, обязан он был благороднейшими ощущениями и изящнейшими помыслами, которые одним своим появлением упраздняют, если не навсегда, то, по крайней мере, на все время беседы человека с самим собой — чудовищные софизмы, животные наклонности и дикие побуждения непосредственного чувства. Когда задачи чистого творчества стали разрастаться и умножаться перед глазами Пушкина, когда он все чаще и чаще начал относиться к жизни, как художник — «демонический» период его существования кончился. Это произошло именно с половины 1823 года.

Возрождение Пушкина совпадает и с другим важным событием. В том же 1823 г. совершился перелом в администрации Новороссийского края, которая перешла из рук Инзова в другие руки, указавшие совсем иные условия для деятельности всех призванных к устроению гражданского и политического существования страны. Наместником края назначен был граф М.С. Воронцов, который, сосредоточив все управление в выбранной им резиденции — Одессе, составил еще для своего управления общие неизменные правила, отстранявшие так же точно неряшливость и беспечность подчиненных, как и своевольные предначертания второстепенных агентов.

Усилив таким способом правительственный элемент, разбив и мало-помалу уничтожив окончательно все частные стремления, добивавшиеся власти и влияния в стране, он направил могущественные административные средства, ему предоставленные, на возвышение и устройство края, по собственной своей мысли. Замечательные государственные способности графа Воронцова и услуги, оказанные его управлением Новороссийскому краю, остались в памяти его современников и оценены по достоинству ближайшим потомством. Пушкин, с позволения Инзова, находился опять в Одессе (май, 1823) и вероятно так же, как и в первые разы, по любовным своим делам, когда пришло известие о назначении нового начальника. Тогда возникла у него впервые мысль перейти к нему на службу, которую он и не замедлил привести в исполнение. По просьбе Пушкина, он зачислен был в штат наместника, возвратился в Кишинев, чтобы окончательно распроститься с ним, и в июле 1823 г. поселился в Одессе. Пушкин ожидал очень многого от этой перемены местожительства и служения, но что вышло из этого на деле — увидим далее.

VI.

НА ЮГЕ РОССИИ.

1823 — 1824.

Пушкин в Одессе. — Романтизм. — Усиленные занятия. — Столкновения с обществом. — Моральные страданья Пушкина. — Неожиданная высылка в деревню и отъезд его.

Пушкин, кажется, сначала и не понял значения переворота, который свершился, как в жизни края, так и в его собственной жизни, с переменой администрации. Ему просто думалось, что он развязывается с надоевшим ему и начинавшим уже пустеть Кишиневом. М.Ф. Орлов с большей частью окружавшего его общества покинул Кишинев, так как он был призван в Тульчин для Высочайшего смотра 2-й армии (сентябрь 1823), после которого, убедясь в не благоволении к нему Государя Императора, и вышел в отставку, как известно. Промен Кишинева на Одессу казался очень выгодным Пушкину. Он сам описал привлекательную сторону тогдашней Одессы. И действительно, шумный приморский город с итальянской оперой, с богатым и образованным купечеством, с новинками и вестями из Европы, русскими и иностранными путешественниками, наконец с молодыми, способными чиновниками, прибывшими в край, по выбору его главного начальника — все эго сулило Пушкину много новых развлечений, занятий и связей, каких Кишинев, потерявший, между прочим, и значение административного центра, уже не мог дать. Будущее представлялось в довольно светлом виде и обещало, в виду всех этих

элементов и условий европейского общежития, возможность более широкого обмена мыслей, — а этим Пушкин всегда очень дорожил.

Преимущества Одессы имели, однако же, и свою оборотную, уравновешивающую сторону.

Очень скоро обнаружилось, во-первых, для Пушкина, что здесь уже не могло быть и помина о той свободе, простоте и даже фамильярности отношений к управлению, какая существовала в Кишиневе. Новый начальник с блестящей свитой чиновников и адъютантов, в числе которых был и Александр Н. Раевский, с первого раза поставил себя центром окружавшего его мира и самой страны. Образ его сношений с подчиненными одинаково удалял, как поползновения их к служебной низости, так и претензию на короткость с ним. Край впервые увидал власть со всеми атрибутами блеска, могущества, спокойствия и стойкости. Прежде всего требовалась теперь *«порядочность»* в образе мыслей, наружное приличие в формах жизни и преданность к службе, олицетворяемой главой управления. Многие весьма далеко уходили, усвоив себе одним внешним образом эти качества. Нельзя сказать, чтобы тот, сравнительно небольшой, круг талантливых людей, которые не могли или не желали устроить свою внутреннюю жизнь по данному образцу, испытывали какого-либо рода притеснения: государственный ум начальника края употреблял их так же, как и других в дело, спокойно ожидая их обращения. Нет сомнения, что и Пушкину предоставлена была бы свобода не признавать обязательности для себя никакой программы существования и поведения, если бы при этом он скромно и тихо пользовался своей льготой; но мало дисциплинированная натура поэта беспрестанно побуждала его к выходкам и поступкам, явно враждебным самой системе управления. Понятно, что не имея возможности выработать из себя «дельного» человека во вкусе эпохи, а вместе с тем и не поддаваясь ни на какую мировую сделку, ни на какое соглашение беречь про себя свое представление людей и порядков, Пушкин уже не имел особенно верных залогов успеха в новом обществе, куда попал по собственному избранию.

Другое отличие Одессы состояло в том, что узлы всех событий распутывались здесь уже гораздо труднее, чем в Кишиневе. Там легко и скоро сходили с рук Пушкину и такие проделки, которые могли разрешиться в настоящую жизненную беду; здесь он мог вызвать ее и ничего не делая, а оставаясь только Пушкиным. Тысячи глаз следили за его словами и поступками из одного побуждения — наблюдать явление, не подходящее к общему строю жизни. Соб-

ственно врагов у него совсем не было на новом месте служения, а были только хладнокровные счетчики и податели всех проявлений его ума и юмора, употреблявшие собранный им материал для презрительных толков втихомолку. Пушкин просто терялся в этом мире приличия, вежливого, дружелюбного коварства и холодного презрения ко всем вспышкам, даже и подсказанным благородным движением сердца. Он только чувствовал, что живет в среде общества, усвоившего себе молчаливое отвращение ко всякого рода самостоятельности и оригинальности. Вот почему Пушкин осужден был волноваться, так сказать, в пустоте и мстить невидимым своим преследователям только тем, что оставался на прежнем своем пути. Он скоро прослыл потерянным человеком между «благоразумными» людьми эпохи, и это в то самое время, когда внутренний мир его постепенно преобразовывался, место неистовых возбуждений заняло строгое воспитание своей мысли, а умственный горизонт, как сейчас увидим, значительно расширился. Опасность его положения в Одессе не скрылась от глаз некоторых его друзей, как например, от Н.С. Алексеева. Пушкин был гораздо ближе к политической катастрофе, становясь серьезнее, чем в период своих увлечений. Эта ирония жизни или истории не новость на Руси.

Единодушные свидетельства всех друзей и знакомых Пушкина не оставляют никакого сомнения в том, что с первых же месяцев пребывания в Одессе существование поэта ознаменовывается глухой, внутренней тревогой, мрачным, сосредоточенным в ней негодованием, которые могли разрешиться очень печально. На первых порах он спасался от них, уходя в свой рабочий кабинет и запираясь в нем на целые недели и месяцы. Мы и последуем туда за ним, так как кабинетный труд его один и остался в виду потомства, а все прочее давно унесено временем и позабыто.

Прежде всего следует заметить, что важную долю кабинетной деятельности Пушкина составляла его переписка, с братом и друзьями (Бестужевым, Рылеевым, Дельвигом, кн. Вяземским), преимущественно посвященная литературным вопросам и особенно развившаяся с 1823 г. Биографическое значение этой переписки очень велико: поэт является в ней со всеми качествами своего гибкого, замечательно-проницательного, подвижного ума. Общий характер ее может быть сведен на одну черту: вся она есть ни более, ни менее как томление по здравой, дельной критике и попытка отыскать теперь же ее настоящие задачи и затронуть предметы, которыми она должна будет заниматься. *Начать критику* в нашей литературе

сделалось для Пушкина любимой, заветною мыслью. Постоянные вызовы на полемический спор, какие он стал посылать теперь друзьям, сначала много удивляли их, так как они привыкли считать его человеком, только бессознательного, непосредственного творчества, не призванным к роли литературного судьи. Они довольно долго относили критическая замашки Пушкина к капризу поэта, вздумавшего попробовать себя на новом и несвойственном ему поприще, что видно и из небрежных, часто иронических ответов на его письма, какие он получал от Рылеева, Бестужева, кн. Вяземского. В одном они отдавали ему справедливость — именно в способности чувствовать всякую литературную фальшь и усматривать промахи в логике, языке и создании у современных писателей. Между тем, можно сказать без опасения впасть в преувеличение и панегирик, что по предчувствию истины и по предчувствию нравственной сущности предметов — он стоял выше, как критик, не только заурядных журнальных рецензентов своего времени, но и таких корифеев литературной критики, как А. Бестужев, кн. Вяземский и др. Он, например, никак не мог примириться с заносчивой фразой первого, со своеволием его основных положений, но также точно не уживался и с благовоспитанным поклонением перед старыми избранными авторитетами, каким отличался второй, старавшийся скрыть снисходительность своих оценок остроумием изложения и подбором мыслей, более или менее искусно приложенных к разбираемому автору. Борьба Пушкина с мнениями Бестужева, Рылеева, Воейкова нам известна по рукописным снимкам с его посланий к ним, и в ней он является нам мыслителем-новатором, который имеет свое умное, никем еще не сказанное и часто очень меткое слово относительно людей и явлений русской литературы. Менее известны его горячие прения с кн. Вяземским, так как от его переписки с ним ничего не дошло до нас ни путем печатной, ни путем рукописной литературы; но вот какой характеристический отрывок из одного чернового письма еще уцелел в бумагах Пушкина. Пушкин опровергает в нем суждения кн. Вяземского о И.И. Дмитриеве и говорит: ... «О Дмитриеве спорить с тобою не стану, хотя все его басни не стоят одной хорошей басни Крылова, все его сатиры — одного из твоих посланий, а все прочее — первого стихотворения Жуковского. По мне, Дмитриев ниже Нелединского и стократ ниже стихотворца Карамзина. Сказки его написаны в дурном роде, холодны и растянуты, а Ермак такая дрянь, что нет мочи... Грустно мне видеть, что все у нас клонится Бог знает куда! Ты один бы мог прикрикнуть налево и направо, порастрясти

старые репутации, приструнить новые и показать истину, а ты покровительствуешь старому вралю...»[1].

Вообще, Пушкин с 1823 г., после толчка, данного его мысли «Полярной Звездой», был уже недоволен всем, что творилось в русской литературе по части критики. Он стоял выше ее современного положения и как будто ждал человека, который даст ей твердое основание и направление, призывая к тому попеременно то одного, то другого из своих приятелей. Ответа на призыв, однако же, не являлось ни откуда, да еще и рано было ему явиться: литература только что просыпалась от долгого оцепенения и находилась в периоде попыток, пробований, исканий всякого рода. Мысль шла, так сказать, ощупью на первых порах и для дельного и серьезного исследования прошлого и настоящего литературы, предпринятого сгоряча нашими критиками, недоставало оснований, которые еще не были ими нажиты. Тем удивительнее становится встречаться с некоторыми мыслями Пушкина от Одесской и позднейшего ее ростка — Михайловской эпохи, которые составляют как бы предчувствие того, что будет говорить и подробно развивать последующая анализирующая критика, когда приспеет ее пора. Что, как не раннюю отгадку одной из ее тем представляет, например, известное утверждение Пушкина, что ребяческое состояние нашей критики всего лучше обнаруживается в общепринятом способе причислять одинаково к лику великих писателей Ломоносова, Державина, Хераскова, Сумарокова, Озерова, Богдановича, и проч., не разбирая, чего каждый стоит по себе и в каком отношении находится к европейским литературам, откуда каждый из них вышел. В 1825 г. Пушкин сам даже попробовал составить типический очерк для деятельности Державина, и сделал это с ясностью и мастерством, которые удерживают за очерком значение блестящего критического этюда и доселе (в неизданном письме к Дельвигу из Михайловского 1825).

Еще ближе подошел Пушкин к духу и обычным, смелым и откровенным приемам последующей нашей аналитической критики, когда набрасывал в Одессе наскоро следующий отрывок. Он замечателен во многих отношениях. Со своим скептическим и ироничес-

---

[1] Резкость этого суждения может быть пояснена и участием в составлении его раздосадованного авторского самолюбия. Известно, что Дмитриев, при появлении «Руслана», сошелся во взгляде на поэму с постоянным своим врагом по всем другим вопросам, именно с М.Т. Каченовским, считая ее, одинаково с ним — пустой сказкой, довольно легко написанной и обязанной своим успехом всего более соблазнительным картинам, в ней заключающимся.

ким отливом, он показывает такую свободу отношений к именам, лицам и умственному состоянию общества, какая была редкостью в то время. Кажется, Пушкин и сам дорожил набросанными им мыслями, потому что вздумал воспроизвести их позднее в известной, дополнительной строфе к Онегину: «Сокровища родного слова», так что мы можем считать отрывок наш настоящей программой этого стихотворения. Вот он:

«Причинами, замедлившими ход нашей словесности, обыкновенно почитаются: 1-е, общее употребление французского языка и пренебрежение русского. Все наши писатели на то жаловались, но кто же виноват, как не они сами? Исключая тех, которые занимаются сплетнями литературными (sic), *у нас нет еще ни словесности, ни книг*; все наши знания, все наши понятия, с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных; мы привыкли мыслить на чужом языке; метафизического языка у нас вовсе не существует. Просвещение века требует важных предметов для пищи умов, которые уже *не могут довольствоваться блестящими игрушками*, но ученость, политика, философия по-русски еще не изъяснялись. Проза наша еще так мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты для понятий самых обыкновенных, и леность наша охотнее выражается на языке чужом, механические формы коего давно уже известны. Но, скажут мне, русская поэзия *достигла высокой степени образованности*. Согласен, что некоторые оды Державина, *не смотря на неправильность языка и неровность слога*, исполнены порывами гения, что в «Душеньке» Богдановича встречаются *стихи и целые страницы, достойные Лафонтена*, что Крылов *превзошел всех нам известных баснописцев*, исключая, может быть, того же самого Лафонтена, что *счастливые сподвижники Ломоносова*» (Но здесь Пушкин оставил пустое место, вероятно, для подразумевавшихся имен Шишкова, Ширинского-Шихматова, Кутузова и проч.), «что Батюшков сделал для русского языка *то же самое, что Петрарка для итальянского*, что Жуковского перевели бы на все языки, *если бы он сам менее переводил*»...

Этот иронический возглас, передразнивавший литературных лжепатриотов тогдашнего времени их собственными надутыми фразами, Пушкин не докончил, оставив его и без ответа, да это в сущности и не его было дело. Его дело было показать примеры самостоятельного творчества и возродить в других людях идею свободного и глубокого поэтического созерцания жизни...

Может показаться странным, что мы находим признаки замеча-

тельной работы мысли в этом хождении вокруг старых и новых русских писателей и в этом взвешивании их литературного значения, но надо вспомнить, что такое была в это время и еще гораздо позднее литература наша. За неимением никаких других открытых поприщ для обнаружения независимой умственной деятельности, литература сделалась сама собой единственной ареной, призывавшей к себе всех, кто чувствовал наклонность и способность мыслить. Уйти от нее можно было тогда только в тайные политические круги, как многие и делали. Позднее арена эта еще разрослась, приобрела несвойственные ей размеры и поглотила все другие направления, которые искали случая поместить вокруг тех же старых имен наших писателей и насущных русских произведений свои заветные идеи. Пушкин был провозвестником замаскированной публицистики, породившей в последние годы его жизни сплошной ряд более или менее замечательных деятелей.

В Одессе же явился для Пушкина и новый предмет размышлений и исследований, которому он посвящал целые дни, а потом и целые трактаты, как оказывается по его бумагам. Мы говорим о романтизме. С точки зрения современной критики, уже знающей, какое место занимал романтизм в ряду исторических явлений нашего века, чем был порожден и куда его направлял, может также показаться, что занятия романтизмом ничего более не доказывают, как отсутствие крепких научных оснований в уме, который ищет своего спасения от внутренней пустоты в царстве фантазии. На деле было несколько иначе: романтизм имел у нас смысл и значение призыва к жизненной борьбе, а не отбоя или отступления от нее.

Трудно теперь и представить себе, что заключалось для наших людей эпохи 1820 — 30 г. в одном этом волшебном слове «романтизм», которое заставляло биться все сердца и работать все головы. Прежде всего романтизм освобождал писателей от гнета творчества и от множества стеснительных школьных предрассудков относительно назначения, так называемых, образцов отечественной словесности. Он уже предвещал эпоху возмужалой мысли, как бы еще сантиментально, туманно и капризно ни выражался иногда сам. С его появления возникает у нас предчувствие о новых неофициальных путях жизненной и творческой деятельности. Романтизм послужил прежде всего возвышению отдельной личности, давая ей право говорить о себе, как о предмете первостепенной важности, и уполномочивая ее противопоставлять свои нужды, страдания и требования, даже заблуждения и ошибки всяким, так называемым, высшим инте-

ресам и представлениям. Исповедь личности получила интерес политического дела, но под одним условием, чтобы исповедь эта находила сочувственные струны в сердцах других людей и отражала собственную их историю задушевных страданий, стремлений и надежд. До Пушкина, конечно, никто не давал ни малейшего образчика такой исповеди, но уже с Карамзина началось движение в сторону от торжественных родов поэзии, которые одни считались доселе заслуживающими внимания, на встречу к *мелким* предметам человеческого существования, к анализу сердечных движений, к описанию того, что угнетает, тревожит и поддерживает отдельное лицо, незаметную единицу в государстве. Ко времени Пушкина движение это выросло до того, что в конец изменило понятие о призвании литературы. Оно и теперь полагалось, как и прежде, при господстве од, высокопарных поэм и псевдонародных или патриотических трагедий, в служении общественному делу, но общественным делом становилось теперь частное воззрение, частное горе, частная жалоба. Для Европы все это могло быть безразлично или даже составлять остановку в ее развитии; для нас это было положительным выигрышем и шагом вперед. О других сторонах романтизма по отношению к русской жизни — скажем сейчас.

Пушкин имел еще свои особенные, личные причины заниматься определениями и объяснениями романтизма. Еще ранее публикации своей третьей поэмы «Бахчисарайский фонтан» (1823), он уже был признан у нас, как критиками, так и публикой — главой романтической школы. Он никогда не помышлял о завоевании себе этого титула или этого места, но, приобретая их по общему приговору, уверовал в свое призвание вести романтическую школу в своем отечестве, как передовой ее деятель, на высоту, какая ей будет под силу. Однако же для того, чтобы удержать за собой место главы романтической школы, необходимо было уже ближе познакомиться с сущностью и внутренним смыслом учения. Это необходимо было и по другой причине: следовало отделить понятие о романтизме от таких явлений, как слезливость последователей Карамзина, как фантасмагории и чертовщина последователей Жуковского, как пережитое им самим русско-байроническое настроение, что все еще слыло за романтизмом и прикрывалось его именем. Отсюда и выходили разыскания Пушкина.

Но на пути полного и обстоятельного определения романтизма Пушкин встретил непреодолимые затруднения, которых и победить не мог.

Напрасно прибегал он к возобновлению в памяти курса французской словесности и начинал историю романтизма с провансальской поэзии и труверов, отыскивая в их рифмованных сонетах, рондо, триолетах первые семена романтизма; напрасно противопоставлял свойства и приемы *народных* драм Кальдерона, Шекспира и проч. *придворным* трагедиям псевдо-классиков времен Людовика XIV, думая уловить в этом контрасте коренные признаки и отличия обеих школ; напрасно также наконец, как бы из отчаяния в неуспехе своих изысканий, советовал просто различать классические произведения от романтических не по духу и содержанию их, ибо тогда в ином классическом создании найдутся ясные элементы романтизма, как и наоборот, а только по их формам, которые уже не могут обмануть, будучи типически различными между собою — все напрасно! Построение какой-либо эстетической теории на романтизме — не давалось ему, что он ни делал. Некоторые из этих попыток Пушкина уяснить вопрос приведены нами были в «Материалах» 1855 (см. том I Сочинений Пушкина, изд. 1855, стр. 112, 262 и след.), но многочисленные, длинные его компиляции из курсов, но значительное количество образчиков пересказать их содержание своими словами и дополнить своими комментариями, туда не попали, как черновая работа, только внешне, механически принадлежащая поэту. Можно привести в дополнение к другим примерам его собственных мнений о романтизме еще следующий отрывок из письма к П.А. Вяземскому, набросанный предварительно поэтом вчерне: «Перечитывая твои письма, — говорит Пушкин, — берет меня охота спорить... Говоря о романтизме, ты где-то пишешь, что даже стихи со времени революции имеют новый образ от А. Шенье... Никто более меня не уважает, не любит более этого поэта, но он... из классиков — классик. C'est un imitaeur. От него пахнет Феокритом и Анакреоном. Он освобожден от итальянских *concetti*, и от французских *antitheses*, но романтизма в нем нет еще ни капли... Первые «Думы» Рылеева (последние прочел я недавно и еще не опомнился: так он вырос!) — холодны... Lavigne — школьник Вольтера — и бьется в сетях Аристотеля. Романтизма нет еще во Франции, а он-то и возродил умершую поэзию. Помни мое слово — первый поэтический гений в отечестве Буало ударится в такую свободу, что — что твои немцы! Покамест во Франции поэтов менее, чем у нас... Что до моих занятий... Роман в стихах... в роде Д. — Жуана... Первая глава кончена — тебе ее доставлю... Пишу с упоением, чего уже давно со мною не

было... О печати и думать нельзя. Цензура наша так своенравна, что невозможно размерить круг своих действий: лучше и не думать».

Так нащупывали, смеем выразиться, невидимку-романтизм во всех явлениях литературы наши передовые писатели, и не могли согласиться друг с другом ни в одном выводе, хотя относительно Пушкина нельзя не сознаться, что его пророчество о близком появлении школы В. Гюго, по времени, весьма замечательно. Кстати сказать. Случайное приравнение, сделанное самим Пушкиным, Онегина к «Д.-Жуану» Байрона, было подхвачено впоследствии друзьями и послужило источником досады автора на них и объяснительной переписки с ними, как сейчас будем говорить.

Не лучше, если не хуже, были и все другие определения романтизма, исходившие от его друзей или от записных литераторов того времени. Перечет их мнений и суждений увлек бы нас слишком далеко. Скажем просто: понимание сущности романтизма не давалось русскому миру, и оно понятно, почему? В Европе романтизм был родным явлением. Корни его обретались в старой и новой истории Запада, и разгадка его явлений добывалась легко и скоро. Даже в высшем своем развитии, когда он олицетворялся титаническими характерами, в роде Рене, Манфреда, Обермана и проч., он еще отвечал только общему состоянию умов после французской революции, поднявшей все вопросы духовного и политического существования государств и оставившей большую их часть без разрешения. Каждый человек, не чуждый вовсе движения своего века, переживал с этими типами и характерами, в большей или меньшей степени, как бы собственную свою психическую историю. Он без труда находил в себе самом их безотрадный анализ, отчаянные усилия придти к какому-либо верованию и томившую их скуку. Также точно западный человек воскрешал перед собой, так сказать, свои школьные годы и не выходил из круга семейных, родственных представлений, когда из усталости и противодействия философии и рационализму убегал назад, в средние века. Влюбляться в народные поверия, предания, суеверия и сказания, умиляться перед песнями труверов и миннезенгеров, утешаться фантастическими представлениями средневековых народных масс, которые помогали им переносить тяжесть жизни — все это значило на Западе только припомнить свой ребяческий возраст, оглянуться на свое прошлое. Для западного человека романтизм был не открытием, а воспоминанием. В переработке всего средневекового материала на новый лад, люди искали там свежести чувств и тех живых верований, той пищи для фантазии и согревающей теп-

лоты религиозных идеалов, каких им уже недоставало. При потворстве критики, которая в лице некоторых своих представителей, как одного из Шлегелей, например, и некоторых других, давала далее пример перехода из одного вероисповедания в другое для лучшего развития в себе элементов романтизма, направление сделалось под конец вредным и ретроградным в Европе. Иначе выразилось оно у нас, где, не имея значения бытового явления, приняло форму *художнической теории*, что составляло большую разницу.

Поводов к возникновению романтизма в его социальной и метафизической форме, представляемой героями, сейчас упомянутыми: Рене, Манфредами и проч., не существовало никаких в нашей общественной среде, так же точно, как не было данных на русской почве для процветания романтизма в смысле обновления преданий. Старая русская народная жизнь лежала еще тогда в стороне, никому неведомая и никем не исследованная: напустить на себя страстное обожание предмета, окруженного и подернутого густым мраком истории, конечно, было возможно по нужде, как мы и видели в политических наших славянолюбцах, но долго выдерживать эту роль в литературе не предстояло уже никакой возможности. Мы увидим далее, что романтизм действительно подвел Пушкина незаметно к народной поэзии, но не ее слабый, никем еще не распознаваемый голос мог участвовать в призыве нового учения к себе на помощь. Поневоле романтизм должен был явиться у нас просто в форме нового *эстетического* учения, для чего он вовсе не имел содержания по своей односторонности, и чем не мог быть по своей сущности и происхождению. Он сделался школьным вопросом из живого явления, каким он был на Западе. Очутившись у нас на этой дороге и принявши облик схоластической теории, романтизм нашел скоро бесчисленных учителей, толкователей и комментаторов. Каждый из них предлагал свое определение романтизма на основании признаков и подробностей, прежде всего бросившихся ему в глаза и, таким образом, романтизм для одних был накопление этнографических черт и народных выражений в произведении, для других — тонкий до мелочей психический анализ характеров, для третьих — подробное изложение неуловимых оттенков мысли и ощущений, а для очень многих (т.е. для большинства учителей) — проявление необузданной фантазии, которая пренебрегает всеми условиями искусства. Сам Пушкин, на другой почве, чем школьные теории, находил еще, как знаем, присутствие романтизма даже в иной беспутной жизни, лишь бы она исполнена была приключений всякого рода.

Итак, забудем о наших определениях романтизма и посмотрим, каково было влияние этого направления на нашу образованность вообще. Здесь к числу благотворных навеяний и последствий романтизма, о которых уже говорили, следует присоединить еще одну и может быть важнейшую черту. Занесенное к нам на этот раз не из Франции, а из энциклопедической Германии — романтическое движение имело последствием открытие нового материала не только для авторства, но и для умственного воспитания общества. Благодаря тому уважению ко всем народностям без исключения и ко всем видам и родам народной деятельности, которое романтизм проповедывал с самого начала, он сделался у нас элементом очень важного движения. Избранных литератур, а с ними и избранных национальностей, предопределенных, так сказать, быть вечными образцами гениальной производительности, для романтизма вовсе не существовало, к великому соблазну классически-воспитанных писателей. Наравне с высокоразвитыми древними и новыми обществами, внимание романтизма обращено было и на племена с невидными, но своеобычными зачатками духовной жизни. Из этого выходило также, что романтики не признавали никакой иерархии в родах поэтической деятельности, и народная сага, собрание песен, эпическое или лирическое творчество какого-либо незначительного племени ценилось ими иногда выше правильных, холодных драм, поэм, романов, занимавших и восхищавших цивилизованное общество. Этот космополитизм романтической школы, это благожелательство к проявлениям человеческого духа, в какой бы форме оно ни делалось, открывали школе, так сказать, целый мир предметов для вдохновения, фантазии и мысли.

Пушкин, прозванный, не без основания, «Протеем» за способность ловить поэтические оттенки чувства, образа и мысли во всех предметах, подпадавших его наблюдению, воспользовался с избытком отличием своей школы, но она еще увела его и далее. Путем изучения чужих народных произведений, романтизм приводил неизбежно и к русскому народному творчеству, еще никем не тронутому. Не могло же оно одно оставаться за чертой, в непонятном и позорном остракизме, когда все другие страны ласково принимались в пантеон, устроенный для народных литератур всего света. Конечно, обход к русским поэтическим мотивам был очень дальний, но вряд ли в то время шла к ним какая-либо другая дорога. Благодаря романтизму, и вскоре последовавшему за ним влиянию Шекспира — открылся впервые разнообразнейший русский мир, с чертами

нравов, понятий и представлений, ему одному свойственными. Оставалось подойти к нему и, конечно, мы не скажем ничего преувеличенного, если здесь заметим, что первым, подошедшим к нему прямо с поэтическим чутьем его действительного содержания, был Пушкин.

Дело обрусения Пушкинского таланта началось с «Онегина», т.е. с первого появления нашего поэта в Одессе, когда он серьезно приступил к роману, начатому несколько прежде и которым теперь несколько месяцев сряду, по свидетельству брата, был поглощен душевно и телесно. При появлении первой главы нового произведения в Петербурге, еще в рукописи (1825), друзья автора снова закричали о мастерском подражании Байрону и его Дон-Жуану. Пушкин был изумлен и огорчен: друзья не знали того поворота на встречу русской жизни, который был уже задуман им, и остановились на внешней форме романа. С жаром принялся он им толковать, что ничего общего между Онегиным и Дон-Жуаном нет, что первая глава романа есть не более, как вступление, которым он остается доволен, что следует ожидать других глав, того, что будет далее... а далее хотя он еще и неясно различал, как говорит сам в поэме, ход романа, но, конечно, русская жизнь со своими особенностями носилась уже и тогда перед его глазами.

Нам не совсем понятна теперь ошибка друзей Пушкина, почти единогласно утверждавших, что Онегин и Дон-Жуан одно и то же лицо, даже упрекавших поэму нашего автора в пошлости и прозаизме содержания. Этого мнения держался, между прочим, и К.Ф. Рылеев, а также очень умный и дельный приятель Пушкина, Н.Н. Раевский-младший, не раз поражавший поэта трезвостью своих суждений, но про которого автор «Онегина» принужден был заметить в 1823 году, в письме к брату из Одессы: «Не верь Н. Раевскому, который бранит его (Онегина). Он ожидал от меня романтизма, нашел сатиру и цинизм, и порядочно не расчухал». А между тем одно то обстоятельство, что Пушкин с самого начала относится очень скептически к своему герою, должно было бы навести его критиков на мысль о разнице между русской и английской поэмой. Байрон вообще никогда не смотрел иронически на своих героев, а тем менее на Дон-Жуана, в котором олицетворял некоторые стороны собственной своей природы. Пушкин тоже вложил в Онегина часть самого себя и ввел в его облик некоторые черты своего характера, но он не благоговеет перед изображением, а, напротив, относится к нему совершенно свободно, а подчас и саркастически. Конечно, говоря о двух поэмах, никогда не должно забывать высокого преимущества,

какое имеет «Дон-Жуан» в обширности плана, в смелости замысла, а также и в силе исполнения над русской поэмой, но это не мешает «Онегину» быть великим поэтическим памятником русской литературы, поучительным и для других литератур, по художественному разоблачению умственной и бытовой жизни той страны, где он возник. По нашему мнению, ничто так не подтверждает нравственного переворота, совершившегося с Пушкиным в Одессе, как способность, обнаруженная им в «Онегине», отнестись критически к «передовому» человеку своей эпохи. Почти в одно время с появлением первой главы романа (1825), в публике нашей распространилась и комедия «Горе от ума». Пушкин и Грибоедов уловили, так сказать, душу своего времени, заключив все его содержание в двух не умирающих типах: Онегине и Чацком, которые принадлежат одинаково к «большому свету», управлявшему тогда умственным развитием страны. И тот и другой страдают пустотой жизни, но Онегин есть представитель известной части светского круга, члены которого, несмотря на все свои претензии, способны были уживаться со своей обстановкой, а Чацкий есть представитель другого отдела того же светского круга, которого эта самая пустота вызывала на проповедь, борьбу и подвиг. Сознание своих и общественных недугов заставляет Онегина дорожить изяществом существования, тонкими ощущениями в области мысли и в сфере жизни, которым само презрение к современным людям и обществу служит еще поводом и поощрением; то же самое сознание разрешается у Чацкого, наоборот, искренним гневом и негодованием на самого себя и на общество: если он бьет его по лицу всеми его пороками и позорными сторонами, то не выгораживает и себя из его среды. Из этих двух типов, в бесчисленном распадении и разветвлении, действительно и слагалась тогда многочисленная русская *«интеллигенция»*, сообщившая эпохе тот своеобразный колорит, который мы знаем за ней. Параллель между Онегиным и Чацким можно бы провести и далее, показав, что и частная их жизнь была как-то одинаково неудачна и завершилась отвергнутым чувством со стороны тех, в ком они вздумали поместить свое сердце и свою любовь; но при ближайшем рассмотрении и тут оказывается разница. У первого, Онегина, это явилось заслуженным наказанием его нравственной несостоятельности, плохо прикрываемой кичливостью и претензией, а у Чацкого то же явление было возмездием среды, не выносившей его нравственного превосходства. Во всяком случае и Пушкин, и Грибоедов, как достоверно известно из многих документов, очень хорошо знали, что делают, еще при самом замысле

своих созданий, и довольно ясно предвидели выводы и соображения, к каким они дадут повод впоследствии. Не мог только предвидеть Пушкин того, что его роман, так хорошо отражающий одну из сторон тогдашней светской жизни, будет принят у друзей за простую подделку под иностранный образец и не возбудит никакого другого вопроса.[1]

Но оставляем в стороне историю недоразумений между Пушкиным и друзьями его; недоразумений этих было всегда много между ними, как увидим далее, а теперь продолжаем нашу повесть о русском романтизме.

По отношению к Пушкину, романтизм этот имел еще значение и чисто практическое, житейское, упразднив или ослабив влияние Байрона, как личности. Восторженное удивление к гениальным приемам и художественной манере Байрона-писателя еще продолжалось довольно долго, и хотя значительно ослабело с эпохи знакомства Пушкина с Шекспиром (1825 г.), но можно заметить кое-какие следы его даже в 1828 году — накануне, так сказать, «Полтавы». Люди не скоро расстаются со старыми, могущественными увлечениями н впечатлениями, но Пушкин с одесской жизни расстался с Байроном иначе. Британский поэт перестал быть для него кумиром, под гнетом которого сам Пушкин отрекался от собственной личности и делался снимком с чужой физиономии. Байрон начинал превращаться из личности в *понятие*, что составляло уже большую разницу. Давление личности Байрона, у которой, как известно, поэт наш перенимал даже многие мелочные привычки жизни и характера, значительно ослабело, когда сам родоначальник направления, благодаря свету, брошенному на него предпринятым исследованием романтизма, переставал являться феноменом, а становился олицетворением одного из видов большого, многостороннего *литературного рода*. Власть идеала была уже потрясена тем, что он делался наравне с другими явлениями романтизма подсуден определению, разбору, классификации, но, конечно, высвободиться от прямого влияния лич-

[1] Кстати будет заметить здесь, что этому заблуждению друзей Пушкина много способствовал единственный чисто-*отвлеченный вопрос*, который возник в их среде и сохранен их перепиской, именно вопрос об отношениях восторга или вдохновения к искусству. Сторонникам вдохновения, как главного деятеля в производстве поэтических созданий, с которыми не соглашался Пушкин, указывая на важность обдуманного плана и предвзятого автором намерения — первая глава «Онегина» показалась даже ниже «Кавказ. Пленника» и «Бахчисар. фонтана». Так именно выразился один из наиболее жарких защитников необходимости «восторга» — К.Ф. Рылеев.

ности было легче, чем освободиться от направления, данного ею самой мысли подражателя, от ее взглядов на людей и предметы нравственного свойства, от направления, ею сообщенного. Это уже могло совершиться только через посредство самостоятельного труда, озарившего бывшего поклонника, и в этом смысле услуга, оказанная «Онегиным» своему автору, должна цениться весьма высоко. С «Онегина» начинается нравственное отрезвление Пушкина от хмеля восторженного подражания Байрону, как поэт наш сам давал разуметь, и возвращение его к самому себе, к природе и свойствам своего таланта и своего характера.

Кроме «Онегина», честь быть свидетелем и участником нравственного переворота в Пушкине принадлежит еще и другому произведению — «Цыганам». Обе поэмы эти имеют право на название *поэм-близнецов*, потому что писались в одно время, чередуясь на столе автора по настроению его духа. Как ни различны они по основным своим мотивам и по характеру своих представлений, Пушкин вел это двойное и разнородное дело совершенно вровень и притом с не остывающим воодушевлением. Это доказывается пометками, какие сохранились на черновых оригиналах обеих поэм. С июля 1823 по декабрь (именно по 8-е число декабря 1823) написаны были Пушкиным две первые главы «Онегина» в Одессе. В феврале 1824 начата им третья, как видно из заметки, стоящей во главе ее — «8-e fevrier, la nuit, 1824». Между второй и третьей главами «Онегина», стало быть в течение двух месяцев, декабря 1823 года и января 1824, являются «Цыгане», начало которых украшено изображением медведя, цыганского шатра и под ним Земфиры. Окончание поэмы приходится уже ко времени ссылки Пушкина в деревню, Михайловское, и носит пометку 10-го октября 1824. Вся поэма приблизительно стоила Пушкину около 10-ти месяцев труда, далеко не постоянного, прерванного еще длинным путешествием из Одессы в Псков и от которого он часто еще отвлекался значительным количеством лирических своих песней, тогда же им произведенных.

А между тем, «Цыгане», в противоположность с реальным «Онегиным», с жизненным, бытовым оттенком его картин и характеров, представляют высшее и самое пышное цветение русского романтизма, успевшего овладеть теперь и поэтически-философской темой. Одновременное производство двух таких противоположных созданий всего лучше доказывает, что с зимы 1823 — 24 г. начинается у Пушкина новый период развития, несмотря на то, что именно в течение ее скопились и все те мелкие и крупные досады, которые сдела-

ли ему жизнь в Одессе невыносимой. Никто не будет спорить, да никто и не спорил прежде, что на «Цыганах» мелькают еще лучи байронической поэзии, но, вместе с тем, оригинальность замысла, возмужалость и зрелость таланта до того бросались в глаза современникам Пушкина, что они признали в поэме совершенно свободное, независимое создание, несмотря на некоторые признаки его родства с чужой мыслью. И современники были со своей стороны правы. Вспомнить только, что в «Цыганах» Пушкин коснулся неожиданно социального вопроса и, конечно, далеко не исчерпал его (в области романтизма он и не мог быть обрабатываем), но в полусвете поэтического вымысла указал часть присущего ему содержания чрезвычайно удачно. Вся обстановка вопроса была в поэме также по преимуществу романтическая: цыганский табор написан яркими красками, прикрывшими его, как мантией, за которой бедная действительность табора едва и чувствовалась; характеры старого цыгана, Земфиры, Алеко, переданы мастерскими очерками, но не как лица, а как олицетворение условных представлений о том или другом характере. Но в поэме было еще кое-что другое.

Публике нашей, благодаря знакомству ее с Руссо, да и с самим Байроном, не было новостью противопоставление образованного человека человеку полудикого, патриархального быта. Совершенной новостью было для нее только то, что сделал из этого противопоставления Пушкин. Алеко не вырос у него, как сказали, до вполне ощутительного образа и характера, но представлял намек на очень любопытный тип. Свободный мыслитель и потому ненавистник форм цивилизации, разорвавший все связи с обществом и его историческим положением, но не уничтоживший в себе самом того количества злобы, эгоизма и испорченности, которое они отложили в его душе: таков был намек. Алеко ищет успокоения в среде бедного цыганского табора, куда спасается от городов и столиц, но, вместо того, предательски вносит к нему все страсти их, присоединяя еще и кровавое преступление. Алеко есть олицетворенная политическая несостоятельность и нравственная пустота при громадных претензиях и сильном умственном развитии — вот что было оригинально и ново в поэме и что было почувствовано публикой[1]. Восторгам ее не было пределов, когда поэма явилась в печати.

[1] У Пушкина существовали попытки к большему определению, подробнейшей обрисовке Алеко, но исчезали, совершенно позабытые автором в своих бумагах. Так монолог Алеко при рождении ему сына Земфирой пролежал в его бумагах до 1857 г., когда мы впервые сообщили его публике (Соч. Пушкина, 1857, т, 7-й, стр. 69), а

Для характеристики того времени некоторую важность представляет одно обстоятельство: долго не только публика, но и записные критики предпочитали *романтическую* поэму Пушкина, из воображаемого мира идеальных людей, его *реальной* поэме из действительного быта. Сам автор думал несколько иначе: сердце его всегда крепко лежало к своему «Онегину», а на «Цыган» он смотрел как на пробу своего таланта, и переходную ступень в его развитии: *«Только с «Цыган» почувствовал я в себе призвание к драме»*, говорил он покойному П.А. Плетневу. Известно, что Пушкин никогда не отличался способностью к теоретическим тонкостям, и слова его должно понимать не в том смысле, чтобы с «Цыган» он намеревался посвятить себя драматической литературе исключительно, а в том, конечно, что тогда он почувствовал в себе силу открывать отношения между изображаемыми характерами, из которых зарождаются обыкновенно драматические коллизии. Другими словами, это значило, что «Цыганами» Пушкин уже прощался, с чисто романтическим творчеством, как подтверждают и факты. Быстро шло его развитие. Едва началась его работа мысли над задачами романтизма, как и принесла все свои плоды. Он скоро очутился на ином пути, куда мы за ним в свое время и последуем.

Казалось бы, что при таком серьезном настроении, при таком упражнении ума и сознания — некоторый род тишины и спокойствия должен был бы неизбежно водвориться в душе поэта и образовать отношения к жизни, которые, по крайней мере, исключали бы возможность думать о какой-либо внезапной катастрофе в его существовании. Однако же, мысль о ней приходила поминутно в голову, как мы уже сказали, кишиневским приятелям Пушкина, навещавшим его в Одессе, и приходила уже с первых месяцев пребывания там поэта. Они начинали серьезно бояться за Пушкина, заметив его раздраженное состояние и ясные признаки какого-то сосредоточенного в себе гнева. Пушкин видимо страдал и притом дурным, глухим страданием, не находящим себе выхода. Продолжаться долго это не могло. Все, что обыкновенно разнуздывало страсти Пушкина: пошлость или мелкие цели окружающих людей, муки ревнивой или неудовлетворенной любви, досада и негодование на измену дружбы,

---

между тем он именно составляет часть несостоявшейся обделки, какую автор хотел сообщить физиономии и характеру своего героя. Впрочем, то же самое намеревался он прежде сделать и для «Кавказского Пленника» и оба раза бросал свои попытки, так как чистый романтизм действительно не имел ни средств, ни орудий для дельного анализа подобных характеров.

тихо подрывающей его надежды и планы — все соединилось здесь для того, чтобы приготовить одну из тех вспышек, оскорбляющих общество, которыми так изобиловал кишиневский период его жизни. Но никакой вспышки не произошло, потому собственно, что теперь не было для них и *места*. Порядки жизни, возмущавшие Пушкина, составляли часть политической системы, зрело обдуманной очень умными людьми, которые умели сообщить ей внешний вид приличия и достоинства. Личные оскорбления наносились ему тоже чрезвычайно умелой рукой, всегда тихо, осторожно, мягко, хотя и постоянно, как бы с помесью шутливого презрения. Было бы сумасшествием требовать удовлетворения за обиды, которые можно было только чувствовать, а не объяснить. Материала для вспышек, таким образом, не существовало; вместо того, жизнь Пушкина просто горела и расползалась, как ткань, в которой завелось тление.

Известно, какое влияние на характер и душевное состояние Пушкина имели женщины и его связи с ними. В эту эпоху он находился под гнетом бурных страстей, раздражаемых соперничеством и препятствиями разного рода. В числе лирических произведений Пушкина есть одно «Воспоминание» (1822), где мы встречаемся с любопытным биографическим фактом (см. дополнение к стихотворению, приведенное в наших «Материалах» 1855, стр. 197). Говоря о двух, уже почивших ангелах, данных ему судьбой когда-то в лице двух женщин, поэт представляет их в виде грозных теней:

«Но оба с крыльями и с пламенным мечем,
И стерегут... *и мстят мне оба*,
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах вечности и гроба».

По всем соображениям, обе эти личности принадлежат к Одесскому обществу. В чем состояло преступление Пушкина, за которое они *мстили* ему, неизвестно, так же точно, как неизвестны и имена их. О том и другом можно только догадываться. Весьма правдоподобно, что под одной из этих оскорбленных теней Пушкин подразумевал довольно часто поминаемую в новейших биографических розысканиях о поэте m-me Ризнич, а под другой, умершей за границей, особу, к которой написана пьеса: «Иностранке» («На языке, тебе невнятном»). Под последней пьесой стоят в рукописях и слова: «Veux-tu m'amier? Point de D*». Не Дегилье-ли, о котором мы упоминали? Если собирать намеки для пояснения этих имен, то придется остановиться на выражении Липранди, который, перечисляя лица, близкие

к Пушкину, упоминает еще об «известной Катиньке Гик». Вероятно также, что именно о ней вспоминал Пушкин, когда уже из Михайловского писал в Одессу к какому-то Д. М. К: «Слово живое об Одессе; напишите, что у вас делается, выздоровела ли Катинька?» Любопытно, что перед самой женитьбой своей в 1830 г., Пушкин вспомнил о милых тенях и обратился к ним с невыразимою любовью и страстью, как бы прощаясь навсегда с ними, чему памятником остались два изумительных по своему пафосу и поэтической силе стихотворения: «Заклинание» и «Расставание», оба написанные в селе Болдине, в 1830 г. Несмотря, однако же, на память, оставленную обоими этими, теперь уже почти мистическими, лицами в душе Пушкина, предания той эпохи упоминают еще о третьей женщине, превосходившей всех других по власти, с которой управляла мыслью и существованием поэта. Пушкин нигде о ней не упоминает, как бы желая сохранить про одного себя тайну этой любви. Она обнаруживается у него только многочисленными профилями прекрасной женской головы, спокойного, благородного, величавого типа, которые идут почти по всем его бумагам из Одесского периода жизни.

Всего этого было достаточно для того, чтобы лишить Пушкина нравственного и физического спокойствия; но из собственных его откровенных заметок оказывается, что, кроме перечисленных нами поводов к неудовольствию и раздражению, были еще и другие, чуть ли даже не стоявшие на первом плане в собственной его оценке своего положения.

По способности возбуждать его бессильный гнев и составлять безвыходное страдание души, первенствующее место принадлежало тому учтивому, хотя и высокомерному презрению к его званию поэта и писателя, которое непременно должно было родиться в деловом мире, выдвинутом на первый план новым устройством власти и управления. Жизнь Пушкина должна была казаться страшным бездельем всему этому миру, а известно, что у людей заведенного порядка, ясных практических целей, и работа мысли есть то же — безделье. Ничто так не возбуждает их презрения и тайной ненависти, как горделивая претензия человека найти себе другое занятие, кроме того, которое признано всеми за настоящее и почетное. У них не было и предчувствия, что Пушкин в своем безделье полагает основание как будущей своей славе, так и развитию художнических и просветительных начал в своем отечестве: им виднелся праздный и потому опасный человек в лице, которое принадлежит только самому себе. Ошибки и даже преступления по службе были бы лучше и

простились бы скорее. Самый успех такого лица в известной части публики, внимание, оказываемое ему каким-либо отделом русского читающего мира, еще питали аристократическое и бюрократическое презрение к нему. Люди дела объясняли успех этот заискиванием в толпе, свойственным только проходимцу, которому не на что опереться более. Еще хуже делает тот, кто, не нуждаясь в толпе, пренебрегает выгодами своего рождения и положения в свете, предпочитая унизительную роль потешника сволочи своему естественному призванию. Писатель еще может быть терпим в свите облагораживающего и вдохновляющего его патрона; самостоятельный писатель на Руси есть не что иное, как ничтожный и отчасти позорный сколок с западных французских демократов, которому у нас нечего делать. Разумеется, никто не говорил с полной откровенностью подобных вещей в глаза Пушкину, но существование такого воззрения на призвание его, как поэта, было несомненно в высшем одесском обществе и давало себя постоянно чувствовать. Что должен был испытывать Пушкин при этом косвенном отрицании и отобрании его прав на известность, заслуженное место в обществе и на уважение родины!

В надменном презрении к ремеслу Пушкина скрывалось еще и презрение к низменному гражданскому положению, которое обыкновенно связано с этим ремеслом. Обида наносилась одновременно двум самым чувствительным сторонам его существования: во-первых, его поэтическому призванию, которое доселе устраивало ему повсюду радушный, часто торжественный прием, а во-вторых, и его чувству русского дворянина, равного, по своему происхождению, со всяким человеком в империи, на каком бы высоком посту он ни стоял. Конечно, гораздо лучше было бы для поэта вовсе не обращать внимания на эти усилия понизить его общественное значение, так как оно целиком зависело от него самого и стояло выше всяких толков и завистливых отрицаний, но Пушкин думал иначе. Он с увлечением старался противопоставить в отпор гордости чиновничества и вельможества двойную, так сказать, гордость знаменитого писателя, а затем и потомка знаменитого рода, часто поминаемого в русской истории. Он сделал из этой темы нечто в роде знамени для борьбы с господствующей партией.

В 1824 году, беседуя с Алекс. Бестужевым о новой книжке «Полярной Звезды» и о некоторых мнениях ее постоянного «обозревателя», Пушкин высказал довольно парадоксальную мысль о политической независимости русской литературы, но для нас ясно теперь, что мысль эта пришла ему в голову, как оружие, которое можно

употребить при столкновениях с недоброжелателями своими: «Иностранцы нам изумляются», говорил он: «они отдают нам полную справедливость, не понимая, как это случилось[1]. Причина ясна. У нас писатели взяты из высшего класса общества. Аристократическая гордость сливается у нас с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными: вот чего W не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою, а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин. Дьявольская разница»! Письмо Пушкина пошло, как и всегда, по рукам приятелей, но они не угадали, да и не могли угадать обстоятельств, которые его навеяли, и вообще жизненного происхождения заметки. Они просто-за-просто отнесли ее к обычным байроническим замашкам Пушкина, к случайным капризам его мысли, и отвечали ему полушутливо, полуукорительно, советуя бросить пустое чванство своим происхождением. Между тем, и байронизма и пустого чванства было тут именно настолько, насколько они могли служить Пушкину в борьбе его с оскорбительным административным высокомерием. К.Ф. Рылеев вполне выразил точку зрения приятелей Пушкина, лишенных возможности знать *историческую* обстановку поэта, когда, писал ему: «Ты сделался аристократом: это меня рассмешило. Тебе ли чваниться пятисотлетним дворянством? И тут вижу маленькое подражание Байрону. Будь, ради Бога, Пушкиным. Ты сам по себе молодец».

Менее извинительны позднейшие наши трудолюбивые, но не очень заботящиеся о правдивости своих приговоров библиофилы и биографы, когда и они, не желая преднамеренно знать поводов, подсказывавших Пушкину заявления подобного рода, относили их прямо к свойствам его нравственной природы, к ничтожеству его характера. Впрочем, при жизни Пушкина недоразумения по поводу его убеждений возникали беспрестанно. Так, наперекор заявленному им мнению о похвальной независимости русской печати, его считали уже партизаном правительственной опеки над литературой, и это за то, что он опровергал мнение Бестужева в 1825, утверждавшего, будто правительственное ободрение талантов только портит их, будто его никогда не было у нас и проч. А между тем, Пушкин не был ни за государственное покровительство литературы, ни за пренебрежение ко всякой поддержке ее. Вот его объяснения, и хотя они уже не

[1] Дело тут идет именно об излюбленной теме Пушкина — предполагаемой независимости нашей печати от посторонних влияний.

принадлежат к эпохе, в которой находимся, но, по связи предметов, считаем нужным привести их здесь же. Они найдены нами в виде чернового оригинала, изложены уже довольно спокойно и, кажется, могут представить для исследователей русской литературы исторический документ, не лишенный своего рода значения: «Мне досадно, что Г—в меня не понимает. В чем дело? Что у нас не покровительствуют литературе и что — слава Богу! Зачем же об этом говорить? Напрасно! Равнодушию правительства и притеснению цензуры обязаны мы духом нашей словесности. Чего ж тебе более? Загляни в журналы; в течение 6-ти лет посмотри, сколько раз упоминали о мне, сколько раз меня хвалили, поделом и понапрасну, а далее... ни гугу! Почему это? Уж верно не от гордости или радикализма такого-то журналиста — нет! Всякий знает, что хоть он расподличайся — никто ему спасибо не скажет и не даст ни 5 рублей: так уже лучше даром быть благородным человеком. Ты сердишься за то, что я хвалюсь 600-летним дворянством (NB. мое дворянство старее). Как же ты не видишь, что дух нашей словесности отчасти зависит от состояния писателей? Мы не можем подносить наших сочинений вельможам, ибо, по своему рождению, почитаем себя равными им. Отселе гордость etc. Не должно русских писателей судить, как иноземных. Там пишут для денег, а у нас (кроме меня) из тщеславия. Там стихами живут, а у нас гр. Хвостов прожился на них. Там есть нечего — так пиши книгу, а у нас есть нечего — так служи, да не сочиняй. Милый мой — Ты поэт, и Я поэт, но я сужу более прозаически и чуть ли от этого не прав». Как далеко ушла наша современная литература от этого воззрения в течение последних 50-ти лет, может служить то обстоятельство, что ни один из афоризмов письма к ней уже неприменим.

Нет сомнения, что в разговорах своих Пушкин излагал те же мысли, какие проводил и в письмах, но в более резкой и грубой форме, присоединяя ко всему подчас и насмешку, которая не всегда ясно распознавала своих настоящих врагов и своих друзей. Так, например, он называл и благородного начальника края, русского в душе и по всем намерениям своим, милорд Уоронцов — за английские обычаи его жизни. Это было крайним легкомыслием; второстепенные деятели еще менее щадились его озлоблением, нерасчетливым и часто несправедливым словом, а так *как в* этом городе, несмотря на весь его шум и движение, ничто не пропадало бесследно, то, конечно, сумма поводов ко вражде, взаимным обвинениям и не-

удовольствиям все росла с обеих сторон и можно уже было предвидеть время, когда настоятельно потребуется свести им итоги.

Между тем, одно благоприятное известие чрезвычайно оживило Пушкина. Он впервые прозрел в Одессе, что может жить на свете *без службы*, без покровительства властей, одними собственными своими писательскими средствами. До тех пор он был в состоянии, близком к нищете, и имел полное право сказать впоследствии, оглядываясь на прошлую кишиневскую жизнь.

> «Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
> *В безумстве гибельной свободы,*
> В неволе, *в бедности*, в чужих степях
> Мои утраченные годы» и проч.

На поддержку от семейства, жившего при тех началах и порядках, какие мы уже знаем, Пушкин никогда не рассчитывал, хотя и отзывался иногда с горечью об этом равнодушии к его судьбе со стороны единственных людей, от которых он мог требовать некоторых жертв. Затем и «Руслан» и «Кавказский Пленник», несмотря на громадный их успех, оставили его с пустыми руками. Издатель последнего, Н.И. Гнедич разделался с Пушкиным тем, что прислал ему, кажется, 500 р. асс., к великому недоумению поэта. Не то было с «Бахчисарайским фонтаном» (1823). Издание его принял на себя кн. П.А. Вяземский, предпославший ему, как известно, свое остроумное предисловие, и вскоре после выхода книжки отправивший к Пушкину в Одессу 3,000 р. асс., да, как кажется, еще тем и не ограничившийся. В черновом письме поэта к своему щедрому издателю, мы читаем следующие радостные и благодарные строки:

«От всего сердца благодарю тебя, милый Европеец, за неожиданное послание, то есть за посылку. Начинаю думать, что ремесло наше, право, не хуже другого — и почитать наших книгопродавцев! Одно меня затрудняет: ты продал мое создание за 3,000 р., а сколько же стоило тебе его напечатать? Ты все даришь меня, бессовестный! Ради Христа — возьми, что тебе следует из остальных денег, да пришли их ко мне — расти им не за чем, а у меня не залежатся, хоть я, право, не мот. Уплачу, старые долги и засяду за новую поэму, потому что мне полюбилось[1]. Я к XVIII веку не принадлежу: пишу для себя, а печатаю для денег — ничуть не для улыбки прекрасного

[1] Т.е. полюбились послания или посылки, в роде полученных им от своего издателя.

пола»... Пушкин только теперь почувствовал, что судьба его находится не в чужих, а в его собственных руках и сознание своей независимости от благожелательства посторонних лиц, возбужденное первыми материальными результатами литературных его трудов, имело влияние на дальнейшие его решения, как увидим сейчас же.

Жизнь становилась все труднее и труднее для Пушкина в Одессе. Со стороны могло казаться, что в ней ровно ничего не происходило необычайного, кроме обыкновенного естественного развития ее самой. И со всем тем она все более и более делала поэта недоверчивым, мнительным, болезненно-чутким человеком. Лучшим примером того, какую роль могли играть при подобном настроении самые пустые, ничтожные случаи, служит прием, сделанный Пушкиным пресловутой командировке за наблюдением саранчи в южных частях Новороссии, которую он получил от начальника края. Теперь уже известно, что последний, зачисляя Пушкина в экспедицию об исследовании саранчи на местах ее появления, был движим желанием предоставить Пушкину случай отличиться по службе и на той дороге, на которую он случайно попал, обратить внимание к себе высшей петербургской администрации. В том психическом состоянии, в котором находился Пушкин, благодаря всем предшествующим обстоятельствам, он принял поручение это за ядовитую насмешку, за тайное желание унизить в глазах людей его общественное положение, насмеяться над ним. Понятно, что при таких отношениях подчиненного к непосредственному своему начальству, разрыв между ними был неизбежен, но начала разрыв этот, к удивлению, именно та сторона, которая была слабейшей в деле и могла страшиться самых неприятных последствий для себя от своей решимости...

Спешим прибавить, что в этом странном споре сторона, обладавшая властью и всеми средствами для уничтожения безрассудного сопротивления, показала умеренность, сдержанность и достоинство, стоящие вне всякого сомнения.

В бумагах Пушкина сохранилось, перебеленное начисто, письмо его к правителю канцелярии наместника, почтенному и благорасположенному к поэту, Александру Ивановичу Казначееву. Письмом этим Пушкин отказывался от возложенного на него поручения, и хотя мы не знаем окончательной формы, какую дал ему автор при отправлении, но, конечно, основные черты этого заявления вполне сохранились и в нашем документе:[1]

[1] Правописание П—а удержано в приводимом документе.

«Почтеннейший А.И! Будучи совершенно, чужд ходу деловых бумаг — не знаю в праве ли отозваться на предписание Е.С. Как бы то ни было, надеюсь на вашу снисходительность и приемлю смелость объясниться откровенно на счет моего положения.

7 лет я службою не занимался, не написал ни одной бумаги, не был в сношении ни с одним начальником. Эти 7 лет, как вам известно, вовсе для меня потеряны. Жалобы с моей стороны были бы не у места. Я сам заградил себе путь и выбрал другую цель. Ради Бога не думайте, чтоб я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека: оно просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость. Думаю что граф Воронцов не захочет лишить меня ни того, ни другого.

Мне скажут, что я, получая 700 рублей, обязан служить. Вы знаете, что только в Москве или П.-б. можно вести книжный торг, ибо только там находятся журналисты, цензоры и книгопродавцы; я поминутно должен отказываться от самых выгодных предложений, единственно по той причине, что нахожусь за 2,000 верст от столиц. Правительству угодно вознаграждать некоторым образом мои утраты: я принимаю эти 700 руб. не так, как жалование чиновника, но как паек ссылочного невольника. Я готов от них отказаться, если не могу быть властен в моем времени и занятиях. Вхожу в эти подробности, потому что дорожу мнением гр. Воронцова, также как и вашим, как и мнением всякого честного человека.

Повторяю здесь то, что уже известно графу М.С. Если бы я хотел служить, то никогда бы не выбрал себе другого начальника, кроме Его Сиятельства, но чувствуя свою совершенную неспособность, я уже отказался от всех выгод службы и от всякой надежды на дальнейшие успехи в оной.

Знаю, что довольно этого письма, чтобы меня, как говорится, уничтожить. Если граф прикажет подать в отставку — я готов, но чувствую, что переменив мою зависимость, я много потеряю, а ничего выиграть не надеюсь.

Еще одно слово: Вы, может быть, не знаете, что у меня аневризм. Вот уже 8 лет, как я ношу с собою смерть... Могу представить свидетельство которого угодно доктора. Ужели нельзя оставить меня в покое на остаток жизни, которая верно не продлится.

Свидетельствую вам глубочайшее почтение и серд. пред.»

По всем вероятиям этот проект или черновая программа назначались для полуофициального письма, которое могло бы быть пред-

ставлено начальнику и заменить формальную просьбу. Это оказывается, между прочим, из сравнительно умеренного и сдержанного тона документа, а также и из весьма поздней пометки, которую он носит в бумагах Пушкина — именно 25 мая (1824). В это время решение гр. Воронцова относительно поэта было уже принято. Вот почему мы полагаем, что оно состоялось совсем не вследствие письма Пушкина к правителю канцелярии наместника, а вследствие других причин, между прочим и запальчивых речей, необдуманных слов, которые письму предшествовали и от которых Александр Сергеевич не мог удержаться при первом известии о досадной экспедиции. Он заговорил тогда же о немедленной отставке своей, что равносильно было, по условиям Одесского быта, прямому вызову и оскорблению начальника края, и, конечно, скоро сделалось известно последнему. А каков был тон публичных речей Пушкина — можно уже судить по черновому письму его к тому же А.И. Казначееву, когда правитель канцелярии, тоже услыхав о плане выхода в отставку, дружески предостерегал его от последствий необдуманного шага[1]. Письмо походит на формальное объявление войны. Приводим его в переводе с французского.

«Весьма сожалею, — пишет Пушкин, — что увольнение мое причиняет вам столько забот, и искренно тронут вашим участием. Что касается до опасений за последствия, какие могут возникнуть из этого увольнении — я не могу считать их основательными. О чем мне сожалеть? Не о моей ли потерянной карьере? Но у меня было довольно времени, чтобы свыкнуться с этой идеей. Не о моем ли жалованьи? Но мои литературные занятия доставят мне гораздо более денег, чем занятия служебные. Вы мне говорите о покровительстве и дружбе — двух вещах, по моему мнению, несоединимых. Я не могу, да и не хочу напрашиваться на дружбу с гр. Воронцовым, а еще менее на его покровительство (мое уважение к этому человеку не дозволит мне унизиться пред ним). Ничто так не позорит человека, как протекция. Я имею своего рода демократические предрассудки, которые, думаю, стоят предрассудков аристократических[2]. Я жажду

[1] Пушкин находился в дружеских отношениях с семейством Казначеева, супруга которого, урожденная кн. Волконская, была женщина литературно-образованная и умная.

[2] Довольно замечательно, что Пушкин по требованиям самозащиты, pour les besoins de sa cause, как говорят французы, прикидывается здесь демократом, которым никогда не был. Собственно тут надо разуметь распрю между вельможеством и бедным, незнатным дворянством, о которой мы уже упоминали.

одного — независимости (простите мне это слово, ради самого понятия). Я надеюсь обрести ее, с помощью мужества и постоянных усилий. Вот уже я успел победить мое отвращение — писать и продавать стихи, ради насущного хлеба. Стихи, раз мною написанные, уже кажутся мне товаром, по столько-то за штуку. Не понимаю ужаса моих друзей (мне вообще не совсем ясно, что такое мои друзья). Мне только становится не в мочь зависеть от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника, мне надоело видеть, что меня, в моем отечестве, принимают хуже, чем первого пришлого пошляка из англичан (le premier galopin anglais), который приезжает к нам беспечно разматывать свое ничтожество и свое бормотанье (sa nonchalente platitude et son baragoin). Нет никакого сомнения, что гр. Воронцов, будучи умным человеком, сумеет повредить мне во мнении публики, но я оставлю его в покое наслаждаться триумфом, потому что также мало ценю общественное мнение, как и восторги наших журналистов...»

Однако же гр. Воронцов нисколько не думал о триумфе, а, напротив, думал о том, чтоб расстаться с беспокойным подчиненным, как можно мягче, благороднее и гуманнее.

Пушкин не мог получить прямо и на месте отставки, которой так добивался: он числился в м-ве иностранных дел, откуда получал и назначенное ему жалованье, а вдобавок был прислан на службу в край по именному повелению. Для принятия каких-либо мер относительно поэта, необходимо было снестись предварительно с администрацией в Петербурге. В конце марта, 23 числа 1824 года, гр. Воронцов обратился к управляющему министерством иностранных дел гр. Нессельроде, прося его доложить Государю о необходимости отозвать Пушкина из Одессы, и выставляя для этого причины, которые наименее могли повредить Пушкину во мнении правительства — именно: накопление приезжих в Одессе ко времени морских купаний, их неумеренные восхваления поэта, постоянно кружащие ему голову и мешающие его развитию. Вообще, письмо это, составленное на французском языке, по своей осторожности и деликатности рисует характер и личность начальника с весьма выгодной стороны.

Он начинал его свидетельством, что, застав уже Пушкина в Одессе, при своем прибытии в город, он с тех пор не имел причин жаловаться на него, а, напротив, обязан сказать, что замечает в нем старание показать скромность и воздержность, каких в нем, говорят, никогда не было прежде. Если теперь он ходатайствует об его отозвании, то единственно из участия к молодому человеку не без таланта и из

желания спасти его от следствий главного его порока — самолюбия. «*Здесь* есть *много людей*, — приводим собственные слова гр. Воронцова в переводе, — а с эпохой морских купаний число их еще увеличится, которые, будучи восторженными поклонниками его поэзии, стараются показать дружеское участие непомерным восхвалением его и оказывают ему через то вражескую услугу, ибо способствуют к затмению его головы и признанию себя отличным писателем, между тем, как он, в сущности, только слабый подражатель не совсем почтенного образца — Лорда Байрона (qu'il n'est encore qu'un faible imitateur d'un original trèspeu recommendable — Lord Byron) — и единственно трудом и долгим изучением истинно великих классических поэтов мог бы оплодотворить свои счастливые способности, в которых ему невозможно отказать».

Вот почему необходимо извлечь его из Одессы. Перевод снова в Кишинев к генералу Инзову, не пособил бы ничему — Пушкин все-таки остался бы в Одессе, но уже без наблюдения, да и в Кишиневе он нашел бы еще *между молодыми греками и болгарами* довольно много дурных примеров. Только в какой-либо другой губернии мог бы он найти менее опасное общество и более времени для усовершенствования своего возникающего таланта и избавиться от вредных влияний лести и от *заразительных, крайних и опасных идей*. Граф Воронцов в конце письма выражает твердую надежду, что настоящее его представление не будет принято в смысле осуждения или порицания Пушкина.

Для пояснения слов и основной мысли письма нужно сказать, что молодежь Одесского Ришельевского лицея, наезжих туземных помещиков и самого штата наместника не уступала никому в прославлении Пушкина. Много было также, как между ними, так и в самом одесском обществе, поляков, видевших в Пушкине предмет для поклонения в двойном его качестве: славного писателя и жертвы (будто бы) правительства. По случаю беспорядков в Виленском университете, возбужденных там тайным обществом «Филаретов», недавно тогда обнаруженном, предвиделось еще увеличение этого класса людей. Оно именно так и случилось. В начале 1825 г., когда Пушкина уже не было в Одессе, явились на кафедры Ришельевского лицея Мицкевич и Ежовский, высланные из Вильны и вскоре опять удаленные со своих мест за подозрительные связи с разными польскими помещиками края. Оба они в следующем году поступили на службу в Москву: Мицкевич в штат канцелярии генерал-губернатора, а Ежовский с 1826 года на кафедру греческой словесности в универ-

ситет. Наплыв иностранцев — иногда самых резких и крайних воззрений — был также не маловажен. В самом доме наместника Пушкин часто встречался, например, с доктором англичанином, по всем вероятиям, страстным поклонником Шелли, который учил поэта нашего философии атеизма и сделался невольным орудием второй его катастрофы, о чем ниже[1]. Кроме того, из писем нашего поэта видно, что вскоре ожидали прибытия в Одессу почти всего общества Раевских-Давыдовых, давшего из себя столько жертв правосудию, после подавления бунта в Петербурге и во 2-й армии. Как бы то ни было, но мягкое и благожелательное представление гр. Воронцова заставляло предвидеть для Пушкина только перевод на службу во внутренние губернии, к чему оно и было все направлено. Благодаря однако же опрометчивости самого поэта, дело это усложнилось новыми, не предвиденными обстоятельствами, и получило исход, какого никто от него не ожидал.

Вероятно еще до отправления письма гр. Воронцова в Петербург, Пушкин сообщал кому-то из приятелей своих в Москве шуточное известие о себе, в котором заключалась следующая фраза: «Ты хочешь знать, что я делаю — пишу пестрые строфы романтической поэмы и *беру* уроки чистого Афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный Афей, которого я еще встретил». К этому, мимоходом, Пушкин присоединил еще заключение: «Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастию, более всего правдоподобная». Письмо было даже и по тону совершенно пустое, нисколько не обнаруживавшее чего-либо похожего на окончательно принятое и серьезное убеждение. Оно принадлежало, видимо, к тому разряду писем, которые назначены производить шум и толки в кругу близких знакомых. Оно решило, однако же, участь Пушкина. Благодаря не совсем благоразумной гласности, которую сообщили ему приятели Пушкина и особенно покойный Александр Иванович Тургенев, как мы слышали, носившийся с ним по своим знакомым, письмо дошло до сведения администрации. В то печальное время напряженного мистического брожения, внутренняя пустота и несостоятельность записки не могли ослабить ужаса, произведенного одним внешним ее содержанием, *словами*, в ней заключающимися. Не без основания говорил впоследствии сам ее автор, что

[1] Сведение о докторе-атеисте сообщил нам почтеннейший А.И. Левшин, который прибавил, что, лет пять спустя после истории с Пушкиным, он встретил того же самого Гунчисона, в Лондоне, уже ревностным пастором англиканской церкви.

он был сослан *за две строки* вздорного письма. Эти две строки и вызвали именно то решение, которого никто не ожидал.

Отвечая на представление графа Воронцова, управляющий министерством иностранных дел, граф Нессельроде, сообщал ему по-французски от 11-го июля 1824 г., что «правительство вполне согласно с его заключениями относительно Пушкина, но, к сожалению, пришло еще к убеждению, что последний нисколько не отказался от дурных начал, ознаменовавших первое время его публичной деятельности. Доказательством тому может служить, препровождаемое у сего, письмо Пушкина, которое обратило внимание московской полиции по толкам, им возбужденным. По всем этим причинам, правительство приняло решение исключить Пушкина из списка чиновников министерства иностранных дел, с объяснением, что мера эта вызвана его беспутством (par son inconduite), а чтоб не оставить молодого человека вовсе без всякого присмотра и тем не подать ему средств свободно распространять свои губительные начала, которые под конец вызвали бы на него строжайшую кару закона, правительство повелевает, не ограничиваясь отставкой, выслать Пушкина в имение его родных, в псковскую губернию, подчинить его там надзору местных властей и приступить к исполнению этого решения немедленно, приняв на счет казны издержки его путешествия до Пскова».

Граф М. С. Воронцов получил предписание в Крыму, где путешествовал в это время и где, заболев лихорадкой, остановился, долго не являясь в Одессу. По его приказанию, правитель дел его походной канцелярии А.И. Левшин передал исполнение высочайшей воли относительно Пушкина тогдашнему градоначальнику Одессы, графу А.Д. Гурьеву.

Так кончилось последнее *годичное* пребывание Пушкина в Одессе.

30-го июля 1824 г. Пушкин уже выехал из города, получив 389 р. прогонных денег и 150 р. недоданного ему жалованья. Он обязался подпиской следовать до места назначения своего через Николаев, Елисаветград, Кременчуг, Чернигов и Витебск, нигде не останавливаясь на пути. Маршрут этот составлен был с ясной целью удалить его от Киева и тех польских и русских знакомых, каких он мог встретить в городе и его уездах. Это явствует также и из собственноручной приписки градоначальника Одессы, графа Гурьева, к его отчету о высылке Пушкина, поданному начальнику края: «маршрут его до Киева не касается». Все эти предосторожности убеждают, что

правительство уже знало о существовании заговора на юге России и о ветвях, которые он пустил в разных направлениях, и принимало в соображение, при удалении Пушкина из Одессы, его связи с лицами, сделавшимися ему более или менее подозрительными.

Пушкин ехал скоро, в точности исполняя обещания своей подписки. По донесению псковской земской полиции, 9-го августа он уже прибыл в родовое свое поместье, знаменитое Михайловское, где его ожидали близкие — отец, мать, а также брат и сестра, с которыми он был теперь столь же внезапно соединен, как внезапно разлучен за 4 года назад. Но радость свидания была теперь значительно отравлена особенностью его положения и последствиями, какие из того истекали.

VII.

МИХАЙЛОВСКОЕ.

1824 — 1826.

Пушкин в Михайловском. — Тригорское. — Попытки освободиться от ссылки. — Планы бегства за границу.

К числу *биографических предрассудков*, как бы можно было назвать некоторые предания о жизни Пушкина, распространенные его приятелями и беспрестанно повторяемые затем его биографами, следует причислить и многие сказания их о Тригорском, селе, смежном с деревней поэта. Доселе еще принято считать, что жизнь Пушкина совершенно поровну была разделена между его родимым кровом в Михайловском и обиталищем его соседок по имению, знаменитым Тригорским, так что для многих имена этих местностей слились в одно представление и отдельно друг от друга почти перестали существовать. Между тем, поводов к такому умственному слиянию двух местностей не очень много представлялось в жизни Пушкина и на деле связь между ними была гораздо более внешней, чем сколько предполагают. Дружелюбных отношений Пушкина к своим соседкам нельзя подвергать ни малейшему сомнению, но никогда Пушкин не принадлежал Тригорскому вполне какой-либо частью своего ума, своей души или нравственного существования; никто в Тригорском не обладал вполне его мыслью и сердцем. Напротив, лучшую часть самого себя Пушкин постоянно маскировал перед Тригорским, точно берег свое добро для другой арены и для другой публики.

Известной хозяйке Тригорского — столь часто упоминаемой биографами, Прасковье Александровне Осиповой, а равно и двум дочерям ее, «красавицам гор», по любимому выражению Дельвига и Языкова, и вообще всему молодому женскому поколению, по временам наезжавшему в село, не мудрено было обмануться в настоящем значении своих связей с Пушкиным. Пушкин проживал по суткам и по целым неделям в их деревянном, приземистом домике; разделял их забавы и горести, выслушивал их жалобы и даже завязывал с ними дружеские, задушевные отношения. Этой чести удостоились попеременно каждая почти из постоянных и временных обитательниц Тригорского, так как Пушкин не желал никого обделить своим вниманием, которого там искали все без исключения. Но для них это было очень серьезное дело, которому они добросовестно придавали жизненный интерес, для Пушкина это было мимолетное отдохновение, изящная забава, средство обмануть время, оставшееся от трудов, и притом такое занятие, которое может быть порвано на полдороге, без тоски и сожаления. Покамест в Тригорском размышляли о каждом его слове и движении, Пушкин скоро позабывал все, что говорил и делал там. Он думал совсем о другом и никогда не говорил о том, что думает. Настоящим центром его духовной жизни было Михайловское и одно Михайловское: там он вспоминал о привязанностях, оставленных в Одессе; там он открывал Шекспира и там предавался грусти, радости и восторгам творчества, о которых соседи Тригорского не имели и предчувствия. Он делился с ними одной самой ничтожной долей своей мысли — именно планами вырваться на свободу, покончить со своим заточением, оставляя в глубочайшей тайне всю полноту жизни, переживаемой им в уединении Михайловского. Тут был для него неиссякаемый источник мыслей, вдохновения, страстных занятий и вопросов морального свойства, а все прочее принадлежало уже к области призраков, которые он сам вызвал и лелеял для того, чтобы обстановить и скрасить внешнее свое существование. Это положение выяснится очевиднее из дальнейшего нашего рассказа, который и начнем здесь сначала.

Пушкин говорит в 8-й главе «Онегина», что он уехал из Одессы —

От оперы, от темных лож
И, слава Богу, от вельмож,

в далекий северный уезд, и прибавляет:

И был печален мой приезд!

Приезд был точно печален. После первых излияний радостной встречи, трусливому отцу Пушкина и легко воспламеняющейся его супруге сделалось страшно за самих себя и за остальных членов своей семьи при мысли, что в среде их находится опальный человек, преследуемый властями. Дурное мнение последних об этом опальном человеке принято было родителями Пушкина за указание, как следует им самим думать о своем сыне: явление не редкое в русских семьях того времени.

Вот почему они уже с некоторым ужасом смотрели на дружбу, связывавшую нашего поэта с младшим братом и сестрой, полагая, вероятно, что человек, сосланный по подозрению в атеизме, уже ни о чем другом и не может говорить с ближними, как о том же самом предмете. Все это могло бы пройти бесследно и, в комической нелепости своей, не вызвать со стороны Александра Пушкина особенно сильного протеста, но к этому присоединилась еще другая и более печальная подробность. Начальник края, маркиз Паулуччи, поручил уездному Опочецкому предводителю дворянства, г. Пещурову,— пригласить отца Пушкина, которого именовал в своей официальной бумаге по этому поводу *«одним из числа добронравнейших и честнейших людей»*, принять на себя надзор за поступками сына, обещаясь, в случае его согласия, воздержаться со своей стороны от назначения всяких других за ним наблюдателей. По словам поэта, отец его имел слабость принять это предложение, движимый, может быть, столько же страхом перед начальством, сколько и благим намерением освободить существование сына от вмешательства посторонних лиц. Поэт думал, однако же, иначе об этом предмете. Когда дошла до него весть о состоявшейся сделке, он вышел из себя, явился к Сергею Львовичу и между ними произошла неимоверная сцена, о которой мы упоминаем только потому, что она в картине нравов того времени составляет очень крупную черту и рисует домашнюю обстановку поэта чрезвычайно ярко.

Вот как жаловался Пушкин на свое деревенское положение во французском письме в Одессу, черновые отрывки которого как-то уцелели между его бумагами. Письмо писано на имя особы, которую Пушкин называет: «belle et bonne princesse». Переводим отрывки: «Ваша тихая дружба могла бы удовлетворить всякую душу, менее эгоистическую, чем моя, но и теперь, каков бы я ни был — она, дружба эта, еще утешает меня во всех моих горестях и поддерживает в виду того бешенства скуки (la rage l'ennuie), которая поедает мое глупое существование. Сбылось все, что я предвидел. Присутствие

мое в среде моего семейства удвоило мои муки. Правительство... вздумало предложить моему отцу роль своего агента в преследовании меня. Отец имел слабость принять поручение, которое во всех отношениях ставит его в ложное положение относительно меня. Меня стали попрекать ссылкой, заявлять страх, что мое несчастие вовлечет и других в погибель, подозревать, что я проповедую безбожие моей сестре, которая есть небесное создание, и брату, который очень забавен и весел. А из этого выходит, что я провожу в полях все то время, когда не лежу в постели[1]. Все, что малейшим образом напоминает мне море — производит во мне тоску, шум фонтана буквально порождает боль; мне кажется, что я стал бы плакать от бешенства при виде ясного неба. Что касается до моих соседей, я едва ознакомился с ними: я пользуюсь между них репутацией Онегина. Единственное развлечение мое составляет добрая, старая соседка, которую я часто вижу, слушая ее патриархальные разговоры, в то время как ее дочки... разыгрывают мне Россини... Лучшего положения для окончания моего романа вряд ли можно и желать, но скука — это холодная муза, и роман не подвигается. Однако же кланяюсь вам одной строфой. Покажите ее W и попросите его не судить о всем по этому образчику»... Эти строки уже дают понятие об общем характере Пушкинских домашних обстоятельств, но держатся еще далеко от сущности дела, а в одном месте и намеренно затеняют его. Соседка Пушкина совсем не была такой старой женщиной, как говорит поэт; беседы Пушкина с ней не имели ничего похожего на патриархальный характер, и дочки ее занимались не одним разыгрыванием Россини для гостя. Несравненно искреннее, ближе к делу было то русское письмо, которое поэт писал к неизвестному нам лицу в Петербург, прося у него помощи и восклицая в нелицемерном страхе: «спаси меня!» Письмо излагает подробности той сцены, о которой говорили. Ниже мы приводим отрывок из него, тоже по черновому оригиналу, а здесь позволим себе небольшое отступление.

---

[1] Письмо это, по всем вероятиям, писано позднее второй половины сентября 1821 г., потому что в это время настроение поэта чувствительно разнится с тем, которое он тут описывает, как это видно из послания его в Дерпт к студенту А.Н. Вульфу. Пушкин тогда препроводил к нему стихотворную цидулу, в которой, извещая, что вскоре ожидает брата Льва (Лайон — стихотворения) в деревню (вероятно Лев Сергеевич уезжал тогда из Михайловского в Псков для каких-либо дел) и притом с ящиком бутылок, выражает намерение посвящать дни — Тригорскому, ночи — Михайловскому, восхищаясь заранее тем, что им обоим предстоит или быть мертвецки пьяными, или смертельно влюбленными. Стихотворение помечено у Пушкина: 20-го сентября 1824 г. (См. том 7-й Сочинений Пушкина, 1857, стр. 91).

Труд наш уже давно был закончен, когда в «Русском Архиве» 1872 года, № 12, явились перебеленные подлинники тех писем Пушкина, на которые здесь ссылаемся и которые адресованы им были Жуковскому от 31-го октября и от 24-го ноября 1824. Итак, неизвестное лицо, нами поминаемое, был никто иной, как Жуковский. Несмотря на это сообщение «Русского Архива», мы оставили в нашем тексте черновые отрывки Пушкинских писем нетронутыми, во-первых, потому, что они содержат некоторые подробности, не попавшие в перебеленные их копии, а во-вторых, для того, чтоб дать случай любопытствующим читателям познакомиться со способом окончательной переправки или передачи своих заметок, какой употреблял обыкновенно поэт, приводя их в порядок. Оказывается, что он всегда сохранял основную мысль и даже тон чернового оригинала при его переработке, что дает весьма значительную ценность нашим отрывочным выпискам из его писем, цельные копии которых, может быть, никогда и не найдутся. Не менее любопытно и другое сообщение «Русского Архива» в том же №. Письма Пушкина сопровождаются там еще письмом Праск. Алекс. к Жуковскому, которая, не будучи с ним знакома лично, извещает его о том, что Пушкин с отчаяния будто бы написал письмо псковскому гражданскому губернатору Б.А. Адеркасу, прося последнего известить правительство, что он, Пушкин, предпочитает содержание в крепости или самую дальнюю ссылку своему пребыванию в Михайловском. Осипова прилагает и копию с этого письма, сообщенную ей по секрету Пушкиным, прося разумеется Жуковского предотвратить беду, которая из всего этого может произойти. Через несколько времени П.А. Осипова извещает Жуковского, что, по счастливому случаю, вмешательство его в это дело уже бесполезно: человек, которому Пушкин вручил письмо для доставления Б.А. Адеркасу, не застав его в Пскове вернулся обратно со своей посылкой, которую Пушкин уже и истребил. Все это, по нашему мнению, была просто выдумка, направленная к тому, чтобы сильнее подействовать на безгранично доброго и честного В.А. Жуковского. Мы увидим сейчас, что к таким выдумкам для облегчения своего положения Пушкин прибегал и позднее и всегда в сообществе какого-либо доверенного лица, посвященного в его тайну. На этот раз сообщником была П.А. Осипова, да она, как оказывается из этого же письма, знала и другой секрет Пушкина, о котором говорим далее.

Но обратимся к письму Пушкина.

«Посуди о моем положении дома. Приехав сюда, я был встре-

чен и обласкан..., но скоро все переменилось. Отец, испуганный моей ссылкой, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь... Вспыльчивость мешала мне с ним откровенно объясниться: я решился молчать. Он стал укорять брата... что я преподаю ему и сестре безбожие. Назначенный за мною смотреть, П... (Пещуров?)[1] осмелился предложить отцу моему распечатывать мою переписку — короче быть моим шпионом!

...Желая, наконец, вывести себя из тягостного положения, прихожу к отцу моему и прошу позволения говорить искренно — более ни ,слова... Отец рассердился, закричал — я сел верхом и уехал. Отец призвал моего брата и велел ему не знаться avec ce monstre, ce fils denaturé (с этим чудовищем, с этим сыном погибели). Голова моя закипела, когда я узнал это. Иду к отцу, нахожу его в спальне и высказываю все, что было у меня на сердце целых три месяца; кончаю тем: *«что говорю ему в последний раз»*. Отец мой, воспользовавшись отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я *его бил!* потом, что *хотел бить*... Перед тобою я не оправдываюсь, но чего же он хочет для меня с уголовным обвинением?... Рудников Сибирских и вечного моего бесчестия... Спаси меня!»

Ужас Пушкина был основателен. Вспышка его отца могла кончиться на этот раз иначе, чем вспышки его обыкновенно кончались — т.е. спокойным выжиданием со стороны домашних исхода пароксизма. Если бы *добронравнейший* Сергей Львович, поддерживаемый супругой, под влиянием которой состоял всю жизнь, вздумал повести обвинение далее стен своего дома, сообщить жалобе своей некоторую гласность, то последствия для нашего поэта могли быть неисчислимы. Последний основательно говорил, обращаясь опять к тому же неизвестному лицу: «Я сослан за одну строчку глупого письма. Если присоединится к этому обвинение в том, что я поднял руку на отца — посуди, как там обрадуются. Шутка эта пахнет каторгой». И он был прав. Дело, однако же, до этого не дошло. Мы слышали, что Жуковский горячо принялся за утушение семейной распри этой и вразумление старого Пушкина, который, уже при первом известии о жалобах на него сына, отступился от своих слов и сказал: «Экой дурак! В чем оправдывается! еще бы он прибил меня!»

---

[1] Уездный предводитель дворянства, по самому званию своему, носил обязанность наблюдать за образом жизни и поведением дворян своего уезда, а потому правительство, возлагая, по закону, труд смотреть за Пушкиным на г. Пещурова не делало тем из него ни особого агента, ни притеснителя ex officio, на что он, по нравственному характеру своему, и не был способен.

Но зачем же было тогда обвинять в несбыточном злодействе, замечает Пушкин, передавая эти слова другу. Мать, Надежда Осиповна, по его же замечанию, прибегла, для оправдания вспыльчивости супруга, к каламбуру: «да, он, Сергей Львович, *убит его словами!*» Впрочем, советы ли Жуковского, или урок, полученный от сына, подействовали на старого Пушкина, только уехав вскоре со всем семейством из Михайловского в Петербург, он оттуда в ноябре 1824 г. послал благовидный по форме, но решительный отказ от возложенной на него обязанности отеческого наблюдения за сыном. Ссора между отцом и сыном длилась, однако же, вплоть до 1828 г., когда они примирились, благодаря усилиям Дельвига и особенно тому обстоятельству, что Пушкин был уже освобожден от правительственного надзора и ласково принят, незадолго перед тем, молодым Государем. Во второй раз (первый случай относится к 1815 г.) Сергей Львович искал сойтись с сыном, озадаченный его успехами и приобретенным положением между людьми.

Александр Сергеевич Пушкин остался теперь один в Михайловском на всю зиму 1824—25 г. Политическое наблюдение за ним перешло опять к Опочецкому предводителю, а для религиозного его руководства назначен был настоятель соседнего Святогорского монастыря (в 3 верстах от Михайловского), простой, добрый, и, как описывает его наружность И.И. Пущин, несколько рыжеватый и малорослый монах, который от времени до времени и навещал поэта в деревне. Так как ясного разграничения между обязанностями светского и духовного надзора не могло быть, то настоятель почел за нужное явиться в Михайловское, заслышав, в январе 1825 г., что к изгнаннику Михайловского неожиданно приехал из Петербурга какой-то неизвестный посетитель. Посетитель этот был покойный декабрист И.И. Пущин.

Он нашел своего лицейского приятеля в единственной жилой комнате старого деревянного дома, бывшего некогда палатами Елизаветинского ссыльного, удалого Осипа Абрамовича Ганибала. Одна комната с ширмами служила Пушкину спальней, столовой и рабочим кабинетом; все другие оставались запертыми и нетоплеными. Только на другой половине,— через сенной коридор, разделявший дом,— И.И. Пущин видел еще жилую, просторную комнату, царство няни поэта — Арины Родионовны, доброй старушки, охотно придерживавшейся рюмочки, как известно, которая тут учила и муштровала толпу швей и ткачих, засаженных за эти работы старыми господами. И.И. Пущин пробыл менее суток в Михайловском, слушал чте-

ние комедии «Горе от ума», им же и привезенной, из уст Пушкина, который сопровождал чтение это своими меткими и умными замечаниями, и по прежнему старался, насколько мог, отстранить попытки хозяина узнать связи, соединяющие гостя с тайными обществами — вопрос, с которым Пушкин приставал к Пущину почти всякий раз, как встречал его. Между прочим, наезжий гость сообщает и очень любопытную черту. Видимо тревожимый бесом политического тщеславия, Пушкин выпытывал у него, что думают о нем, Пушкине, в Петербурге в смысле политического деятеля, много ли говорят об истории майора Раевского и друзьях последнего, какие имена особенно поминают при том. Впрочем, И.И. Пущин нашел большую перемену в друге: он стал серьезнее, проще, рассудительнее. Выпив последнюю бутылку шампанского, опять из своего собственного запаса, провозгласив сообща множество тостов, а в том числе и тост: *«за нее»* (т.е. за особу, оставленную поэтом в Одессе, по всем вероятиям), Пушкин расстался со своим другом в 3 часа утра — (он прибыл накануне, тоже утром, в 7 часов) и расстался, как известно, навсегда... Монах провел только несколько минут в их обществе и не помешал беседе.

Несколько прежде того (в октябре 1824 г.), Пушкин официально был вызван в Псков для исполнения опущенной им формальности, которую ему, однако же, строго рекомендовали в Одессе — именно для представления своей особы местному губернскому начальству. Осталось предание в этом городе, что он тогда же являлся на базары и в частные дома, к изумлению обывателей, в *мужицком* костюме. Может быть, он изучал народный говор и склад мыслей, так как это теперь становилось ему необходимо узнать поближе из чисто-художественных целей, а, может быть, в основании этого переодевания лежала просто шутка, от которой он никогда не умел воздержаться. Так, в годовщину смерти Байрона, он отправился в Святогорский монастырь к своему духовному опекуну и отслужил там соборне панихиду по новопреставившемся боярине Георгие. Этот анекдот, слышанный нами от сестры поэта, наводит на мысль: не из таких ли и подобных тому шалостей Пушкина-сына сложилось у родителя его воззрение на него, как на отъявленного безбожника?

Пушкин не мог долго оставаться в Пскове без особого дозволения. Притом же в Михайловском было у него теперь весьма серьезное дело, и недалеко от Михайловского занимательное общество. О последнем и скажем здесь несколько слов.

Прасковья Александровна Осипова, по первому мужу — Вульф,

владелица Тригорского (села, получившего свое имя от гористого берега той же речки Сороти, на которой стояло и Михайловское — Зуево, по народному прозванию), была женщина очень стойкого нрава и характера, но Пушкин имел на нее почти безграничное влияние. Все его слова и желания исполнялись ею свято. Он платил за это благорасположение постоянным выражением безграничной дружбы, посвящал ей стихотворения, даже выражал намерение купить около Тригорского клочок земли и поселиться на нем (Михайловское принадлежало еще тогда отцу поэта), что не мешало ему (как видели) говорить о ней, как о «une bonne vielle voisine» и прибавлять: «j'écoute ses conversations patriarchales». Прасковья Александровна свободно изъяснялась и писала по-французски и старалась дополнить свое образование, как могла, училась вместе с двумя старшими дочерьми своими у их учителей, много читала, любила заниматься серьезными вопросами и жадно искала бесед, в которых они подымались. Все это, однако же, не могло, конечно, доставить ей прочных основ для мысли, так как дело тут шло не о прямом воспитании последней, а только о сообщении ей необходимой выправки и развязности. Прасковья Александровна вполне удовлетворилась достигнутыми ею результатами. Через Пушкина она познакомилась с цветом тогдашней литературы: Языковым, Дельвигом, наконец с Жуковским, Плетневым, Вяземским, т.е. со всей литературной знатью того времени. Сам Пушкин беспрестанно толковал ей о роли, которую она играет в его существовании; друзья его, в благодарность за радушное отношение к нашему поэту, тоже не скупились на похвалы и величания. Самолюбие Прасковьи Александровны было удовлетворено всем этим с излишком; но оно было удовлетворено насчет всех других качеств, ибо, в чаду похвал и лести высокое мнение о себе достигло у нее крайних размеров, настойчивость и упорство в предприятиях и решениях, весьма мало обдуманных, достигли своих пределов, и последние годы ее долгой жизни показали очевидно, что любезность, светскость и начитанность сами по себе еще не могут упрочить для женщины, даже с большими природными способностями, счастья и покоя на земле...

Не одна хозяйка Тригорского, искренно привязанная к Пушкину, следила за его жизнью. С живописной площадки одного из горных выступов, на котором расположено было поместье, много глаз еще устремлялось на дорогу в Михайловское, видную с этого пункта — и много сердец билось трепетно, когда по ней, огибая извивы Сороти, показывался Пушкин или пешком в шляпе с большими поля-

ми и с толстой палкой в руке, или верхом на аргамаке, а то и просто на крестьянской лошаденке. Пророчество Пушкина о трех соснах, которые он должен был миновать по этой дороге, вступая на землю Тригорского, не сбылось: они не разрослись в рощу, а напротив, одна из них была срублена каким-то старостой и очень просто пошла на мельницу, да той же участи, вероятно, уже подверглись, или скоро подвергнутся и остальные, по приговору какого-либо другого старосты. И они правы. Что за надобность им беречь предметы, связанные с литературными и семейными воспоминаниями совершенно чуждыми им, когда теми же предметами не очень-то дорожат и люди, заинтересованные в их сохранении по родству и воспитанию.

Две старшие дочери г-жи Осиповой от первого мужа, Анна и Евпраксия Николаевны Вульф, составляли два противоположных типа, отражение которых в Татьяне и Ольге «Онегина» не подлежит сомнению, хотя последние уже не носят на себе, по действию творческой силы, ни малейшего признака портретов с натуры, а возведены в общие типы русских женщин той эпохи. По отношению к Пушкину, Анна Николаевна представляла, как и Татьяна по отношению к Онегину, полное самоотвержение и привязанность, которые ни от чего устать и ослабеть не могли, между тем, как сестра ее, воздушная Евпраксия, как отзывался о ней сам поэт[1] — представляла совсем другой тип. Она пользовалась жизнью очень просто, по-видимому ничего не искала в ней, кроме минутных удовольствий, и постоянно отворачивалась от романтических ухаживаний за собой и комплиментов, словно ждала чего-либо более серьезного и дельного от судьбы. Многие называли «кокетством» все эти приемы, но кокетство или нет — манера, во всяком случае, была замечательно-умного свойства. Вышло то, что обыкновенно выходит в таких случаях: на долю энтузиазма и самоотвержения пришлись суровые уроки, часто злое, отталкивающее слово, которые только изредка выкупались счастливыми минутами доверия и признательности, между тем, как равнодушию оставалась лучшая доля постоянного внимания, неизменной ласки, тонкого и льстивого ухаживания[2]. Одно время полагали, что

[1] Впоследствии она вышла замуж за генерала Вревского и сделалась матерью почтенного и многочисленного семейства.

[2] Евпраксия Николаевна (в семействе ее просто звали «Зина») была душой веселого общества, собиравшегося по временам в Тригорском: она играла перед ним арии Россини, мастерски варила жженку и являлась первая во всех предприятиях по части удовольствий. Сестра ее, Анна Николаевна, умершая девушкой в начале 60-х годов, отличалась быстротой и находчивостью своих ответов, что было не легкое дело в виду Михайловского изгнанника, отличавшегося еще в разговорах прямотой и смелостью выражения.

Пушкин неравнодушен к Евпраксии Николаевне. Как мало горечи осталось затем в воспоминаниях обделенной сестры от этой эпохи, свидетельствуют ее слова в письме к супруге Александра Сергеевича, уже в 1831 г. Когда та, говоря о старых знакомых своего мужа, шутливо намекнула на бывшую привязанность поэта к «полувоздушной» деве гор, Евпраксии Николаевне — вот что отвечала ей Анна Николаевна: «Как вздумалось вам, пишет она по-французски, ревновать мою сестру, дорогой друг мой? Если бы даже муж ваш и действительно любил сестру, как вам угодно непременно думать — настоящая минута не смывает ли все прошлое, которое теперь становится тенью, вызываемой одним воображением и оставляющей после себя менее следов, чем сон. Но вы — вы владеете действительностью и все будущее перед вами». Деликатнее отклонить вопрос и выразить свое собственное чувство — кажется, трудно.

Красивый персонал Тригорского не ограничивался еще этими двумя лицами. Кроме двух малолетних сестер их, носивших уже фамилию Осипова[1], тут были еще многочисленные кузины: кузина, например, Анна Ивановна (впоследствии Трувелер), которую звали Netty в семействе, кузина Анна Петровна Керн, урожденная Полторацкая, которая оставила «Записки» о своем знакомстве с Пушкиным (она выдана была замуж за старого генерала Керна, едва вышедши из детства), наконец, падчерица Прасковьи Александровны — Александра Ивановна Осипова (впоследствии Беклешова) — Алина по семейному прозванию, та самая, которая возбуждала поздние восторги Сергея Львовича, лет 15 спустя, да обратила на себя внимание и сына его гораздо прежде. Вообще, все они, вместе с неупомянутой еще кузиной Вельяшевой, почтены были Пушкиным стихотворными изъяснениями, похвалами, признаниями и проч. Пусть же теперь читатель представит себе деревянный, длинный одноэтажный дом, наполненный всей этой молодежью, весь праздный шум, говор, смех, гремевший в нем круглый день от утра до ночи, и все маленькие интриги, всю борьбу молодых страстей, кипевших в нем без устали. Пушкин был перенесен из азиатского разврата Кишинева прямо в русскую помещичью жизнь, в наш обычный тогда дворянский сельский быт, который он так превосходно изображал потом. Он был теперь светилом, вокруг которого вращалась вся эта

[1] Марья и Екатерина Ивановны Осиповы тогда еще учились, и Пушкин помогал им иногда делать переводы с французского и на французский язык, за что и пользовался их постоянным благорасположением.

жизнь, и потешался ею, оставаясь постоянно зрителем и наблюдателем ее, даже и тогда, когда все думали, что он без оглядки плывет вместе с нею. С усталой головой являлся он в Тригорское и оставался там по целым суткам и более, приводя тотчас в движение весь этот мир. Дело не обходилось, конечно, при этом без крошечных семейных драм, без ревности, катастроф и проч. Так, в июне 1825 года, Прасковья Александровна увозит красивейшую из своих племянниц, Анну Петровну Керн, в Ригу, к мужу и даже становится, как мы слышали, косвенной причиной окончательного разрыва между супругами; так, по возвращении из Риги в сентябре 1825 г., она опять уезжает в другое свое поместье, известное «Маленники», Тверской губернии, и увозит с собою старшую дочь, с трудом отрываясь сама и отрывая ее от любимых мест.. Впрочем, отсутствие ее во второй раз продолжалось не более месяца. Пушкин остается хладнокровным зрителем этих скоропроходящих бурь, спокойно и даже насмешливо отвечает на жалобы их жертв, и, как ни в чем не бывало, погружается в свои занятия, соображения, чтение. Настоящая его мысль постоянно живет не в Тригорском, а где-то в другом — далеком, недавно покинутом крае. Получение письма из Одессы всегда становится событием в его уединенном Михайловском. После XXXII-й строфы 3-й главы «Онегина» он делает приписку: «5-го сентября 1824 года — Une l(lettre) de ***». Сестра поэта, О.С. Павлищева, говорила нам, что когда приходило из Одессы письмо с печатью, изукрашенною точно такими же кабалистическими знаками, какие находились и на перстне ее брата — последний запирался в своей комнате, никуда не выходил и никого не принимал к себе. Памятником его благоговейного настроения при таких случаях осталось в его произведениях стихотворение «Сожженное письмо», от 1825 г. Вот где была настоящая мысль Пушкина.

Старший сын Прасковьи Александровны Осиповой, дерптский студент А.Н. Вульф, лучше понимал Александра Сергеевича, чем его семья[1]. Вульф приезжал почти на все вакации зимой и летом в деревню и тотчас же посвящен был Пушкиным в свои замыслы.

Студент тотчас же узнал, например, что заветной мечтой поэта, с

[1] Пушкин очень любил Алексея Николаевича Вульфа. К нему именно относятся эти слова в записках Пушкина о лице, которое впервые упомянуло при нем о холере. «В конце 1826 года я часто виделся с одним дерптским студентом. Он много знал, чему научаются в университетах, между тем как мы с вами выучились танцевать. Разговор его был прост и важен. Его занимали такие предметы, о которых я и не помышлял» и проч.

самого приезда его в Михайловское, сделалось одно: бежать от заточения деревенского, а если нужно, то и из России. Помыслы о бегстве за границу начались у Пушкина еще в Одессе, как хорошо свидетельствует известное стихотворение «К морю» (1824 г.), где содержится ясное признание, что одна только страсть, приковав автора к берегу, помешала устроить ему *«поэтический побег»* и тем ответить на соблазнительные призывы *«свободной стихии»*. Кроме того, в стихотворении выпущена еще целая строфа, содержавшая вопрос к океану: «куда и на какую жизнь он вынес бы его»... А затем, еще в одном письме к брату, Льву Сергеевичу, весной 1824 г., из Одессы, мы находим следующие недвусмысленные строки после известия, что поэт два раза просил о заграничном отпуске с юга России и оба раза не получил дозволения: «Осталось одно — взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. Святая Русь мне становится не в терпеж».

Теперь Пушкин существовал далеко от моря, но замысел не был покинут. Поэт наш видимо приходил в ужас от мысли провести лучшие годы своей молодости в захолустье, не имея ближайшего сообщения с публикой и лишенный возможности жить многосторонней жизнью толпы, светского общества, литературного мира. Он волновался, как не прирученный зверь в клетке, при этой мысли, и был вполне несчастным человеком со всеми развлечениями своими в Тригорском, со всеми шумными беседами друзей и даже со всеми творческими минутами, уединенными занятиями и вдохновениями Михайловского. Безумные проекты писем к императору Александру (о которых уже намекали), сочинение каких-то фантастических диалогов, где он сам становится допросчиком и судьей самого же себя — свидетельствуют о том достаточно. Он просто страдал в деревне боязнью за свою участь, отсутствием, так сказать, воздуха, простора, арены, которые так необходимы были для его страстной природы. Эти страдания не имели уже характера выдумки, как те воображаемые физические страдания, происходящие будто бы от аневризма в ноге, на которые он ссылался, когда в том же 1825 г. решился формально просить дозволения ехать в столицы или за границу, для поправления своего здоровья. Он препоручил ходатайство по этой просьбе своей матери в Петербурге и был недоволен, когда Надежда Осиповна заменила его деловую просьбу каким-то патетическим письмом к императору Александру, которым, по мнению Пушкина, ослаблялся суровый и более красноречивый факт его страдальческого положения. Результатом ее домогательств было, однако

же, дозволение Пушкину жить и лечиться в Пскове с тем, чтобы губернатор имел наблюдение за поведением и *разговорами* больного. Это не изменяло дела и нисколько не отвечало его намерениям.

И ранее этого прошения и одновременно с ним, Пушкин не переставал строить планы бегства из России. Надо сказать, что слухи о намерении его бежать за границу были уже сильно распространены в кругу его друзей и в литературных кругах того времени. Он сам писал в Петербург, почти тотчас по прибытии в Михайловское и жалуясь на семейные свои неприятности: «Стыжусь, что доселе не имею духа исполнить пророческую весть, разнесшуюся недавно обо мне. Глупо час от часу вязнуть в жизненной грязи» — (из чернового письма). Через несколько времени, в декабре 1824 г. он писал опять к брату, как будто уже решившись оправдать теперь общую молву и только боясь, чтобы она не помешала исполнению плана: «Мне дьявольски не нравятся петербургские толки о моем побеге. Зачем мне бежать? Здесь так хорошо! Когда ты будешь у меня, то станем трактовать о *банкире, о переписке, о месте пребывания Чаадаева* — вот пункты, о которых можешь уже осведомиться[1]». Пункты, подлежавшие разъяснению брата, были ясны: устройство правильной пересылки денег и корреспонденции за границу, вместе с означением места, куда они должны были отправляться — т.е., в тогдашнюю резиденцию Чаадаева. (Чаадаев путешествовал по Европе уже со времени истории Семеновского полка, которая была косвенной причиной его выхода в отставку из военной службы). Намерение избавиться от ссылки, хотя бы и с пожертвованием родины, не ослабело после решения водворить его в Пскове, а, напротив, еще возросло; но предстоял трудный вопрос: как выбраться из отечества[2]?

[1] Пушкин ждал к Рождеству 1824 г. брата своего из Петербурга, а также и Вульфа из Дерпта, предполагая устроить с ними совещание по предмету своего иллегального вояжа; оттого он и задавал первому вопросные пункты, но Пушкин-брат, кажется, не приехал на конгресс.

[2] П.А. Осипова находилась тоже в заговоре, но она испугалась секрета, ей сообщенного, и извещала о нем Жуковского в том же письме, о котором мы уже говорили и которое приведено «Русским Архивом» 1872 г., № 12. Вот это место ее письма: «Если вы думаете, что *воздух и солнце Франции, или близ лежащих к ней, через Альпы, земель* полезен для русских орлов, — и оный не будет вреден *нашему*, то пускай останется то, что теперь написала, вечной тайной; когда же вы другого мнения, то подумайте, как предупредить отлет». К этому месту почтенный издатель «Русского Архива» П.И. Бартенев, делает одно из тех обычных ему примечаний, которые имеют в виду направить суждения читателя о любопытных документах, передаваемых журналом, на ложную дорогу. Примечание, несмотря на ясность при-

Студент А.Н. Вульф, сделавшийся поверенным Пушкина в его замыслах об эмиграции, сам собирался за границу; он предлагал Пушкину увезти его с собой, под видом слуги. Но не говоря уже о том, что подобный рискованный шаг со стороны молодого человека грозил испортить ему жизнь на долгое время, сама поездка Вульфа за границу была еще приятной мечтой и зависела от множества домашних и посторонних обстоятельств. Пришлось устранить предложение, и тогда оба заговорщика наши остановились на мысли заинтересовать в деле освобождения Пушкина почтенного и известного дерптского профессора хирургии, И.Ф. Мойера, мужа тогда уже умершей, обожаемой племянницы Жуковского, Марии Андреевны Протасовой. Мойер был человек и высоких нравственных качеств, и замечательно-разнообразного образования, что позволяло ему слыть в одно время знаменитостью по своей части и оказываться страстным любителем музыки и поэзии. Он пользовался неограниченным доверием В.А. Жуковского и имел влияние на самого начальника края, маркиза Паулуччи, глубоко уважавшего его характер, искусство и познания. Дело состояло в том, чтоб согласить Мойера взять на себя ходатайство перед правительством о присылке к нему Пушкина в Дерпт, как интересного и опасного больного, а впоследствии, может быть, предпринять и защиту его, если Пушкину удастся пробраться из Дерпта за границу, под тем же предлогом безнадежного состояния своего здоровья.

Конечно, дело было не легкое, потому что в основании его лежал все-таки подлог (Пушкин физически ничем не страдал), на который и следовало согласить прямого и честного профессора, но друзья наши не остановились перед этим затруднением. Они положили учредить между собою символическую переписку, основанием которой должна была служить тема о судьбе коляски, будто бы взятой Вульфом для переезда. Положено было так: в случае согласия Мойера замолвить слово перед маркизом Паулуччи о Пушкине, студент Вульф должен был уведомить Михайловского изгнанника, по почте, о своем намерении выслать безотлагательно коляску обратно в Псков. Наоборот, если бы Вульф заявил решимость удержать ее в Дерпте, это означало бы, что успех порученного ему дела оказывается сомнительным. Подобные же предосторожности от почтовых не-

---

веденного места, гласит: «После наводнения 7-го ноября». Какую связь могло иметь намерение михайловского орла отлететь к Альпам с наводнением 7-го ноября, которого вовсе и не было в Михайловском?

скромностей приняты были друзьями и для переписки по другому поручению, тоже возложенному на А.Н. Вульфа.

Город Дерпт стоял тогда если не на единственном, то на кратчайшем тракте за границу, излюбленном всеми нашими туристами, которые тогда преимущественно состояли из высших классов общества. При трудностях тогдашнего передвижения, путешественники эти часто подолгу останавливались в этом городе, сообщая знакомым и свежие столичные новости.

На Вульфа возложена была обязанность следить за всем, что относилось в этих новостях до Пушкина собственно, и передавать их по принадлежности поэту, приняв за условную тему корреспонденции проект издания полных сочинений Пушкина в Дерпте[1]. По этому плану, слова главного цензора выражали бы настроение высшей правительственной власти относительно Михайловского пленника; заметки первого, второго и т.д. наборщика — мнения того или другого из ее агентов и проч. Намеки на этот план, сохранившиеся в переписке Пушкина, привели одного из биографов его, почтенного М.И. Семевского, к ошибочному заключению, что Пушкин имел действительно намерение заняться печатанием сборника своих стихотворений в Дерпте.

История с коляской кончилась, однако же, довольно комически. Одновременно с задачей, возложенной на Вульфа, Пушкин и со своей стороны работал, чтобы вызвать через родных содействие Жуковского, который, по своему влиянию на Мойера, должен был предрасположить профессора к принятию на себя роли ходатая за бедного больного, изнывающего в деревне. С этой целью Пушкин усилил жалобы перед родными и знакомыми на свои немощи, на отчаянное свое положение и проч., выставляя, конечно, прежде всего необходимость личного совещания со знаменитым хирургом в Дерпте. Лев Сергеевич Пушкин, посвященный в секрет брата, спокойно исполнял его поручения в Петербурге, из которых некоторые были довольно странного характера, особенно для аневритика и расслабленного. Так, поэт просил о высылке ему вина, рому, сахару, сыру лимбургского, и что всего забавнее — требовал книгу о верховой езде: «хочу жеребцов выезжать,— говорит он брату,— вольное подражание Алфиери и Байрону».

После того, как состоялось распоряжение о предоставлении Пуш-

[1] Все это, впрочем, особенно касалось Жуковского, который, по слухам, должен был проехать через Дерпт на пути своем в Кенигсберг.

кину гор. Пскова для пользования, родные, устрашенные предшествующей перепиской с изгнанником, сами писали и, вероятно, склонили также писать к Мойеру и Жуковского в том смысле, чтобы почтенный доктор пожертвовал частью своего времени и прибыл сам в Псков, для осмотра страдальца и производства над ним операции, о необходимости которой они тоже наслышались много от Пушкина. Кажется, что благородный Мойер, ничего не подозревавший в этом деле, склонился на их просьбу, потому что родные сделали уже распоряжение, прямо из Петербурга, о высылке настоящей, не символической коляски из Пскова в Дерпт, за Мойером. Когда Пушкин услыхал об этом обороте дела, он ужаснулся: одна мысль, что профессор, оторванный от своих занятий, может сделать довольно утомительный переезд для того, чтобы увидать перед собою совершенно здорового человека — должна была привести его в страх. «Друзья мои и родители вечно со мной проказят», — восклицает он, обращаясь к Вульфу, и затем уже умоляет приятеля, возвратить поскорее назад коляску, отговорить Мойера во что бы то ни стало от поездки в Псков и покинуть весь план, с таким трудом ими выработанный, посылая при этом к черту и все комиссии по изданию его сочинений с их цензорами, наборщиками и проч. Все это происходило в сентябре и октябре 1825 г.

План действительно канул в воду, но, думаем, стоил упоминовения здесь, как подтверждение мучительных усилий освободиться от плена, волновавших Пушкина с самого прибытия в Михайловское, да и как свидетельство, что могло приходить в голову людям, предоставленным беспомощному своему горю и уединению.

Возвратимся назад после этого эпизода. По весне 1825 г., Пушкин ждал к себе гостей — Дельвига, Плетнева, Баратынского, Кюхельбекера (Анахарсиса Клоца, как он его называл), Языкова, и некоторых других, но на зов его явился только один барон Дельвиг[1]. Пушкин ввел его тотчас же в общество Тригорского, но был недоволен его равнодушным поведением в среде красавиц, которые напрасно истощали перед ним свои природные дары и любезность. Барон предпочитал, по замечанию Пушкина, лежать дома, на постели, как колода, декламировать стихи, беседовать о литературе, между

[1] К.Ф. Рылеев также обещал Пушкину за себя и за А. Бестужева посетить его летом 1825 г., но ни тот, ни другой не могли исполнить обещания. Есть еще у Пушкина и у комментаторов его сочинений указания о неожиданном посещении Михайловского, осенью того же года, князем А.М. Горчаковым, но нам ничего неизвестно об этом свидании обоих лицеистов.

тем, как сам хозяин возбуждал у соседок целые бури ревности и соперничества, кончившиеся отъездом их из Тригорского. Может быть, сдержанность барона происходила и оттого, что он задумал уже тогда жениться, и в августе 1825, если не ошибаемся, обвенчался с дочерью одного из Арзамасцев, С.М. Салтыковой. По выезде Дельвига и отбытии вслед затем соседей Тригорского, сперва в Ригу, а потом в деревню Тверской губернии (как уже сказали), Пушкин оставался один на лето и часть осени 1825 г. в своем Михайловском домике, и не скучал. Много занятий нашел он для себя и много им тогда было сделано.

VIII.

Шекспиризм. — 14-е декабря 1825 г. — Возвращение из ссылки и появление в Москве.

«Я не читал ни Кальдерона, ни Вегу», — пишет Пушкин в 1825 г. из Михайловского к старому своему другу, — как мы догадываемся, — Николаю Николаевичу Раевскому-младшему: — «но что за человек Шекспир? Я не могу придти в себя от изумления! Как ничтожен перед ним Байрон-трагик». Пушкин сообщает далее, что пишет трагедию, в которой творческими силами являются у него попеременно то размышление, то вдохновение, и под конец восклицает:

«Я знаю, что силы мои развились совершенно, и чувствую, что могу творить.»

Письмо осталось в бумагах автора и заменено было другим, совершенно однородным с ним, уже в 1829 году, да сомнительно, чтоб и это последнее отдано было на почту. Пушкин писал более про себя, хотя и мог выбрать для этого воображаемую, фиктивную беседу с живым лицом; примеров такого самообмана у него довольно много. Догадка наша, что Пушкин имел в виду, при составлении их, Н.Н. Раевского, основывается на следующих выпущенных строках в первом отрывке от 1825 года, имеющем и биографическое значение: «Où etêsvous? J'ai vu par les gazettes que vous aviez changé de régiment: je souhaite que cela vous amuse. Que fait votre frère? Vous ne m'en dites rien dans votre lettre du 13 mai. Se traite-t-il?

Voilà ce qui me regarde: mes amis se sont donné beaucoup de mouvement pour obtenir une permission d'aller me faire traiter; ma

mère a ecrit à S.M. et là-dessus on m'a accordé la permission d'aller à Pskow et d'y demeurer même, mais je n'en ferai rien: je n'y ferai qu'une course de quelque jours. En attendant je suis très isolé: la seule voisine que j'allais voir est parti pour Riga et je n'ai à la lettre d'autre compagnie que ma vielle et ma tragédie; celle-ci avance et j'en suis content».

«Где вы? По газетам я узнал, что вы перешли в другой полк: желаю, чтобы это могло забавлять вас. Что делается с вашим братом? Вы не упоминаете о нем в вашем письме от 13 мая. Лечится ли он?

Вот что касается до меня. Друзья мои хлопотали изо всех сил, чтобы добыть мне позволение полечиться на свободе; мать моя писала к Е. В., и затем я получил разрешение ехать в Псков и даже жить там, но я не намерен воспользоваться им: пробуду в Пскове только несколько дней. Покамест я живу один-одинешенек. Единственная соседка, посещаемая мною, уехала в Ригу, и я буквально остался в сообществе с моей старой няней и с моей трагедией: последняя подвигается, и я ею доволен». Затем у Пушкина идет рассуждение о тщете попыток к достижению полного правдоподобия в драме, рассуждение, буквально повторенное письмом 1829 года.

Вот что принесло Пушкину уединение Михайловского.

Нужно ли распространяться о том, что поклонение Шекспиру, окончательно потушившее старое служение Байрону, уже сильно поколебленное и до того, — было шагом вперед для Пушкина? Прежде всего новое направление значительно укоротило дорогу поэту для сближения его с русским народным духом, с приемами народного творчества и мышления. Трудно себе и представить, чтобы при изучении Шекспира можно было пропустить без внимания значение национальных элементов вообще, как воспитателей фантазии и мысли поэта. Пушкин, по смыслу своих писем, остановился в Шекспире прежде всего на ясности его психического анализа, позволявшей великому драматургу находить во всякое время настоящее, приличное положение и слово для своих лиц; но остановиться на одной только этой чисто-художественной оценке шекспировского влияния на мысль Пушкина мы уже со своей стороны не можем. В значении биографического факта она недостаточна и должна быть еще дополнена указанием тех сторон шекспировского гения, которые окончательно переработали самого Пушкина, как человека, и дали ему новое созерцание жизни и своего призвания в ней. Кажется, Пушкин прежде всего остановился в созданиях Шекспира на «Хрониках».

Прилежное изучение многих их приемов, хода действия и лирического языка некоторых их монологов отразилось и у Пушкина в «Комедии о Царе Борисе». Но это еще было простое заимствование форм, а главный, существенный результат шекспировского влияния состоял в том, что оно привело Пушкина к объективно-историческому способу понимания и представления эпох, людей и событий. Шекспир действительно приводил к такому созерцанию жизненных явлений своей известной, философской, гуманной справедливостью ко всем лицам своих трагедий, без исключения, что не мешало ему выражать явные симпатии к одним, строгий приговор и осуждения для других. Непогрешимость его психического анализа характеров зиждется именно на этом качестве философско-исторической справедливости. Пушкин до того полно усвоил себе главную черту британского гения, при изучении его творений, что с тех пор она уже стала окрашивать все суждения нашего поэта о явлениях не только прошлого, но и настоящего времени. Перемена в образе мыслей обнажилась у него очень скоро. Так, через несколько месяцев после 14-го декабря он приглашает своих друзей смотреть на все дело без суеверия и пристрастия, а глазами Шекспира, т.е., взвешивая и оценивая причины, давшие событию его настоящую форму. Достаточно известно, что историческое созерцание, раз усвоенное человеком, изменяет все привычки его мысли и даже нравственный его характер: человек становится не так жесток к своим противникам, не так доверчив к господствующим мнениям, получая взамен этого способность обсуждать и поверять самые любимые, самые заветные из собственных своих убеждений. Все это именно и произошло теперь с Пушкиным, но, прибавим, отличало его только в нормальном состоянии духа, потому что с каждым порывом страстей (а таких у него было много) настроение опрокидывалось и уносилось вихрем на более или менее продолжительное время. Пушкин был бессилен перед собственной своей огненной природой. Эти случайные переходы в крайность и увлечение именно и мешали современникам Пушкина уразуметь правильно основной характер его настроения в данную минуту. Со всем тем, даже и принимая в соображение это обстоятельство, нельзя не удивляться крайне малой догадке близких ему людей относительно хода умственной его жизни. Они и теперь еще не видели в нем перемены, и продолжали считать его по прежнему одним из застрельщиков в авангарде современного радикализма, когда он уже отдался историческо-критическому направлению, каково оно там ни было, по своей сущности. Продолжению

сумерек вокруг действительного образа мыслей Пушкина много способствовал тот род застенчивости, который был свойственен поэту, и не допускал его грубо обнаруживать себя перед людьми, не понимавшими намеков и признаков. И не то, чтоб Пушкин сделался равнодушен к вопросам своего времени и удалился от них на высоту педантического толкования их, без желания участвовать в их разрешении: он только освободился от либеральной фразы, от стереотипных приемов, так сказать, вольнодумства и от слепого подчинения однообразным идеям и формам, в которые оно облекалось тогда. Не за долго перед тем, в 1824 году, он написал два известных своих послания: «К цензору» (Тимковскому). Оба этих знаменитых послания не могут быть названы сатирами в настоящем смысле слова: это скорее эпические произведения, исполненные размышлений и указаний; но они, конечно, должны считаться образцовыми произведениями нашей литературы, столько же по своей эпиграмматической соли, сколько и еще более по общественному, гражданскому смыслу своему, по обдуманной защите интересов слова, мысли и разума, в приложении их к тогдашнему русскому быту. Таков был его либерализм теперь[1].

Шекспир послужил Пушкину и другой стороной своего обширного гения, о которой уже говорили: он открыл ему новые пути и новые материалы для авторского его призвания. Соединение в одном лице Шекспира такого изобилия фантазии, такой массы художнических идей, образов и представлений, такого неисчерпаемого богатства поэзии и изобретательности, было бы просто непонятным делом, если бы загадка не пояснялась участием народного творчества в его созданиях. Из народных легенд, сказаний, дум, из истори-

[1] В эпоху наибольшего распространения Шекспира между нами, именно в тридцатых годах, дело не обошлось без того, чтобы результаты чтения и изучения его творений не приняли у нас особенной русской окраски, не проявлялись в особенной, оригинальной форме, как то было с Байроном, романтизмом, да и со многими последующими европейскими произведениями и началами на нашей почве. Так, Шекспир породил у нас толпу мудрых политиков без всякой подготовки к своему званию, вереницы глубокомысленных государственных умов, без соприкосновения с какой-либо областью публичной деятельности, и множество великих психологов, без научного образования. Но благодетельная сторона Шекспировского влияния была важнее комической стороны, с ней связанной. Достаточно вспомнить, что Шекспир дал возможность целому поколению чувствовать себя мыслящим существом, способным понимать исторические задачи и важнейшие условия человеческой жизни в то самое время, когда поколение это, на реальной почве, не имело никакого общественного занятия и никакого голоса, даже по самым ничтожным предметам гражданского быта.

ческих преданий европейского и английского мира черпал он полной рукой не только сюжеты для драм, но и многие частные подробности при осуществлении их. Громадное количество практической народной мудрости, житейских заметок и характеристик, накопленное собственной его страной, вошло также в их состав. Известно, что Шекспир был последним результатом целой школы драматургов, двигавшихся в среде народных масс и передавших их поверья и рассказы, вместе с типами, которые там же встречаются. Шекспир прибавил к этому материалу свое гениальное понимание характеров, да сообщил ему такую художественную обработку, которая, обнаружив всю поэзию народного творчества, угадала и его философско-историческое значение. Все это было откровением для Пушкина и вырвало из души его то восклицание, которое раздается в одном из упомянутых французских его писем: «Quel homme ce Schakspire! Je n'en reviens pas!» С тех пор Пушкин бросился на собирание русских песен, пословиц, на изучение русской истории, и так как силы его находились почти в лихорадочном напряжении от сближения с Шекспиром, то он тотчас же и предался мысли осуществить все, им навеянное и указанное, и в течении одного 1825 года написал свою «Комедию о Царе Борисе», которой уже прощался со всеми старыми своими направлениями и которой начинал совершенно новый период своего развития[1].

После всего сказанного довольно трудно представить себе, что биографы Пушкина, — впрочем, со слов самого поэта нашего, только понятых ими чересчур узко, — заставляют участвовать в развитии Пушкина и даже направлять это развитие няню его, Арину Родионовну. Это одно из тех недоразумений, которые отходят в область «биографических предрассудков», о которых говорили. По смыслу этого предания выходит так, как будто добрая и ограниченная старушка, Арина Родионовна, играла нечто в роде роли бессознательного, мистического деятеля в жизни своего питомца и открывала ему

[1] При появлении «Бориса Годунова» в 1831, один из самых замечательных умов эпохи, Н.А. Полевой, не угадал значения хроники. Он упрекал Пушкина за то, что рабски следуя рассказу Карамзина, он лишил себя возможности дать новый смысл событиям и новое толкование характеров того времени. Но Пушкин искал совсем не разрешения исторических загадок, которые и теперь еще остаются загадками, а думал только о воспроизведении духа польской и русской национальности, в их понимании жизни и в их исторических ролях, что и успел сделать вполне. Каждая из национальностей выражается у него типами, обнаруживающими народный склад мыслей, культуру, быт и характер своего отечества. О поэтической атмосфере, в которой они двигаются, и говорить нечего.

14 Зак. 1295

область народного творчества, благодаря своему знанию русских сказок, песен и преданий. Арина Родионовна была действительно верным и усердным посредником в ознакомлении Пушкина с некоторыми примерами и мотивами народной фантазии, но, конечно, не ее слабая и немощная рука указала поэту ту дорогу, на которой он теперь очутился: тут были указатели другого рода и порядка.

Свидетелем добросовестных усилий Пушкина попробовать себя на строго-исторической почве и усвоить себе приемы исторической критики служат его «Заметки на Анналы Тацита», опубликованные нашими «Материалами» в 1855 году. Замечания Пушкина на летопись Тацита не все попали в издание его «Сочинений» 1855 г., а потому — и в другие. Приводим здесь, кстати, отрывки, не удостоившиеся чести появиться на свет вместе с другими, хотя по форме и содержанию они были совершенно однородны с ними. Вот по порядку три начальных отрывка, выброшенные при печатании:

I.

«Тиберий был в Иллирии, когда получил известие о болезни престарелого Августа. Неизвестно — застал ли он его в живых. Первое его злодеяние (замечает Тацит) было умерщвление Постума Агриппы, внука Августова. Если убийство... может быть извинено государственной необходимостью, то Тиберий прав. Агриппа — родной внук Августа, имел право на власть и нравился черни — необычайною силою, дерзостью и даже *простотою ума*. Таковые лица всегда могут иметь большое число приверженцев или сделаться орудием хитрого мятежника. Неизвестно, — говорит Тацит, — Тиберий или его мать Ливия убийство сие приказали. Вероятно, Ливия, но и Тиберий не пощадил бы его».

II.

«Когда Сенат просил дозволения нести тело Августа на место сожжения, Тиберий позволил сие с *насмешливой скромностью*. Тиберий никогда не мешал изъявлению подлости, хотя и притворялся иногда, будто бы негодовал на оную. Вначале же решительный во всех своих действиях, кажется он запутанным и скрытным в одних отношениях своих к Сенату».

III.

«Август вторично испрашивал для Тиберия трибунство. Точно ли *в насмешку и для невыгодного сравнения с самим собою* хвалил он наружность своего пасынка и наследника? В своем завещании, *из единой ли зависти* советовал не распространять пределов империи, простиравшейся тогда от — до — ?»

[Затем уже 3 печатных отрывка за № I, II, III должны значиться под цифрами IV, V, VI, после которых следуют VII и VIII отрывки, тоже пропущенные в издании 1855 г.].

VII.

«Тиберий отказывается от управления государства, но изъявляет готовность принять на себя ту часть оного, которую на него возложат.

Сквозь раболепства Галла Азиния видит он его гордость и предприимчивость, негодует на Скавра, нападает на Готория, который подвергается опасности быть убиту воинами. *Они* спасены просьбами Августа и Ливии.

Тиберий не допускает, чтобы Ливия имела много почестей и влияния. *Не из зависти*, как думает Тацит: он не увеличивает, вопреки мнению Сената, число преторов, установленное Августом».

VIII.

«Первое действие Тибериевой власти есть уничтожение народных собраний на Марсовом поле — следственно и совершенное уничтожение республики. Народ ропщет, Сенат охотно соглашается. (Тень правления перенесена в Сенат)».

В заключение следует сказать, что последний отрывок, приведенный изданием 1855 г. за № IV и заключающий анекдот о некоем Вибии Серене, имеет в рукописи следующее продолжение: «Чем более читаю Тацита, тем более мирюсь с Тиберием. Он был один из величайших государственных умов древности». По поводу того же отрывка необходимо еще прибавить, что он не составляет прямо часть Пушкинского разбора Тацитовской летописи, а взят изданием 1855 г., по аналогии содержания, из письма Пушкина к Б. Дельвигу от 23-го июля 1825 г. Анекдотом о Вибии Серене Пушкин намекал другу на собственное свое положение в деревне, и выражал желание, чтобы к нему применили приговор Тиберия, который воспротивился реше-

нию сослать Серена на необитаемый остров, говоря, что кому дарована жизнь, того не следует лишать способов к поддержанию жизни.

Но вот как теперь читал Пушкин вообще. Вместе с тем он не покидал ни одной из прежних своих работ. Какая-то горячечная деятельность овладела им в Михайловском, словно внутренний голос говорил ему, что как ни лживы покамест все его жалобы на свои болезни, жизнь ему отмерена судьбой все-таки короткая и надо торопиться. Так, дописав «Цыган», создав своего «Бориса», он уже набросал к 1-му январю 1825 г., приблизительно, 4 главы «Онегина», как видно из пометки его под XXIII строфой этой четвертой главы: «31-го декабря 1824 г. — 1-го января 1825 г.». Да и одно ли это делал он? К эпохе Михайловской жизни относятся и его превосходные переводы и выдержки из Алкорана. Он был до того увлечен гиперболической поэзией произведения, что почел за долг распространять имя Магомета, как гениального художника, в литературных кругах, и К.Ф. Рылеев не даром, умоляя Пушкина покинуть рабское служение Байрону (подобные мольбы раздавались еще в 1825 г.), употребил в письме своем фразу: «хоть ради твоего любезного Магомета». Собственно в этом выборе оригинала для самостоятельного воспроизведения его у Пушкина была еще другая причина, кроме той, которую он выставлял на вид. Алкоран служил Пушкину только знаменем, под которым он проводил свое собственное религиозное чувство. Оставляя в стороне законодательную часть мусульманского кодекса, Пушкин употребил в дело только символику его и религиозный пафос Востока, отвечавший тем родникам чувства и мысли, которые существовали в самой душе нашего поэта, тем еще не тронутым религиозным струнам его собственного сердца и его поэзии, которые могли теперь впервые свободно и безбоязненно зазвучать под прикрытием смутного (для русской публики) имени Магомета. Это видно даже по своеобычным прибавкам, которые в этих весьма свободных стихотворениях нисколько не вызваны подлинником. Осенью 1825 г. Пушкин написал пьесу, «19-е октября 1825 г.» («Роняет лес багряный свой убор»), — стройное, в высшей степени задушевное и трогательное воспоминание Лицея, за которое Дельвиг благодарил его довольно оригинальным образом из Петербурга: «За 19-е октября — писал он в январе 1826 г. — благодарю тебя с лицейскими скотами-братцами вместе». Через два месяца после стихотворения разразилась катастрофа 14-го декабря 1825 г., но об этом после.

В том же году явились у Пушкина новые хлопоты по первому

изданию сборника своих стихотворений. Он и прежде думал об этом, даже заранее продавал право на будущую книжку своих стихотворений нескольким лицам вдруг, но только с падением враждебного ему министерства князя А.Н. Голицына, в 1824 году, открылась возможность приступить к делу серьезно. Надо было воспользоваться теперь присутствием во главе министерства народного просвещения А.С. Шишкова. Как еще ни относился враждебно суровый старец к современной ему литературе, называя ее сплошь «легкомысленной», как много ни обманул он ожиданий относительно новых цензурных порядков, все же он был сам литератор, не мог ужасаться выражений, в роде «небесных глаз» и т.п., и понял бы жалобу на безграмотное и бесцельное извращение смысла и стиха в произведении, что так часто и развязно делали люди прежней администрации. Притом же известно было, что он публично выражал негодование на тупоту и чудовищность цензурных помарок[1] и приводил невероятные примеры их даже официально[2]. Все это заставило Пушкина стремительно ухватиться за мысль издать теперь же первое собрание своих стихотворений, так как откладывать далее план печатания — значило бы упустить счастливую минуту, которая для него настала. Разделавшись кое-как с прежними покупщиками стихотворений, Пушкин приступил теперь к изданию, и с необычайной энергией, обратился за помощью к брату и друзьям в Петербурге, указывал им распределение пьес, порядок, которому они должны следовать, присылал исправления и дополнения, и заботился издали даже о внешнем виде издания, о типографских его подробностях. Первое собра-

[1] На основании именно этих соображений, Пушкин почтил А.С. Шишкова в послании «К цензору» великолепным стихом: «Сей старец дорог нам» и проч., и упрекал еще А. Бестужева, зачем он не упомянул в своем «Обозрении» о счастливой перемене в министерстве, говоря: «Ты умел в 1822 году жаловаться на туманы нашей словесности, а нынешний год и спасибо не сказал старику Шишкову. Кому же, как не ему, обязаны нашим оживлением?» Это было писано в 1824 г.

[2] См. «Русский Архив» 1865, стр. 1353. В своем голосе по делу о профессорах с.-петербургского университета 1822 г., Шишков, требуя бдительной цензуры по всем отраслям ученой и литературной деятельности, говорит, что цензура должна быть ни слабая, ни строгая (ибо *строгая не дает говорить ни уму, ни правде*), и притом *разумеющая силу языка*. Тут же приводит он и примеры цензорского неразумения в этом смысле. Один цензор в стихе: «О, дай мне, друг, дай крылья серафима» — вычеркнул слово «серафима». Это все равно, что не допускать в печати выражения: «какой ангел! Какой у него ангельский нрав!» Другой цензор представил пример, еще несравненно сего чуднейший, говорит Шишков. В стихах: «Что в мире мне, где все на миг, где смерть и рок цари?» цензор вычеркнул слово *рок*, а все остальное оставил по прежнему. Вышла нелепость и притом крайне неблаговидная.

ние его стихотворений действительно и появилось в 1826 г., но ему еще предшествовала начальная глава «Онегина». И то и другое издание все еще не обошлись без цензурных затруднений и хлопот, но, по крайней мере, они могли явиться на свет все-таки цельнее и свободнее, чем за год или полтора года тому назад.

Кстати, еще одно слово о переписке Пушкина из деревни. Не подлежит сомнению, как уже было сказано, что она составляет просто литературную драгоценность, объясняя отношения писателей той эпохи между собою и вопросы, их занимавшие. Но у ней есть и еще одно достоинство: она рисует нам самый образ Пушкина в изящном, нравственно-привлекательном виде. Тому, конечно, много способствует ее язык: это постоянно один и тот же блеск молодого, свежего, живого и замечательно основательного ума, проявляющийся в бесчисленных оттенках выражения. О главных мотивах, которые она разрабатывает, мы уже говорили прежде. Существенную ее часть, как известно, составляют прения с А. Бестужевым по поводу его «взглядов» на литературу, изложенных в «Полярн. Звездах». Но и кроме своего содержания переписка эта еще крайне поучительна в другом смысле: в ней нет ни малейшего признака какого-либо напряжения, не чувствуется ни малейшей капли того отшельнического яда, который обыкновенно накопляется в душе гонимых или оскорбляемых людей; напротив, все письма светлы, благородны, доброжелательны, даже когда Пушкин сердится или выговаривает друзьям и брату за их вины перед ним или перед публикой. Богиня добродушного веселья была ему знакома, конечно, не менее другой воспетой им богини, своей музы. Они обе посещали его даже в минуту горя, тревог и сомнений. Действие переписки на читателя неотразимо, какое бы мнение ни составил он заранее о характере ее автора: необычайная, безыскусственная простота всех чувств, замечательная деликатность,— смеем так выразиться,— сердца, при оригинальности самых поворотов мысли и всех суждений, приковывают читателя к этой переписке невольно и выносят перед ним облик Пушкина в самом благоприятном свете.

Занятия Пушкина в деревне еще не ограничивались созданием образцовых произведений, обширным чтением, сбором этнографических материалов и перепиской с друзьями. Он тогда же начал составлять записки своей жизни, употребляя для этого, как уведомлял брата в октябре 1824, свое дообеденное время и подтверждая ему еще раз в ноябре, что продолжает свои «Записки». Так шло дело до декабря 1825 г.; но от этого годичного беспрерывного труда

осталось только несколько отрывков, да довольно значительное количество сырых, необработанных материалов. Пушкин уничтожил всю свою работу в 1825 г., как сам говорит в пропущенном месте своих печатных «Записок», составляющих бедный, уцелевший их обломок. «В конце 1825 года,— говорит он там,— при открытии несчастного заговора, я принужден был сжечь записки». Затем он уже несколько раз возвращался к идее начать вновь летопись своего времени, а именно в 1831 году, когда жил в Царском Селе — в эту тяжелую для России годину польского бунта и повсеместной холеры, и вторично, в 1833 году, когда он уже находился в центре и круговороте петербургского большого света. Оба раза дело ограничилось немногими заметками: большая часть тех, которые принадлежат к первой из этих попыток, сообщена была нами в 1859 году известному библиографу Е.Я., вместе с другими выдержками из бумаг Пушкина, который и напечатал документы эти с собственными своими пояснениями в «Библиографических Записках» 1859 года, № 5 и 6. О второй попытке возобновления «Записок» мы можем только сказать, на основании верных источников, что Пушкин вел журнал или дневник семейных и городских происшествий с ноября 1833 по февраль 1835 г. Мы позволяем себе думать также, что недаром Пушкин сберегал в своих бумагах и записных тетрадях такой богатый автобиографический материал, такую громаду писем, заметок, документов всякого рода и проч.

Пушкин не отступал до самой смерти своей от намерения представить картину того мира, в котором жил и вращался, и потому сохранял тщательно все, даже незначительные, источники для будущего своего труда; но труд, разрушенный в самом начале, так сказать, при положении первых камней, уже не давался ему более в руки. Не трудно понять, какой памятник оставил бы после себя поэт наш, если бы успел извлечь из своего архива материалов полные, цельные записки своей жизни; но и в уничтожении той части их, которая была уже составлена им в 1825 г., русская литература понесла невознаградимую утрату. При гениальном способе Пушкина передавать выражение лиц и физиономию событий немногими родовыми их чертами, и проводить эти черты глубоким неизгладимым резцом — публика имела бы такую картину одной из замечательнейших эпох русской жизни, которая, может быть, помогла бы уразумению нашей домашней истории начала столетия лучше многих трактатов о ней. Если Томас Мур говорил об уничтоженных им «Записках Байрона», что по жгучести и занимательности содержания они

дали бы много бессонных ночей образованным людям всей Европы и склонили бы много голов к своим страницам — то подобную же роль, вероятно, играли бы у нас и цельные «Записки» Пушкина, если бы существовали. Выразив это сожаление, мы уже спешим к тому, что осталось от поэта, а осталось, к счастью, довольно много для уразумения этого многообразного и в высшей степени замечательного типа.

Так работал Пушкин в Михайловском. Между тем жизнь со всеми своими заботами, планами и волнениями текла обычной чередой. В октябре 1825 г. собралось снова общество в Тригорском и возобновились прежние сношения между его населением и отшельником Михайловского. Казалось, все так будет идти, как шло доселе, и эта мысль, как знаем, не давала покоя Пушкину; но в конце следующего ноября получено было внезапно известие о кончине императора Александра I-го. Вслед за этой вестью получена была на берегах Сороти еще другая и столь же важная весть, которая уже непосредственно связывалась со всеми долгими думами Пушкина о своем освобождении. Ему показалось, на первых порах, что освобождение это является к нему негаданно-нежданно с такой стороны, откуда он всего менее предвидел его появление.

Вот как передает М.И. Семевский, в своих описаниях Тригорского, со слов М.И. Осиповой — еще ребенка в 1825 г., — впечатление, произведенное на Пушкина известием о 14 декабря 1825 г.

Пушкин находился в Тригорском, когда дворовый человек владелицы, посланный с комиссиями в Петербург, вернулся оттуда с известием, что там бунт, дороги перехвачены войсками, и он сам едва пробрался между ними на почтовых. Пушкин страшно побледнел, услыхав новость, досидел кое-как вечер и уехал в Михайловское.

Можно себе представить мысли, которые должны были волновать его в эту ночь. Нет ничего невероятного, что главной и господствующей из них была мысль, что он должен самолично встретить политический переворот, дарящий ему так внезапно полную свободу, и принять участие, по крайней мере, в его дальнейшей судьбе, если уже он не мог участвовать в его подготовлении. Ему казалось совершенно необходимым явиться поскорее в среду новых людей, конечно, нуждающихся теперь в пособниках и советниках... Как бы то ни было, но ранним утром следующего дня Пушкин уже выехал из Михайловского по направлению к Петербургу, а потом, не доехав до первой станции, вернулся обратно в деревню. Что же такое случилось? Предание говорит, согласно уверениям самого поэта, что ре-

шимость его поколебалась, благодаря дурным приметам, в которые он веровал. При выезде из Михайловского именно, он встретил попа, а затем, когда он выбрался в поле, какой-то зловещий заяц трижды перебежал ему дорогу. Поэтическое изъяснение! Но приметы приметами, а известная осмотрительность Пушкина, наступавшая у него почасту тотчас же за первым увлечением, играла тут тоже немаловажную роль. Она-то, вероятно, и повернула его назад, внушив ему мысль подождать более подробных известий об исходе петербургского дела. Известия не замедлили явиться и были такого свойства и содержания, что Пушкин на время замолк и притих в Михайловском.

Серьезная сторона петербургского дела многих поразила изумлением. Не один Пушкин думал тогда, что все брожение умов и все затеи тайных обществ принадлежат к числу обычных элементов образованной жизни, которую они украшают, сообщая ей движение, занимательность и разнообразие. Самые предполагаемые цели этого брожения должны были осуществиться, по мнению многих дилетантов заговора, легко, сами собою, с течением времени, не очень нарушая ход жизни и не разбивая в прах тысячи отдельных существований. Но когда долгое волнение разрешилось явным восстанием, и когда вслед за ним унесена была целиком от современников добрая доля всего молодого их поколения, Пушкин, естественно пришел в ужас. Не говоря уже о том, что он бросил в огонь свои «Записки», как знаем, но он понизил голос, и, не изменяясь внутренне, ибо далеко уже не был прежним революционером, стал искать тонов и мотивов речи, наиболее подходящих к духу и настроению времени: «Милый барон! — писал он Дельвигу, — услыхав о начавшихся арестах и о разборе преступников, вы обо мне беспокоитесь и напрасно. Я человек мирный. Но я беспокоюсь — и дай Бог, чтоб было понапрасну! Мне сказывали, что А. Раевский под арестом[1]. Не сомневаюсь в его политической безвинности, но он болен ногами и сырость казематов будет для него смертельна. Узнай, где он, и успокой меня. Прощай, мой милый друг». Много лиц и семейств писали тогда на Руси подобные письма и задавали такие же беспокойные вопросы своим знакомым. Вопрос Пушкина имеет еще и то значение для нас, что показывает, как первой мыслью поэта, после известия о петербургском погроме, была старая знакомая ему «*Каменка*» и ее общество. К

---

[1] Арестован был брат его, Ник. Ник. Раевский, но и он, после откровенного объяснения своих отношений к заговору, вскоре был освобожден.

счастью, ни один из Раевских не был причастен заговору, но много других членов их семейства, как сказали уже, подпали следствию и осуждению. Между тем, круг арестов все более и более расширялся, захватывая большинство его знакомых. Каждый день приносил известия, часто самые неожиданные, об аресте лиц, всего менее подозревавшихся кем-либо в дерзких замыслах против государства. Мало-по-малу вокруг Пушкина начинало образовываться нечто похожее на пустоту, которая является в среде товарищей после жаркого дела. Несколько разрозненных и чудом уцелевших личностей поглощено было теперь мыслью о спасении самих себя в общем крушении их дружины. То же приходилось теперь делать и Пушкину. С каждым днем становилось все яснее, что единственный способ выйти на свободу, которой Пушкин так страстно домогался, состоял в том, чтоб обратиться за нею к новому правительству, не имевшему таких поводов сердиться и преследовать его, как прежнее. Пушкин не был виновен перед ним ни в каком посягательстве на его права, ни в каком сопротивлении его намерениям, и ждал только, чтобы благоприятное политическое состояние страны, обрисовавшись вполне, позволило новой власти снисходительнее смотреть на ошибки и проступки прошлого времени. В начале 1826 года, Пушкин уже пишет Дельвигу следующее любопытное письмо, видимо составленное и начисто перебеленное так, чтобы можно было его показать и постороннему лицу, которое приняло бы к сердцу его содержание. Вот оно: «Насилу ты мне написал и то без толку, душа моя. Вообрази что я в глуши ровно ничего не знаю; переписка моя отовсюду прекратилась, а ты пишешь мне, как будто вчера мы целый день были вместе и наговорились досыта. Конечно, я ни в чем не замешан и если правительству досуг подумать обо мне, то оно в том легко удостоверится. Но просить мне как-то совестно, особливо ныне; образ мыслей моих известен. Гонимый 6-ть лет сряду замаранный по службе выключкою, сосланный в глухую деревню за две строчки перехваченного письма, я, конечно, не мог доброжелательствовать покойному царю, хотя и отдавал полную справедливость истинным его достоинствам; но никогда я не проповедовал ни возмущения, ни революции. Напротив. Класс писателей, как заметил Alfieri, более склонен к умозрению, нежели к деятельности. И если 14-е декабря доказало у нас иное, то на это есть особая причина. Как бы то ни было, я желал бы *вполне* и *искренно*[1] помириться с правительством и, конечно, это ни от кого, кро-

[1] Слова подчеркнуты автором.

ме него, не зависит. В этом желании более благоразумия, нежели гордости с моей стороны.

С нетерпением ожидаю решения участи несчастных и обнародования заговора. Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего Царя. Не будем ни суеверны, ни односторонни, как французские трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира. Прощай, душа моя».

Вот при каких случаях Шекспир являлся Пушкину, как мы сказали, прибежищем для мысли и опорой, на которой она могла остановиться и собраться с силами.

Дельвиг, Жуковский, родные и многочисленные благожелатели поэта не оставили указаний Пушкина без внимания. Мысль о возможности добыть поэту столь желанную свободу легальным путем стала между ними общим верованием и непоколебимой надеждой. Прошло, однако же, добрых семь или восемь месяцев, прежде чем освобождение явилось к Пушкину и притом в особенной, совсем неожиданной форме. Из Петербурга сообщены были Пушкину те правильные, формальные пути, которые ведут к нему и уклонение от которых может поставить на карту все предприятие. Пушкин исполнил программу друзей в точности.

Когда наступила надлежащая минута, Александр Сергеевич представил псковскому гражданскому губернатору барону фон-Адеркасу прошение на Высочайшее имя, все писанное им собственной рукой (на простой бумаге) и буквально гласившее так:

«Всемилостивейший Государь!

«В 1824 году, имев несчастие заслужить гнев покойного Императора легкомысленным суждением касательно Афеизма, изложенными в одном письме, я был выключен из службы и сослан в деревню, где и нахожусь под надзором губернского начальства.

Ныне с надеждой на великодушие Вашего Императорского Величества, с истинным раскаянием и с твердым намерением не противоречить моими мнениями общепринятому порядку (в чем и готов обязаться подпиской и честным словом), решился я прибегнуть к Вашему Императорскому Величеству со всеподданнейшею своею просьбою:

Здоровье мое, расстроенное в первой молодости, и род аневризма давно уже требуют постоянного лечения, в чем и представляю

свидетельство медиков: осмеливаюсь всеподданнейше просить позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург или в чужие края.

Всемилостивейший Государь,
Ваше Императорское Величество
верноподданный
Александр Пушкин».

К прошению были приложены два документа, из коих один, тоже писанный рукой Пушкина, содержит обязательство: «Я нижеподписавшийся обязуюсь впредь ни к каким тайным обществам под каким бы они именем ни существовали, не принадлежать; свидетельствую при сем, что я ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу *и никогда не знал о них.* 10-го класса Александр Пушкин. 11-го мая 1826 года».

Второй документ был формальное медицинское свидетельство Псковской врачебной управы, на 3-х рублевом гербовом листе, от 19 июля 1826 года и за № 426[1]. В этом свидетельстве ученая коллегия гор. Пскова говорила, что, по предложению гражданского губернатора за № 5497, ею освидетельствован был коллежский секретарь А.С. Пушкин и «оказалось, что он действительно имеет на нижних конечностях, а в особенности на правой голени повсеместное расширение крововозвратных жил (Varicositas totius cruris dextri), от чего г. коллежский секретарь Пушкин затруднен в движении вообще»[2].

Пустив, таким образом, в ход правильно оформованную просьбу, Пушкин предоставил судьбе довершить остальное; но уже одна решимость его на этот шаг имела вероятно необычайное значение в глазах его друзей и покровителей, ибо внушало им самые розовые надежды. Дельвиг, например, узнав, что Пушкин составил просьбу, пророчески писал уже, от 1 июня 1826 г., в Тригорское к г-же Осиповой: «Пушкина верно пустят на все четыре стороны, но надо сперва кончиться суду». Действительно, до окончания суда над декабристами не возможно было ожидать никакого рода амнистий, которые, по слухам, должны были состояться только в день коронования покой-

[1] Всего вероятнее, что освидетельствование Пушкина врачами происходило тоже в мае 1826 г. и только свидетельство управы о том запоздало одним месяцем.

[2] По числу, которым помечен этот документ, можно заключить, что и просьба на Высочайшее имя пошла тоже в июле, хотя, как мы думаем, составлена опять Пушкиным в мае месяце. Наша копия с нее не имеет числовой пометки.

ного Государя. Можно полагать, что к этому светлому и радостному дню торжества и помилования Пушкин старался пригнать и свою просьбу.

Несмотря, однако же, на философское созерцание дел, усвоенное Пушкиным, он болезненно вздрогнул, когда страшный меч правосудия упал на голову пяти заговорщиков в Петербурге. Спустя 11 дней после казни их, Пушкин делает заметку на одном стихотворении: «Услыхал о смерти Р. П. М. К. Б. — 24» (июля), а в другом месте эти же инициалы сопровождаются припиской: «видел во сне». Но трагедия и должна была кончиться трагически.

Между тем лето 1826 г. сделалось для обитателей Тригорского и Зуева (Михайловское) непрерывным рядом праздников, гуляний, шумных бесед, поэтических и дружеских излияний, благодаря тому, что в среде их находился Н.М. Языков, привезенный, наконец, из Дерпта А.Н. Вульфом. Более двух лет его звали и ожидали в Михайловском, и только в 1826 г. он сдался на просьбы Пушкина и приглашения Прасковьи Осиповны. Языков исполнен был почти религиозного благоговейного чувства к нашему поэту, для которого не находил достаточно песен и восторгов на своей лире — и оно понятно. Соединение в одном лице простоты обращения с даром угадывать людей и ценить их верно по душевным признакам, полное отсутствие чего-либо похожего на мелочное тщеславие при постоянных проблесках гениального таланта и ума — все это должно было поразить воображение пылкого, еще не установившегося студента, которого жизнь и поэзия слагались преимущественно из одних порывов. Пушкин чрезвычайно высоко ценил поэтический дар Языкова. Он был прельщен виртуозностью, так сказать, его стиха, ни у кого не достигавшего, ни прежде, ни после, таких мастерских, поражающих и ослепляющих образов, хотя запас поэтических мотивов был у него крайне однообразен и скуден. Две эти противоположные натуры сошлись на почве Тригорского и Зуева весьма близко, и так очаровательны были берега Сороти, сени и рощи обоих селений в прекрасное лето 1826 года, так грациозно и весело встречало друзей молодое женское население первого, так вдохновенны и поэтичны были ночи и долгие дни, проведенные ими вместе, что Языков до гроба считал эту эпоху своей жизни лучшим ее мгновением.

Покуда друзья наслаждались в Опочецком уезде, дело Пушкина шло своим порядком. Псковский гражданский губернатор барон фон-Адеркас препроводил просьбу его к эстляндскому генерал-губернатору, маркизу Паулуччи, в ведении которого состояла и Псков-

ская губерния, присоединенная в прошлое царствование к его генерал-губернаторству, из видов распространенная на нее благодеяний крестьянского освобождения, не совершившегося, однако же, даже и на известный балтийский манер. В бумагах Пушкина, очень хорошо узнавшего впоследствии, по-видимому, все меры и соображения, к которым он подавал повод, находится копия с официального письма маркиза Паулуччи к графу К.В. Нессельроде от 30-го июля 1826 г, и за № 922. Извещая гр. Нессельроде о получении просьбы А.С. Пушкина с известными приложениями, маркиз Паулуччи прибавляет от себя следующее: «Усматривая из представленных ко мне ведомостей о состоящих под надзором полиции, проживающих во вверенных главному управлению моему губерниях, что помянутый Пушкин ведет себя хорошо, я побуждаюсь в уважение приносимого им раскаяния и *обязательства никогда не противоречить своим мнением общепринятому порядку*, препроводить при сем означенное прошение с приложениями к вашему сиятельству, покорнейше вас, милостивый государь мой, прося повергнуть оное на всемилостивейшее Его Императорского Величества воззрение, полагая *мнением не позволять Пушкину выезда за границу*, и о последующем почтить меня уведомлением»[1]

Благоприятный отзыв графа Паулуччи доказывает, во-первых, что псковское губернское начальство, надзору которого был поручен наш поэт, исполняло свои обязанности весьма гуманно, а во-вторых, что к его честному образу действий и свидетельству присоединилось, может быть, еще и влияние таких людей, как доктор Мойер, Жуковский и другие. Впрочем, благоприятный отзыв о настроении и поведении сосланного мог быть получен еще и с другой стороны. По многим признакам можно заключить, что Пушкину было не безызвестно о посылке из Петербурга особенного агента, еще в начале 1826 г., и задолго до вышеприведенной просьбы, с поручением объехать несколько западных губерний для узнания местных злоупотреблений и, при проезде через Псков, собрать точные и положительные сведения о самом поэте, что, по связям последнего со многими декабристами, было тогда мерой, входившей в общий порядок начатого следствия над заговорщиками. Вероятно, указания агента не противоречили тому, что говорил сам Пушкин о себе и, таким образом, двойное свидетельство правительственных лиц, удовлетво-

[1] Мы нашли подчеркнутые нами слова такими же подчеркнутыми и в бумаге, но не знаем, кем сделаны были эти отметки.

рив все требования осторожности, порешило участь нашего пленника.

Прошение Пушкина лежало без движения в Москве, куда переехал двор, до дня коронования. Через несколько дней после этого события, именно 28-го августа, состоялась резолюция, записанная начальником главного штаба Е. И. В., бароном Дибичем, так: «Высочайше повелено Пушкина призвать сюда. Для сопровождения его командировать фельдъегеря. Пушкину дозволяется ехать в своем экипаже свободно, под надзором фельдъегеря. Пушкину прибыть прямо ко мне. Писать о сем псковскому гражданскому губернатору. 28-е августа». В псковском губернском архиве и в бумагах Пушкина сохранилось отношение генерала Дибича к начальнику губернии от 31-го августа, № 1432, в котором генерал, повторяя буквально слова резолюции, прибавляет только: «по прибытии же в Москву имеет (Пушкин) явиться прямо к дежурному генералу главного штаба Его Императорского Величества»[1]. В том же архиве существует и ответ начальника губернии барона фон-Адеркаса генералу барону Дибичу, от 4-го сентября 1826 г., №188, из которого оказывается, что вечером того же 4-го числа, сентября месяца, Пушкин уже выехал из Пскова, согласно предписанию. Быстрота исполнения, по истине, изумляющая. Потребовалось только 4 дня на проезд 700 верст фельдъегерю из Москвы до Пскова по нешоссейной дороге, на посылку оттуда за Пушкиным в Михайловское, на провоз его в губернский город, по скверному проселку, без лошадей и, наконец, на отправление его по назначению.

Естественно, что акт помилования, налетевший на поэта с такой неожиданностью и быстротою, должен был поразить ужасом и недоумением все сердца в Михайловском и Тригорском, как несколько позднее поразил он и родных Александра Сергеевича, в Петербурге. Всем им показалось, что поэт исчезал из среды живых людей в то время, когда он возвращался в их среду. Г. Семевский, в своих рассказах о Тригорском («Сиб. Ведомости» 1866 г., № 139—168), при-

[1] Вот копия с этой бумаги начальника главного штаба:

«*Секретно.* Господину псковскому гражданскому губернатору.

По Высочайшему Государя Императору повелению, последовавшему по всеподданнейшей просьбе, прошу покорнейше ваше превосходительство, находящемуся во вверенной вами губернии чиновнику 10-го класса, Александру Пушкину, позволить отправиться сюда при посылаемом вместе с сим нарочным фельдъегерем. Г. Пушкин может ехать в своем экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря; по прибытии же в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу главного штаба Его Императорского Величества»

водит довольно любопытную черту из этого эпизода, характеризующего эпоху.

Одна из нынешних обитательниц Тригорского, о которой уже упоминали, рассказывала ему, что 1-го или 2-го сентября (должно быть, 3-го сентября), Пушкин много и весело гулял у них и часу в 11-м вечера отправился домой, в Михайловское, провожаемый до дороги, по обыкновению, молодым женским поколением семьи. На другой день оно было разбужено еще до рассвета прибытием в Тригорское няни Пушкина, Арины Родионовны, с поразительным известием. Какой-то человек, не то солдат, не то офицер (это был посланный Адеркаса), наскакавший в Михайловское под вечер, увез с собой Пушкина тотчас, как он явился домой, и притом так заторопил его, что Александр Сергеевич успел только накинуть на себя шинель и захватить деньги. Посланный ничего не осматривал в деревне, ничего не ворошил, нигде не рылся. «По отъезде его с барином,— говорила няня,— *я уже сама кой-что уничтожила*»,— «Что такое?» — «Да вот этот сыр проклятый, от которого так скверно пахнет...»[1]. Посланный губернатора Б. Ф. Адеркаса привез Пушкину следующее письмо:

«Милостивый государь мой, Александр Сергеевич!

Сейчас получил я прямо из Москвы с нарочным фельдъегерем высочайшее разрешение, по всеподданнейшему прошению вашему, с коего (sic!) копию при сем прилагаю. Я не отправляю к вам фельдъегеря, который остается здесь до прибытия вашего. Прошу вас поспешить приехать сюда и прибыть ко мне.

С совершенным почтением и преданностью пребыть честь имею, м. г. моего покорнейший слуга Б.Ф. Адеркас, 3-го сентября 1826 г. Псков».

В Пскове ожидало еще Пушкина любезнейшее письмо от барона Дибича, которое не только успокоило его относительно своей участи, но, как говорил сам поэт, могло бы поселить в нем очень высокое мнение о себе, если бы он был самолюбив. К сожалению, мы не имеем этого письма. Путь до Москвы совершен был им уже сравнительно

---

[1] Что М. И. Семевский рассказывает далее о причинах этого увоза, будто связанного отчасти с открытием рукописного стихотворения Пушкина «Андрей Шенье»,— не имеет основания, так как история о распространении в рукописях «Андрея Шенье» до появления его в печати и с примечаниями самих переписчиков началось в сентябре 1826 г., когда Пушкин был уже в Москве. Эта история составляет совсем особое дело от привоза поэта и разыгралась довольно сильно, в 1828 году, кончившись в этом же году довольно благоприятным образом для Пушкина.

не с такой молниеобразной скоростью, с какой делал его фельдъегерь в одиночку. Они употребили на него всего 4 дня, и если принять в соображение, что официальный спутник поэта уже второй раз летел без сна несколько ночей по кочкам и рытвинам, то физический закал людей его рода должен показаться действительно богатырским. Фельдъегеря звали Вальшем.

8-го сентября они прибыли в Москву прямо в канцелярию дежурного генерала, которым был тогда генерал Потапов, и последний, оставивши Пушкина при дежурстве, тотчас же известил о его прибытии начальника главного штаба, барона Дибича. Распоряжение последнего, сделанное на самой записке дежурного генерала и показанное Пушкину, гласило следующее: «Нужное, 8-го сентября. Высочайше повелено, чтобы вы привезли его в Чудов дворец, в мои комнаты, к 4 часам пополудни».

Чудов или николаевский дворец занимало тогда августейшее семейство и сам государь император, которому Пушкин и был тотчас же представлен, в дорожном костюме, как был, не совсем обогревшийся, усталый и кажется даже не совсем здоровый. Можно полагать, что покойный государь читал произведения Пушкина еще будучи великим князем и находился, как вся грамотная тогдашняя Россия, под влиянием его поэтического таланта. По крайней мере этой чертой всего легче объясняется род ласки и нескрываемой нежности, какую он всегда выказывал по отношению к Пушкину, не изменяя, конечно, своих строгих требований порядка и подчиненности для него и часто сдерживая его порывы. Покойному государю угодно было однажды и рассказать некоторые подробности своего первого свидания с Пушкиным, переданные нам М. А. Корфом, имевшим счастье их слышать. Государь, между прочим, спросил Пушкина, где бы он был 14-го декабря, если бы находился в Петербурге? Пушкин отвечал, не колеблясь: «в рядах мятежников, государь!» Может быть, эта искренность и простота ответа, разоблачавшие прямой характер поэта, и были причиной высокой доверенности к честному слову Пушкина, какую возымел государь. Он потребовал у него взамен свободы и забвения всего прошлого — только честного слова, что сдержит обязательства, высказанные в подписке. Затем государь выразил намерение занять Пушкина серьезными трудами, достойными его великого таланта, и объявил, что для успешного продолжения его литературной деятельности, обещающей принести славу России, он сам берет на себя звание цензора его произведений. Пушкин был в восторге от необычайно милостивого приема и прямо

мо из дворца явился, как мы слышали, в дом изумленного своего дяди, Василия Львовича Пушкина. Затем, он перебрался на житье к приятелю С.А. Соболевскому, на «Собачью площадку», и все дело о внезапном его переселении в Москву кончилось извещением псковского губернатора (21-го ноября), что «по распоряжению г. начальника главного штаба его императорского величества вытребованный из Пскова чиновник 10-го класса, Александр Пушкин, оставлен в Москве»[1].

---

1 Прибегаем снова к примечанию по поводу одной новейшей публикации, именно сборника «Девятнадцатый Век», изд. Бартенева, 1872 г., который содержит в себе, между прочим, любопытный документ — записку Пушкина о народном образовании, представленную императору Николаю Павловичу. Документ этот напечатан совершенно согласно с черновым его оригиналом, какой находился в наших руках, но снабжен примечанием П. Бартенева, которое мало способствует к разъяснению его происхождения и смысла. Мы не хотели говорить об этой записке Пушкина, потому что разбор ее переступил бы за границы той задачи, которую себе положили — представить поэта в первый, *Александровский* период его развития; но так как она теперь опубликована г. Бартеневым, то уже не можем не сказать о ней нескольких слов. Сообщением записки Пушкина, почтенный издатель «XIX-го века» увеличил права свои на благодарность нашей публики, которая ему обязана такой любопытной коллекцией материалов для новейшей истории России; но примечание г. П. Б. показывает еще раз образец изворотливого отношения к предмету, о котором автор не имеет сказать ничего серьезного. Кому не придет в голову, что вместо ссылок на стихотворения Пушкина для уяснения записки и *предположений* о том или другом образе его мыслей, автору примечания следовало бы обратить внимание на самое выдающееся, рельефное место Пушкинского документа, то именно, где поэт призывает строжайшую кару правительства на переписчиков и распространителей возмутительных рукописей (стр. 213 «XIX-го века»). В устах человека, который сам был еще недавно распространителем таких «рукописей» и которого обвиняли в том же и теперь, речь эта, конечно, заслуживала бы, если не оправдательных слов от биографа, то, по крайней мере, таких, которые помогли бы читателю уразуметь причины и поводы их появления. А между тем, г. П. Б. оставил личность поэта, со всеми своими намеками на его стихотворения, совершенно открытой и ничем не защищенной. Дело в том, что упомянутое место связывается с биографическим фактом. В сентябре того же 1826 года, открыта была, как уже говорили, у одного кандидата харьковского университета, г. Леопольдова, и у двух офицеров, гг. Молчанова и Алексеева, полная рукопись «Андрея Шенье» без цензурных пропусков и с примечанием переписчиков, что эта пьеса Пушкина написана по поводу 14-го декабря и имеет в виду известного декабриста В. Кюхельбекера. Естественно, что подозрение в первом распространении списка пало (и совершенно несправедливо) на автора пьесы. Пушкин, только что успевший освободиться от ссылки и уцелеть от погрома, рассеявшего революционную партию, к которой стоял так близко, пришел в ужас при мысли попасть снова в ссылку, и на этот раз уже без всякого блеска, как простой нарушитель цензурных и полицейских правил. Отсюда, для отвода всяких подозрений от себя, и требования «Записки» относительно строгих мер против пропагандистов неблаговидных сочинений; но уловка все-таки не удалась, потому что Пушкин принужден был впоследствии прямо отвечать на запросы гражданского суда, которому передано было дело, — как настоящий подсудимый. К сожалению, мы еще не можем

Между тем, весть об освобождении Пушкина и о милостивой аудиенции, полученной им у Государя, быстро разнеслась по Москве и надо прибавить, что в торжествах, сопровождавших день коронования, она была радостно встречена публикой, особенно литературно образованной.

кончить на этом с любопытным примечанием г. П. Бартенева. Он находит далее, что ответ гр. Бенкендорфа на записку Пушкина, приведенный нами вкратце в «Материалах для биографии А.С. Пушкина» 1855, мало отвечает сущности Пушкинского трактата, — и полагает, что мы перепутали дело в «Материалах» и отнесли ошибочно замечание шефа жандармов к тому трактату о воспитании, о котором говорится здесь. Приводим фактические доказательства верности нашего указания, для разубеждения почтенного критика, хотя и без них небольшое критическое соображение могло бы ему показать, что на предложение Пушкина искать в полном, свободном и откровенном преподавании истории и нравственных наук панацеи против политических увлечений и заблуждений молодежи, гр. Бенкендорф и не мог отвечать, по времени, иначе, как отвечал.

В бумагах Пушкина сохранилось следующее сообщение гр. Бенкендорфа, важное по свету, который оно бросает на величественный характер покойного государя и на предмет, особенно занимающий нас теперь: «М. Г. А. С. Я ожидал прихода вашего, чтоб объявить Высочайшую волю по просьбе вашей, но, отправляясь теперь в С.-Петербург и не надеясь видеть здесь, честь имею уведомить, что государь император не только не запрещает приезда вашего в столицу, но предоставляет совершенно на вашу волю, с тем только, чтобы предварительно испрашивали разрешения чрез письмо.

Его Величество совершенно остается уверенным, что вы употребите отличные способности ваши на передание потомству славы нашего отечества, передав вместе бессмертию имя ваше. В сей уверенности, Его Им. Ве-ву благоугодно, чтобы вы занялись предметом о воспитании юношества. Вы можете употребить весь досуг, вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить ваши мысли и соображения — и представить вам тем обширнейший круг, что на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания.

Сочинений ваших никто рассматривать не будет: на них нет никакой цензуры. Государь Император сам будет и первым ценителем произведений ваших, и цензором.

Объявляя вам сию монаршую волю, честь имею присовокупить, что как сочинения ваши, так и письма, можете, для представления Его Величеству доставлять ко мне; но, впрочем, от вас зависит и прямо адресовать на Высочайшее имя.

Примите и проч.

№ 205. 30-го сент. 1826. Москва. Его благородию А.С. Пушкину».

Получив, таким образом, дозволение на приезд в Петербург, Пушкин прежде всего посвятил себя на составление порученного ему трактата и уже через два месяца представил его по начальству, на что и получил следующее второе сообщение от гр. Бенкендорфа:

«М. Г. А. С. Государь Император с удовольствием изволил читать рассуждения ваши о народном воспитании — и поручил мне изъявить вам Высочайшую свою признательность».

Остановимся здесь и, в заключение, подведем итоги всему, что было приобретено и пережито Пушкиным в этот совершенно отдельный и законченный период его жизни, который мы старались здесь представить. При конце его, Пушкину было уже 27 лет, и весь пыл молодости, политических увлечений, слепых пристрастий к словам и представлениям известного рода, остался у него позади. Умственное и нравственное его воспитание еще не кончилось, да оно в сущности никогда и не кончается для развитых людей, но найдены были основы для мысли, с которых Пушкин уже более не сходил. Между бедностью его умственного мира в Петербургский период существования и тем нравственным содержанием, которым он владел при появлении в Москве, в 1826 г., лежала целая пропасть. В короткий промежуток 5—6 лет, развиваясь необычайно быстро, он переходил постепенно от бессознательной роли великосветского радикала, которую играл в Петербурге, к отчаянному протесту личности, ничего не признающей, кроме самой себя, к неистовому байронизму, которым заражен был в Кишиневе, и от него, через умеряющее действие романтизма и через изучение Шекспира, к объективности, *историческому* и критическому созерцанию, а, наконец, и к задачам, которые представляют для творчества и для анализирующей мысли русский старый и новый быт. Когда Пушкин очутился снова в столичном нашем обществе, он принес с собой только зачатки последнего из этих направлений, но потребовалось еще четыре беспокойных года (с 1826 по 1830) для того, чтобы превратить эти зачатки

«Его Величество при сем заметить изволил, что принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекши вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие, предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание. Впрочем, рассуждения ваши заключают в себе много полезных истин.

С отличным уважением, честь имею и проч.

№ 163. 23-го декабря 1826. Его благородию А.С. Пушкину».

После этих фактов сомнения и колебания г. Бартенева, вероятно, будут успокоены, и мы можем уже оставить в стороне, без ответа, и приговор его нашему труду, выраженный им в следующих словах: «Итак, надобно заключить, что записка (Пушкина) была подана не в том виде, как здесь напечатана, но мы скорее думаем, что собиратель материалов для биографии Пушкина смешал обстоятельства и что приведенные выражения служили ответом на что-либо другое. *Бумаги Пушкина требуют точнейшего рассмотрения»* (XIX Век, стр. 218).

в обдуманную теорию, которая открыла бы разум и цели современного русского существования. Целых четыре года тревожной, непоседной, скажем просто — кочующей жизни, употребил Пушкин на то, чтобы приглядеться и приладиться к новым порядкам и условиям времени, которые так мало были похожи на времена его молодости. Работа эта доставалась ему не даром: гнетущая тоска и скука, постоянно отравлявшие существование поэта в это время, свидетельствуют о том достаточно. Они-то гнали его с места на место по Империи, сделали из него азартного игрока, подсказали ему мысль просить о причислении его к китайской миссии и отразились в уничтоженной главе любимой его поэмы, в «Путешествии Онегина». С обретением упроченного положения в свете (1830 — 31 г.), весь тяжелый искус этот, казалось, должен был кончиться и уступить место мирному труду, ровной деятельности и светлой жизни. В голове его действительно и стали накопляться все те замыслы по истине громадных созданий, о которых мы можем судить теперь только по отрывкам, сравнительно бедным, оставшимся в бумагах, после его смерти («Медный Всадник», «Русалка», «Средневековая драма», много не написанных драм и поэм, намекающих на свое содержание одними программами или первоначальными строфами). Но в душе Пушкина жила потребность, мешавшая ему замкнуться исключительно в круг своих художнических идей. Он сгорал жаждой многосторонней общественной жизни, которая гнала его в большой свет, где он думал найти ее, но еще сильнее томился он мучительною страстью осмыслить современный ему быт, открыть законные причины его явлений, уверовать в его необходимость и разумность, и, наконец, угадать смысл самой русской истории, как лучшего оправдания народа и страны. Только этой ценой покупались для него и спокойствие духа, и счастье чувствовать себя членом дельного и достойного общества, без чего почти и немыслима возможность какой-либо широкой, творческой деятельности. С обычной своей энергией он бросился на розыски и определения по вопросам и задачам, поставленным им для себя и, разумеется, встретился с возражениями и противоречиями жизни, которая поминутно разбивала его работу. По странной участи, ни одна из партий, господствовавших у нас над общественным мнением, не признавала Пушкина, так же точно в пору его молодости, как и теперь, вполне своим человеком; напротив, каждая из них скрывала от него большую часть своих настоящих мыслей и требований, вероятно, не надеясь на безусловное его повиновение, хотя каждая из них, без исключения, обращалась с ним очень осторожно, словно опа-

саясь его обличений. Да и было чего опасаться: независимый голос из собственного лагеря глубже потрясает, чем крики, укоры и нападки неприятеля. В последнее время Пушкин поминутно расходился с тем обществом, которому хотел сослужить свою великую службу. Чем более силился он найти ему историческое философское оправдание, чем усерднее воздвигал ему фундамент и основания, которых не стыдно было бы показать всему свету, тем чувствительнее становились для поэта все бесчисленные опровержения и посмеяния, какие наносимы были каждодневно его идеализирующим теориям на практике и притом весьма развитыми и влиятельными людьми эпохи. Пушкин переходил поминутно от верований и надежд к скептицизму и отчаянию. Беспрестанно падая и восставая, он упорствовал держаться против обличений жизни, хотя и без особенных надежд в душе, но с горделивым и quasi-независимым видом. Один неожиданный удар повалил его на землю. Горькая обида, высланная той же средой, об оправдании и интересах которой так много хлопотал, мгновенно подняла его африканскую кровь и обнаружила опять коренные, родовые черты его природы, нисколько не сглаженные временем и выступившие с необычайной силой, как бы после долгого отдыха. Он ринулся на призрачного врага своего, подосланного обществом и заслонявшего его собой — и был вынесен замертво с арены света, которой так дорожил. Полная история развития Пушкина есть также и психическая история общества, где личности поэта пришлось, по собственному его слову — жить, мыслить и страдать.



Общественные идеалы А. С. Пушкина.

Из последних лет жизни поэта.

Чрезвычайно важно для понимания различных эпох русской жизни определение нравственной сущности тех или других политических и общественных взглядов и убеждений, которыми были проникнуты главные деятели эпохи, приковывавшие к себе внимание своих современников. При этом вся трудность для исследователя заключается преимущественно в том, что русские образованные люди, судя по общему характеру их жизни, как будто мало отличались друг от друга, исповедывали как будто одни и те же политические идеи, говорили почти одно и то же, как в области знания, так и на публичной арене литературы, занимались почти одними и теми же, не очень сложными и разнообразными предметами. Со всем тем, позднейшие монографии и биографические изыскания показали, что многие из таких деятелей, кроме своего участия в общем хоре, где дружно исполняли роль, случайно выпавшую на их долю, еще имели свои затаенные воззрения на положение дел, свои правила морали, отличные от тех, которые требовались общим голосом, свою критическую оценку окружающего мира... Никогда и ни в какие, даже наиболее тихие, строго организованные эпохи, не прекращалась у нас внутренняя деятельность общественного сознания, разработка новых жизненных идеалов, параллельно с существующими налицо, не исчезало личное, самостоятельное творчество в способе понимания и представления явлений русской истории, любимых идей, обычаев и увлечений современности. А.С. Пушкин точно также имел свою домашнюю, секретную теорию разумного гражданского существования, как и учители его — Карамзин и Жуковский, но с тою разницей, что последние пользовались возможностью доводить свои теории до сведения официального мира, между тем как Пушкинские

теории, которые он обдумывал долгое время, должны были остаться при нем одном, и притом в необделанном, разбросанном, почти бессвязном виде. Много было уже у нас попыток добраться до смысла истинных политических и общественных убеждений Пушкина с помощью самых его произведений и тех выводов, какие они представляют, — но все-таки приговоры, основанные на этом критическом разборе, не могут иметь достоверности личных показаний и признаний автора. Всего чаще, подобные приговоры не принимают в соображение случайности поэтического настроения, которым иногда выражается не подлинная мысль автора, а только мысль, навеянная ему сюжетом, содержанием его образа или его фантазии. Подлинная мысль человека обретается преимущественно в его беседах с самим собою, наедине со своей совестью, при кабинетной поверке с глазу-на-глаз всего своего умственного достояния. Между всеми остатками такой литературной деятельности А.С. Пушкина, особенною печатью подлинной его мысли помечены черновые планы полемических статей, заготовляемых поэтом для «Литературной Газеты» барона А.А. Дельвига 1830 года, а затем отзывы и суждения Пушкина при перечне указов и событий времен Петра I-го, за историю которого он принялся в 1832 году, по поручению правительства. Передачей этой *подлинной мысли* Пушкина в области политических и общественных вопросов мы теперь и займемся, не отказываясь, впрочем, и от задачи уследить ее более или менее далекое отражение и на некоторых литературных и поэтических его произведениях; вообще основная мысль Пушкина сохранилась, в его бумагах, в форме набросков, недоговоренных положений и отрывков, соединить которые в нечто целое и однородное представляло не маловажное затруднение и потребовало особенного труда и усилий.

I.

Настоящая цель издания «Литературной Газеты» 1830 — 31 г. заключалась, как известно, преимущественно в том, чтобы образовать какой-либо оплот против журнальной монополии, захваченной издателями «Сев. Пчелы» и «Сына Отечества», благодаря жалкой беспомощности самих писателей и апатическому характеру всего литературного мира. Монополия эта, как всегда бывает, тщательно наблюдала за тем, чтобы сохранить свое привилегированное положение всякими позволительными и непозволительными средствами. Оставляя в стороне все ее *негласные* старания представить себя как

единственную охранительницу интересов порядка и благочиний — достаточно упомянуть об орудиях, какие она употребляла, чтобы держать в страхе перед собой печать и пишущих. Орудиями этими служили, во-первых, безустанное преследование писателей *независимых*, но еще не составивших себе имени; лесть и искательство перед знаменитостями, если они обнаруживали расположение покрывать своим молчанием заведенный порядок дел, — и наоборот — ругательства, клевета, позорные намеки всякого рода, если они теряли терпение и поднимали голос, а затем необычайное снисхождение, покровительство и жаркая рекомендация всякому ничтожеству и посредственности, которые становились добровольно под иго монополии и в ней искали залогов успеха и упроченного положения в печати. Монополия торжествовала. Благодаря заведенному ею террору в литературном мире, полному равнодушию образованного общества к делам печати, и согласию, полученному ею, где следует, на предоставление простора в приложении дисциплинарных мер к непокорным умам, — она превратила почти весь тогдашний, немногочисленный персонал русских писателей в льстецов, клевретов и агентов своих корыстных целей. К сожалению, издатель «Московского Телеграфа», который мог бы образовать относительно довольно сильную, самостоятельную и противодействующую ей партию, тоже вошел в ее интересы и пристроился к ней, напуганный, вероятно, московской оппозицией своему журналу, сильно обнаружившейся при появлении соперничествующего «Московского вестника», 1827 г., а еще — вероятнее, по расчету обезоружить одного из членов монополии, Ф.В. Булгарина, — это типическое лицо своего времени, пользовавшееся доверием некоторых правительственных лиц, несмотря на то, что постоянно вводило их в ошибки своими сообщениями. Горький опыт показал Н.А. Полевому, как неверен был его расчет.

Ко всему этому следует еще присоединить первое появление у нас памфлетической литературы. С альманахами — «Северный Меркурий» 1829 г. и «Северная Звезда» 1830 — 32, издания М.А. Бестужева-Рюмина — на свет впервые выступал *низший* род журнальной quasi-демократии, руководимый враждебным чувством ко всем приобретенным литературным положениям. Бестужев-Рюмин отличался своего рода цепкостью, не связан был понятиями о приличии и достоинстве своих суждений и представлял ранний, хотя еще и тусклый образец бойца, который старается смелостью и наглостью выйти из толпы, где его удерживают отсутствие таланта и образования. Так, в одном из своих изданий Бестужев-Рюмин развязно напе-

чатал несколько рукописных лицейских стихотворений Пушкина, без ведома автора, всегда боявшегося подобных нескромностей, и под одними литерами *«Ап»*. Пушкин даже и не протестовал, наученный еще прежде опытом, что литературная собственность не признается в его отечестве. В 1827 г. чиновник при Третьем Отделении, статский советник Ольдекоп, перевел на немецкий язык его «Кавказского пленника», и выпустил в свет с полным русским текстом en regard, что равнялось новому, самовольному изданию поэмы. Все усилия Пушкина — добиться защиты своих прав, обращавшегося за этим к ближайшему начальству смелого переводчика — остались безуспешны. Оскорбленный автор, махнув рукой, тогда же и сказал: «Ну, и черт с ним, если на него нет суда».

В таком виде и с такими нравами и обычаями влачила свои дни журналистика и печать русская к началу 1830 г.

Понятно, после того, заявление, сделанное «Литературной Газетой», на первых же порах, о своем намерении поднять литературную критику из ее прискорбного состояния и предоставить поле деятельности для *писателей, которые не могут участвовать ни в одном из Петербургских и Московских журналов*. Заявление было написано Пушкиным и содержало правдивый факт. После прекращения «Московского Вестника», целая группа, и самая значительная, — литераторов, в которой числились такие лица, как В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский, князь П.А. Вяземский, И.А. Крылов, П.А. Катенин, и наконец, сам Пушкин, — действительно не имела органа. Группе этой именно и принадлежит как первая мысль об основании газеты, так и выбор редактора для нее. По общему соглашению, в редакторы был призван А.А. Дельвиг, пользовавшийся репутацией очень тонкого критика и имевший за собой преимущество почти безотлучного пребывания в Петербурге. Правда, все эти основатели газеты помогали ей впоследствии более советами, чем произведениями своими, за исключением одного И.А. Крылова, давшего ей значительный вклад новых басен своих; а между тем совокупные их усилия были бы совершенно необходимы для того, чтобы бороться с такими опытными и изворотливыми врагами, какие поджидали новый журнал. Душой его сделался Пушкин. Он принял на себя важнейшую, полемическую часть газеты и повел ее, как увидим, с таким пылом и в таком решительном, беспощадном тоне, какой до того еще и не был знаком в нашей литературе. Монополия тотчас же распознала грозившую ей опасность и для отвращения ее собрала все свои силы литературные, а также и те, которыми располагала *вне* литературы.

Вспомоществуемая в то же время памфлетическими выходками Бестужевской школы, она очень искусно перенесла вопрос о причинах появления нового журнала на политическую почву, назвав издателей и сторонников «Литературной Газеты» — кружком людей, желающих выделиться из общего положения, существующего для литераторов, и стать особняком, образовать партию знаменитостей, водворить «принцип аристократизма» там, где его быть не может, и направлять общественную мысль, в смысле этого принципа. Этот опасный, при тогдашнем режиме, намек и дерзкий вызов, брошенные монополией в таком виде, были подняты «Литературной Газетой», или, лучше, ее вдохновителем, Пушкиным — с необычайной энергией. Теперь уже вполне известно, что именно Пушкин был отчасти составителем, а отчасти внушителем всех тех многочисленных полемических заметок, в которых участие избранного круга людей в делах общества и литературы объявлялось желательным и в то время необходимым для поднятия строя жизни и уровня мысли в государстве. В противоположность с задачами и целями, какие может иметь подобный избранный круг, публицист «Литературной Газеты» поставлял на вид задачи какого-нибудь проходимца-литератора, в роде Видока, — и действительно, статья Пушкина о записках этого сыщика, в № 20 «Литературной Газеты», нанесла чувствительный удар Булгарину, как нравственной личности. Далее, тот же публицист клеймил ядовитыми эпиграммами врагов всякой умственной и моральной возвышенности в людях, как признака аристократизма (ср. эпиграмму Пушкина на того же Булгарина), и наконец в пресловутой статейке, наделавшей много шума и не мало бед самому издателю «Газеты» (и она тоже принадлежит Пушкину), дошел до замечания, что неумолкаемые нападки журналов Булгаринского пошиба на аристократию могут кончиться тем, чем они кончились в другой стране — криками черни: «les aristocrates à la lanterne», и припевом «ça ira». Статейка еще добавляла свою выходку восклицанием: «avis au lecteur!»

Враги Пушкина и вся Булгаринская партия поздно тогда спохватились, что сделали ошибку, затронув его и приложив к нему свой инсинуационный способ борьбы: Пушкин встретил их на той самой почве, где они считали себя непобедимыми, и дал почувствовать, что оружие инсинуации может быть обращено и против них самих. Испуг, произведенный заметкой Пушкина в Булгаринском лагере монополистов, был понятен: она наносила удар их официальной репутации — благонадежности; но, бросая ее в таком резком виде, Пушкин

надеялся, что она вызовет столь же резкий ответ — и тем даст повод к начатию серьезной, *принципиальной* полемики.

Ничего подобного не случилось. Враждебная партия нисколько не была расположена затрагивать основы своих или чужих мнений и предпочла ограничиться горячими протестами против злонамеренного вывода, сделанного из ее слов, и скрыться под покровительство общих цензурных законов. Но Пушкин уже не хотел оставить ее спокойно предаваться, по прежнему, безмятежному удовольствию вести простую диффаматорскую игру вокруг имен и личностей, после того, как уже был поднят вопрос о направлениях и следовало выразить свое отношение к ним. Он принялся за объяснение и распространение первоначальной заметки, в форме разговора между двумя лицами: *А.* и *Б.*, в котором уже излагал отчасти свое воззрение на явления, носившие названия русской аристократии и демократии. Разговор предназначался им тоже для «Литературной Газеты», в чем можно убедиться и по некоторым его приемам и несколько осторожному тону изложения; но Пушкин в этом случае слишком понадеялся на выносливость печати и рассчитывал на публикацию, не договорившись, по французскому выражению, предварительно с хозяином. Было найдено, что весь этот литературный спор зашел уже слишком далеко и затронул стороны жизни, не подлежащие его ведению, и после должных внушений обеими сторонами, дальнейшее его развитие делалось более невозможным. «Разговор так и остался в бумагах Пушкина в том необделанном еще виде, в каком мы здесь и приводим его:[1]

«*А*. Читал ты замечание в «Литературной Газете», где сравнивают наших журналистов с демократическими писателями XVIII-го столетия? — *Б*. Читал. — *А*. Как же ты его находишь? — *Б*. Довольно неуместным[2]. — *А*. Конечно — иначе нельзя и думать. Как

---

[1] Для библиографов и для будущего истинно-полного собрания сочинений Пушкина, мы можем еще привести заметки его, появившиеся в смеси «Литературной Газеты» и не попавшие ни в один из сборников его творений. Таковы: №10, стр. 98 — о князе Вяземском; №12, стр. 98 — о карикатуре в Англии, которая содержит намек на Н.А. Полевого; №16, стр. 129 — о гекзаметрах Мерзлякова, в сравнении с гекзаметрами Дельвига; №20, стр. 162 — ответ критику, объявившему при разборе одного литературного сборника, что нет причин сожалеть об отсутствии в нем знаменитых писателей; №36, стр. 293 — вторая заметка о неблаговидности нападок на дворянство.

[2] Этот *Б*., как выразитель Пушкинских мнений, имеет ввиду еще и литературную полицию, также встревоженную резкой заметкой.

не стыдно литераторам обижать таким образом свою братию!.. — *Б*. Согласен. — *А*. Русские журналисты не заслуживали такого презрительного сравнения. — *Б*. А! так извини: я с тобою не согласен. — *А*. как так? — *Б*. Я было тебя не понял. Мне показалось, что ты находишь обиженными демократических писателей XVIII столетия, которых с нашими никаким образом сравнивать нельзя. Томас, Дюкло, Шамфор — были столь же умные, как и честные люди — не беспримерные гении, но литераторы с отличным талантом. — *А*. В «Литературной Газете» сказано, что эпиграммы их приготовили крики à la lanterne! Неужто в самом деле эпиграммы произвели французскую революцию? — *Б*. О французской революции «Литературная Газета» молчит — и хорошо делает. — *А*. Помилуй, да посмотри — les aristocrates à la lanterne, ça ira, и т.д. — *Б*. И ты тут видишь французскую революцию? — *А*. А ты что тут видишь, если смею спросить? — *Б*. Один жалкий эпизод французской революции — гадкую фарсу в огромной драме. — *А*. Так видно — ты стоишь за «Литературную Газету». Давно ль ты сделался аристократом? — *Б*. Как, аристократом? Что такое аристократ! — *А*. Что такое аристократ? О, да ты журналов не читаешь. Вот видишь ли: издатель «Литературной Газеты» и сотрудники его, и читатели его — все аристократы! — *Б*. Воля твоя, я смысла тут не вижу. Будучи сам литератором, я читаю «Литературную Газету», ибо мне любопытно знать ее мнения: мне досадно видеть в ней иногда личности и колкости, ответы, возражения, мелочную войну, которую не худо предоставить литературным башкирцам; но никогда не видал я в «Литературной Газете» ни дворянской спеси, ни гонения на прочие сословия. Дворяне ли барон Дельвиг, князь Вяземский, Пушкин, Баратынский — мне до этого дела нет. Они об этом не толкуют. Заступаясь за грамотное купечество, в лице г. Полевого — они сделали хорошо; заступясь ныне за просвещенное дворянство — они сделали еще лучше. — *А*. А что значит: avis au lecteur! К кому это относится? Ты скажешь — к журналистам, а я так думаю — не к цензуре ли? — *Б*. Да хоть бы и к цензуре — что за беда?.. Позволяется и нужно нападать на пороки и слабости каждого сословия, но смеяться над сословием, потому только, что оно такое сословие, а не другое — не хорошо и не позволительно. И на кого журналисты наши нападают? Ведь не новое дворянство, получившее свое начало при императоре Петре I и императрицах и по большей части составляющее нашу знать, истинную, богатую, могущественную аристократию. Pas si bête! Наши журналисты перед этим дворянством вежливы до крайности;

они нападают именно на старинное дворянство, которое ныне, по причине раздробленных имений, составляет у нас род среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного, состояния, к которому принадлежит и большая часть наших литераторов. Издеваться над ним (и еще в официальной газете) не хорошо и даже неблагоразумно. — *А*. Почему же статья «Литературной Газеты» показалась неблагонамеренной многим? — *Б*. Потому, что политические вопросы никогда не были у нас разбираемы. Журналы наши, не нарочно наступив на один из таковых вопросов, сами испугались движения, ими произведенного. Демократические наши журналы (в прямом или переносном смысле), нападая на дворянство, должны были найти отпор и нашли его в «Газете». Все это естественно, даже утешительно, но, повторяю, вопросы политические для нас еще новость. Знаешь ли что? Мне хочется разговор наш передать издателю «Литературной Газеты» — чтоб он напечатал его себе в оправданье. — *А*. И хорошо сделаешь. Есть обвинения, которые не должны быть оставлены без внимания, от кого бы они, впрочем, ни происходили. Повредить замечанием нельзя. Образ мнения почтенных издателей «Северной Пчелы» — *слишком хорошо* известен, и «Литературная Газета» повредить им не может, а г. Полевой, в их компании и под их покровительством, может быть тоже безопасен».

В этом отрывке есть небольшая тирада, уже однажды нами приведенная («Пушкин в Александровскую эпоху»), о нападках журналистики преимущественно на остатки старых дворянских родов, лишенных всякого политического значения, но мы предпочли, вместо опущения ее — повторить теперь на том месте, где ее встретили в первый раз.

Когда, вследствие запрещения, оказалось невозможным продолжать спор в том полемическом тоне, какой он принял с самого начала, Пушкин перешел к мысли возобновить его в более спокойной, объективной форме руководящих статей и трактатов, которые могли бы найти уже безопасный приют в той же «Литературной Газете» и сообщить ей общественно-политический оттенок. На душе его лежало: — с одной стороны, объяснить роль либеральной, прогрессивной, патриотической аристократии в государствах, которые ею обладают, а с другой — открыть в современной литературе эру разработки политических вопросов, как некогда сделал это Карамзин для своей эпохи в своем журнале «Вестник Европы» (1802 — 1803 г.г.). Пуш-

кин принялся набрасывать программы и конспекты для статей *с направлением*, — но покуда намечал он существенные черты и ходы будущей своей работы, сама «Литературная Газета» была приостановлена. Поводом к этой мере послужило несколько переводных стишков из воззвания Казимира Делавиня к бойцам июльского переворота, тогда прогремевшего во Франции и попавших в газету совершенно случайно, как дополнение печатной страницы, и при том всего более за свою форму, так как сочувствие к историческому факту, который упоминался в стихах — ни Дельвиг и никто из литераторов не могли питать по той простой причине, которую разделяли со всем нашим обществом того времени: они не имели вовсе никакого мнения о нем. Распоряжение это однако же сопровождалось печальными последствиями для Дельвига. Он призван был к ответу генералом Бенкендорфом, и при этом вытерпел такую бурю подозрений, угроз и оскорблений, что она потрясла физический и нравственный его организм. Он заперся в своем доме, завел карты, дотоле не виденные в нем, никуда не показывался и никого не принимал, кроме своих близких. Под действием такого образа жизни и глубоко-почувствованного огорчения можно было опасаться что первая серьезная болезнь унесет все его силы. Так и случилось — болезнь не заставила себя ждать и быстро свела его в могилу (14 января 1830 г.). «Литературная Газета», однако же, после довольно долгого перерыва явилась опять на свет, под редакцией известного тогда составителя бесцветных «обозрений Русской Словесности» для альманахов — Ореста Сомова, и в руках его продолжала еще существовать некоторое время, никем уже более не тревожимая, но и никому ненужная. Пушкин отложил в сторону все планы статей для журнала, перестал думать о них, и наконец, позабыл вовсе об их существовании...

Но они стоят того, чтобы вывести их из забвения, на которое были обречены. Как еще ни бессвязны, ни сжаты и лаконичны все эти проекты неосуществленного труда, потребовавшие от нас объяснений гораздо более пространных, чем они сами; как ни кажутся с первого вида многие из тезисов, тут приведенных, резко парадоксальными и неумеренно-горячими по выражению (недостатки, которые вероятно были бы сглажены или обойдены при обработке их), — но в своей совокупности эти программы автора представляют довольно ясно и отчетливо существенные черты и коренные основания полной политической теории, законченного учения, цельного исторического созерцания. Оно нажито было Пушкиным долгими размыш-

лениями о способе выяснить себе современное ему положение общества, найти точку отправления для своей мысли, и всего более созрело в беседах с людьми, занимавшимися теми же поисками за отчетливым определением своей эпохи в прошлое царствование. Вот, почему теория Пушкина, как она созидается из сложения и восстановления всех отрывков, оставшихся после нее, имеет двоякое значение: во-первых, как верное отражение весьма любопытной и важной стороны Александровской эпохи, которой Пушкин был верным представителем, и во-вторых, как документ, далеко не лишенный интереса для занимающихся историей идей, которые в разное время посещали умы нашего образованного общества. Между прочим, мы убеждены, что известный, глубоко сочувственный, почти восторженный отзыв Мицкевича о «политическом» смысле Пушкина возник преимущественно из знакомства с основными чертами этой самой теории, которая уже давно народилась и созревала в голове ее автора. Приводим, по порядку, первый образчик Пушкинских программ:

«Что такое потомственное дворянство? — Сословие народа высшее, т.е. награжденное большими преимуществами касательно собственности и частной свободы. — Кем? — Народом, или его представителями. — С какою целью? — С целью иметь мощных защитников (народа), или близких и непосредственных к властям представителей. — Какие люди составляют сие сословие? — Люди, которые имеют время заниматься чужими делами. — Кто сии люди? — Отменные по своему богатству или образу жизни. — Почему так? — Богатство доставляет способ не трудиться, а быть всегда готову по первому призыву du souverain. Образ жизни, т.е. не ремесленный или земледельческий, ибо все сие налагает на работника или земледельца различные узы. — Почему так? — Земледелец зависит от земли, им обработанной, и более всех неволен; ремесленник — от числа требователей торговых, от мастеров и покупателей. — Нужно ли для дворянства приуготовительное воспитание? — Нужно. — Чему учится дворянство? — Независимости, храбрости, благородству, *чести* вообще. — Не суть ли сии качества природные? — Так, но образ жизни может их развить, усилить или задушить. — Нужны ли они в народе, также, как, например, трудолюбие? — Нужны, и дворянство — la sauve-garde трудолюбивого класса, которому некогда развивать сии качества».

К этим, едва намеченным мыслям и во многих местах не вполне дописанным фразам есть еще у Пушкина дополнение, которое мо-

жет служить им и комментарием. Оно состоит также из вопросов и ответов:

«Что составляет дворянство в республике? — Богатые люди, которыми народ кормится.— А в государстве? — Военные люди, которые составляют войско государево.— Чем *кончается* (погибает) дворянство в республике? — Аристократией прав.— А в государстве? — Рабством народа. А=В».

Как ни лаконичны по своей форме все эти заметки, но, повторяем, смысл их кажется нам вполне ясным. Не видя возможности для крепостного тогда народа, ни способности в нем — самому заботиться о своей участи, и возлагая на дворянство историческую миссию служить ему опорой и защитой — Пушкин ставит и необходимые условия для подобной деятельности. Она «кончается» — говорит он — а с ней и государственное значение сословия, если оптиматы в республиканских обществах соберутся в одну эгоистическую замкнутую касту («аристократия прав»), или когда при других формах правления благосостояние и влияние дворянства будет созидаться — независимо или даже в противоположность процветанию всего народа.

Естественно, что придавая такое народовоспитательное и политическое значение потомственному независимому дворянству в государстве, Пушкин должен был считать все факты и явления русской истории, помешавшие развитию у нас боярского института и не позволившие ему исполнить свое историческое призвание — фактами и явлениями в высшей степени печальными. Так, он сожалел об отмене местничества и уничтожении разрядов, что, по его мнению, произошло совсем не из видов настоятельной, государственной потребности, а из домогательства и соперничества мелких дворянских родов, завистливо смотревших на привилегии старших своих собратий, да и тут еще Пушкин не признавал «соборный приговор» при царе Феодоре окончательным устранением местничества. Оно еще довольно долго существовало, по его мнению, и после того, и все разрядные списки, хотя и сожженные официально, управляли еще деловым русским миром и жили всецело в памяти людей, вплоть до Петра I, окончательно похоронившего их *табелью о рангах*. В этом смысле, личность Петра I, создавшего такую полную систему подчинения всех свободных людей, всякого чина и звания, одной безответной службе государству, где они и *сравнялись* — являлась Пушкину,

как личность, по преимуществу, революционная, и порядок, ею водворенный на Руси, революционным. «Пора кончить революцию в России!» — восклицает он в разных местах своей переписки с друзьями, а кончить ее иначе нельзя, по его воззрению, как созданием в лице имущественно и политически самостоятельного дворянства — сильного оплота против озлобленного класса выходцев из народа с одной стороны, и помещичьей наклонности — придерживаться азиатских порядков существования и в них искать своего спасения — с другой. Обе эти тенденции представляли для него совершенно одинаковые величины: *A*=*B*,— употребляем его формулу. «Наследственные преимущества — говорил он — высших классов общества суть условия их независимости. В противном случае, классы эти становятся наемниками и несут их обязанности».

Как еще ни благоговел Пушкин перед цивилизаторской деятельностью Петра I, но некоторые из его внутренних по государству распорядков имели силу возбуждать в нем горькое чувство сомнения, что отразилось и в предварительных очерках истории Петра I, за которую он принялся в 1832 году,— но об этом скажем подробнее ниже. Покамест он смотрел на Петра единственно как на безжалостного истребителя единственного сословия, которое еще могло умерять его порывы и увлечения. Он называл его соединением Робеспьера и Наполеона,— в одном лице воплощением всей революции.

«Вот уже 150 лет,— восклицал он,— что «Табель о рангах» сметает дворянство в одну кучу (que la «Табель о рангах» balaye la noblesse), а затем уничтожение майоратства хитростным (плутовским, употребляя его термин) образом при Анне Ивановне и довершило падение передового класса, начатое «Табелью».— Что из этого следует,— прибавлял Пушкин:— восшествие Екатерины II, 14 декабря и т.д.» Пушкин до того сроднился со своим представлением о революционном характере многих мероприятий Петра и других, за ним последовавших, в том же духе, что рассказывает сам в «Записках» своих, как однажды и гораздо позднее описываемой эпохи посетив однажды покойного великого князя Михаила Павловича, сказал ему в глаза на расставании:— Je connais bien votre famille. Les R* — ont été de tout temps révolutionnaires». «Спасибо,— отвечал шутя великий князь,— что наградил новым качеством: нам его недоставало».

В том же порядке идей и под влиянием тех же представлений шли у Пушкина и исторические исследования допетровской стари-

ны, ближайшим поводом к которым было появление «Истории русского народа», Полевого. В другом месте (см. «Материалы для биографии Пушкина», 1855 года) указаны были образцы этих набегов на русскую историю, под руководством предвзятой мысли и *априористического* метода заниматься ее вопросами, который, как видно и из предшествующих выписок, вошел у него в обычай; этим Пушкин опять связывался с Александровской эпохой, не знавшей другого метода исследования. «История» Полевого, вдобавок, открывала еще к нему и широкую дорогу, будучи сама собранием догадок, более или менее спорных, и попыткой отыскать ключ к уразумению летописных русских данных в трудах западных писателей, объяснявших летописи других народов. Особенно первые тома этой «Истории» представляли массу фальшивых аналогий между фактами западного происхождения и явлениями русского мира, которых сводить вместе было любимым упражнением автора. При кропотливости университетской официальной исторической науки, которая заменила торжественность и самоуверенность прежней Карамзинской школы перечетом летописных сказаний и повторением буквального их смысла, не заботясь о своеобразной племенной народной жизни, за ними скрывавшейся, — «История» Полевого должна была показаться дерзостью. Составитель ее, однако же, предчувствовал, как теперь уже почти всеми признано, некоторые из задач будущего русского историка, но для обработки их ему недоставало научной подготовки и первых необходимых сведений об особенностях славянской культуры, об идеях и представлениях, управлявших славянским миром и определивших его судьбу и развитие. Иначе и быть не могло: важнейшие исследования, осветившие и выдвинувшие на первый план все эти вопросы явились гораздо позднее. Весьма понятно, что присяжные ученые отнеслись к труду Полевого в резких статьях своих со злобой и презрением напрасно потревоженных людей, но гораздо труднее понять — почему вознегодовали на него дилетанты исторической науки, которых тогда было много в обществе, и которые не менее критикуемого автора обладали произвольными взглядами на прошлое Руси, почерпнутыми отовсюду, кроме изучения предмета. Тайна объясняется тем, что построение гипотез всегда у них имело в виду коронование русской истории самыми дорогими (и в сущности вовсе ненужными) венцами, а у Полевого сопровождалось скептическими замашками... Фантазия с отрицающим характером казалась уже нестерпимой. Пушкин тоже восстал против нее.

Известно, что он напечатал в «Литературной Газете» критичес-

кую статью об «Истории» Полевого, тотчас по выходе ее 1-го тома. За ней должна была следовать другая, приготовления к которой остались в его бумагах. Все та же главная, господствующая тема его созерцания управляет и здесь его суждениями, просвечивая сквозь все полемические приемы и возражения, и обнаруживая себя даже и там, где, казалось, сословному вопросу не могло быть и места. Предлогом для ввода последнего в исследование московского периода нашей истории послужил взгляд Полевого на удельную систему, как на проявление в русской форме западного феодализма. Пушкин приступил тотчас же к опровержению этого мнения, и в отрывке, приведенном нами прежде (в «Материалах для биографии Пушкина», 1855), старался собрать данные для показания несостоятельности такого предположения. В этом отрывке, направленном против мысли Полевого, Пушкин, противопоставлял феодализму институт боярства, который ничего общего с первым не имел, и он восходил из этого противопоставления до определения разницы в духе и характере западных и русских «средних веков». Содержание и мысль этого отрывка Пушкин именно и собирался превратить во вторую статью об «Истории» Полевого. Здесь мы дополняем отрывок только одной небольшой, но очень характерной заметкой автора, не попавшей в свое время в печать, отсылая читателя за полным содержанием программы к «Материалам» 1855 года. Опровергая Полевого, Пушкин, как оказывается и по другим источникам, еще сожалел об отсутствии в нашей истории такого явления, как феодализм. По его мнению, феодальный институт в своем естественном развитии и перерождении мог бы усесться у нас в виде первого опыта к учреждениям независимости (верхняя палата), и вызвать второй, который ни чем другим не мог быть, как собранием общинных представителей (Common-house). Вот, как резюмирует сам автор свою фантастическую постройку в дополнительной части программы, о которой мы говорим:

«Феодализм мог бы развиться, как первый шаг учреждений независимости (общины — были бы второй), но он не успел... Место феодализма заступила аристократия.— Какое время силы нашего боярства? — Во время уделов, когда удельные князья сами сделались боярами.— Когда пало боярство? — При Иоаннах, которые к одному местничеству не дерзнули прикоснуться.— Были ли дворянские грамоты? — Минин! — Было ли *зло* местничество?.. Везде ли существовало оно? Зачем уничтожено было оно? И было ли оно в самом деле уничтожено? — *Петр*».

Другая проба высказать свои убеждения была сделана Пушкиным уже на беллетристической арене, но и тут ей не более посчастливилось, чем в первых двух пробах. Махнув рукой, после запрещения «Литературной Газеты», на проекты статей, ей предназначавшихся, Пушкин не потерял нити своей политической доктрины, а только перенес ее, спустя 3 — 4 года (1833 — 34 г.), в повести и рассказы, где она, как красная нитка, и заплеталась в ткань их романтической интриги. При печатании, однако ж, этих произведений — уже после смерти автора — места, содержавшие намеки на эту доктрину, подверглись исключению, и красная нитка только кое-где и клочьями осталась на поверхности рассказов. Понятно, что в беллетристическом изложении политическая доктрина могла обнаружить только часть своего содержания, только ту сторону свою, которая обращена была на освещение нравов общества, идей, в нем живущих и выведенных типов. Все прочее оставалось в полумраке. На творческом станке доктрина потеряла много в объеме, но неизмеримо выиграла в блеске и ценности. Набрасывая свои повествовательные отрывки, Пушкин уже становится замечательным нравоучителем, хотя и не покидает своей горячей защиты прав высшего просвещенного сословия. Уважение к предкам он считает нравственной силой, укрепляющей волю, создающей *характеры*, ставящей высокие жизненные цели, и возвышается до степени ядовитого сатирика и негодующего патриота, когда принимается обличать слепоту и пустоту русского *образованного* общества, совершенно позабывшего все свое прошлое для того, чтобы помнить только мелкие и пошлые интересы дневного существования, заниматься и питаться вопросами самого низменного свойства, и притом в таких размерах, к каким способны бывают единственно люди, живущие без идеалов. Сочувственное отношение к старине, к истории и культуре предков, лежавшее скрытно в основе всех политических теорий автора, здесь выделилось уже в пламенную речь и горячую проповедь, — и приходится сказать, что проповедь эта чуть ли не составляла и самое существенное и единственно плодотворное зерно всего его учения.

Известно, что в последнее время своей жизни поэт нередко переводил на вымышленные им лица некоторые черты собственного своего созерцания, подчас даже особенности своего характера, полученные психическим анализом своей личности и духовной природы, как было уже замечено нами прежде, при разборе его произведений и, между прочим, при изложении истории происхождения пьесы «Импровизатор», где лицо героя представляет уменьшенное отражение

нравственного облика самого автора. Другой пример прививки своих воззрений и убеждений к вымышленному лицу поэт представил в известном рассказе: «Разговор вечером на рауте». Весь этот разговор нам кажется передачей действительной беседы, слышанной автором, по всем вероятиям, в каком-либо из аристократических и дипломатических салонов Петербурга, куда он был вхож. В рукописи разговор кончается следующим местом, которое — может быть — приятно будет встретить читателям, после полувекового сна его под спудом, хотя в сущности оно представляет не более, как повторение и развитие уже известной, излюбленной Пушкинской темы. Место начинается вопросом одного из собеседников, именно иностранного *дипломата*, о русской аристократии — и завершается ответом его русского собеседника, устами которого говорит уже сам автор. Иностранный дипломат открывает беседу замечанием:

— «Вы упомянули о вашей аристократии: что такое ваша аристократия? Занимаясь вашими законами, я вижу, что наследственной аристократии, основанной на неделимости имений, у вас не существует, кажется. Между вашим дворянством существует гражданское равенство, и доступ к оному ничем не ограничен. На чем же основывается ваша, так называемая, аристократия? Разве только на одной древности родов русских?»

— «Вы ошибаетесь, — отвечал он, древнее русское дворянство вследствие причин, вами упомянутых, у нас в неизвестности и составило род третьего сословия. Благородная чернь, к которой и я принадлежу, считает между своими родоначальниками Рюрика и Мономаха, но настоящая наша аристократия с трудом может назвать и своего деда. Древние роды их восходят до Петра и Елизаветы. Денщики, певчие, хохлы — вот их родоначальники, будь сказано не в укор их достоинствам. Достоинство всегда достоинство, и государственная польза требует его возвышения. Смешно только видеть в ничтожных внуках спесь какого-нибудь Монморанси, первого христианского барона. Я, например, — продолжал русский — не мог бы отыскать в хрониках моего родоначальника. Знаю только, что предки мои сражались близ Александра Невского, были у трона Ивана IV и возвели на престол... но если бы я подумал назвать себя аристократом, то, вероятно, насмешил бы многих. Мы так положительны, что прошедшее для нас не существует: Карамзин недавно разсказал нам нашу историю, но едва ли мы выслушали его. Мы гордимся не славою предков, но чином какого-нибудь дяди-дурака или балом

двоюродной сестры. Мы на коленях пред настоящим случаем, успехом, но очарование древности, благодарность к прошедшему и уважение к нравственным качествам, у нас... — Заметьте, что неуважение к предкам есть первый признак безнравственности».

Эта горячая диатриба, направленная столько же против суетной фамильной спеси, сколько и против пренебрежения всех семейных преданий, еще уступает в выразительности и яркости другой такой же диатрибе, встречаемой в очень замечательном и, к сожалению, тоже неконченом рассказе: «Роман в письмах». Там она служит последней крупной и определяющей чертой для физиономии главного действующего лица повести, некоего Владимира Z. Это лицо, даже и в теперешнем своем виде, представляет замечательно-полный тип аристократического славянофила времен Александра I. Нигде еще Пушкин не рисовал так ярко собственного своего образа, состояния собственной своей мысли и задушевных убеждений своих, как в этом вымышленном лице, сохраняя ему все живые краски и особенности самостоятельного и оригинального характера. Приводимый отрывок находился в одном из писем романа (письмо VIII), следовал за восклицанием Владимира Z., по поводу материального настроения нашего общества («К чему ведет такой материализм? — не знаю»), и начинался еще по-французски:

«Но пора положить этому преграды. Affecter le mépris de la naissance est un ridicule dans le parvenu et une lâcheté dans le gentilhomme. Говоря в пользу аристократии, я не корчу английского лорда: мое происхождение, хоть я его не стыжусь, не дает на то никакого права, но я, без прискорбия, никогда не мог видеть унижения наших исторических родов. Никто у нас ими не дорожит, начиная с тех, которые им принадлежат. И какой гордости воспоминаний ожидать от народа, который пишет на памятнике: «Гражданину Минину и князю Пожарскому». Какой князь Пожарский? Что такое гражданин Минин? Был у нас окольничий князь Дмитрий Михайлович Пожарский, и был Козьма Минич Сухорукий, выборный земли русской. Но отечество забыло даже настоящие имена своих избавителей. Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ!

«Образованный француз или англичанин дорожит строкою старого летописца, в которой упоминается имя его предка, честного рыцаря, павшего в такой-то битве, или в таком-то году возвратившегося из Палестины, но калмыки не имеют ни дворянства, ни истории.

Дикость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим. И у нас иной потомок Рюрика более дорожит звездою двоюродного дядюшки, чем историею своего дома, т.е. историей отечества. И это вы ставите ему в достоинство. *Конечно, есть достоинства выше знатности — именно, достоинства личные. Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят все наши старинные родословные.* Но неужто потомству их смешно было бы гордиться сими именами. Я видел родословную Суворова, писанную им самим. Суворов не презирал своим дворянским происхождением».

И, наконец, в беспрестанных пробах передать свое созерцание в такой форме, которая покорила бы внимание публики — Пушкин дошел до самого блестящего выражения его в великолепной поэме: «Медный Всадник» (1833 г.), хотя тоже, за смертью поэта, не получившей окончательной отделки. Обезумевший от горя, ничтожный потомок знатного боярского рода — и современный коломенский чиновник — осмеливается укорять великого императора во всех своих несчастьях и даже посягает на угрозу перед бронзовым ликом его, в котором он внезапно открывает того человека, который лишил его фамилию гражданского значения, низвел его самого в ряды бездольного служаки и косвенно настиг, даже после своей смерти, в последнем его убежище — сердечном счастии, унесенном наводнением в основанном им Петербурге. Пушкин называет этого потомка знатного боярского рода только по имени:

Прозванья нам его не нужно —
Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и блистало,
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало;
Но ныне светом и молвой
Оно забыто. Наш герой
Живет в Коломне, где-то служит,
Дичится знатных, и не тужит
Ни о покойнице-родне,
Ни о забытой старине...

Нельзя не остановиться на бессмысленной, с первого вида, угрозе, слетевшей с уст этого несчастного, под конец его речи: «Ужо тебя...» — восклицает он! Невольно думается, что в этом нелепом: «ужо тебя» — безумец выразил промелькнувшую в его голове мысль о возможности еще найти суд в потомстве и переделать приговор,

давший такую славу и значение имени грозного реформатора. Медный Всадник, погнавшийся за ним, словно угадал его тайную мысль...

Все эти идеи Пушкина теперь, по прошествии почти 50 лет со дня его смерти, не покажутся никому ни очень новыми, ни очень верными: они получили такое обобщение в последнее время, будучи подняты снова борьбой и прениями по поводу нашего земского самоуправления, и притом подвергнулись такому критическому обсуждению, что ни для кого не могут уже более служить соблазном. Притом же, одна часть этого воззрения, затрагивающая важность и достоинство исторических традиций, обработана была впоследствии с силой эрудиции и диалектики, конечно превышающими все, что говорил поэт, и даже все, что он мог сказать по этому поводу в свое время. Но за Пушкиным и за Александровской эпохой, его воспитавшей, остается честь первого поднятия многих подобных же вопросов русской культуры и общественного быта.

Рано или поздно эти вопросы должны были снова явиться на свет и сделаться уже предметами серьезного разбора, ученой и многосторонней полемики, как и случилось. Разногласие по их поводу еще не кончилось, и оградить некоторые стороны Пушкинского учения от превратного толкования представляется еще и теперь необходимостью. Несомненно, что учение поэта может дать повод к важным недоразумениям, если переставить исходный пункт, от которого отправлялся автор, на другую почву. Теория, довольно похожая на ту, которую проповедовал поэт, но вдобавок требовавшая, чтобы все заботы государства обращены были на интересы одного избранного сословия исключительно перед другими, не раз уже являлась в среде нашего общества с претензиями на высокую политическую мудрость. Какую бы строгую оценку и критику ни заслуживали взгляды Пушкина,— но достоверно, что ничего общего с вышеупомянутой теорией они не имеют. Мы видели, что конечная цель всех его рассуждений была все-таки забота о народе и о доставлении ему той доли защиты и свободы в труде, каких он сам, по стечению обстоятельств и при известной тогдашней обстановке своей, добыть не мог. Направление Пушкина выходило не из кровной привязанности к боярским привилегиям, как таковым, а из сожаления о потере передовым сословием тех орудий, которые могли бы дать ему средства сослужить великую службу отечеству. Чувствуешь, что не в виде лицемерной оговорки, а из глубины души воскликнул он: «Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят все наши старинные родословные». И мог ли сделать своим политическим знаменем одну тео-

рию о наследственном праве на почет, без разбора нравственных качеств лица, тот человек, который в самом разгаре аристократического одушевления своего твердо поставил афоризм «личные достоинства выше знатности». Под теорией Пушкина и многих его современников текла невидимая, но хорошо чувствуемая, горячая политическая струя, не позволившая расти вокруг себя ничему похожему на корыстный расчет, родовую кичливость или узкий эгоизм, хотя сама теория представляет много спорных сторон и является родным детищем своего времени, не знавшего еще других дорог к устранению злоупотреблений и к обновлению себя, кроме тех, которые она прокладывала в своем воображении, в области благородных мечтаний и великодушных химер.

II.

Как известно, А.С. Пушкин тотчас после свадьбы своей в Москве (18 февраля 1831 года) уехал в Петербург. Спустя две недели после того, именно в марте месяце, он поселяется на даче, в Царском Селе, и безвыездно проводит семь месяцев в хорошо знакомом ему городе. Эти семь месяцев положили основание всей последующей жизни Пушкина и должны считаться исходным пунктом новой литературной его деятельности.

Дворцы, сады и парки царской резиденции оживились к лету 1831 года прибытием двора. Вместе с ним прибыл, конечно, и главный наставник Государя Цесаревича, В.А. Жуковский. Давние дружеские связи между ним и Пушкиным затянулись еще в более крепкий узел, благодаря частым, ежедневным их свиданиям, а также и весьма серьезному настроению, которое царствовало вокруг них. Политический горизонт был мрачен, как в Европе, так и в России. Друзья сходились для того, чтобы передавать друг другу известия о тяжелом положении государства, посещенного холерой, и мысли о неудачах, затруднениях и о ошибках нашей польской кампании.

Польское восстание находилось в апогее своего развития и потребовало усилий и жертв для подавления его, сначала и непредвиденных. Втихомолку передавались печальные новости с театра войны: нерешительность действий русской армии, возрастающие надежды инсуррекции, сочувствие к ней со стороны народов Европы; за междоусобной войной проглядывала возможность большой европейской войны в близком будущем! Нравственная сторона польского вопроса особенно обращала внимание друзей в Царском Селе, так

как в ней-то и заключалось все дело. Пока большинство русского общества негодовало просто на медленность вооруженной расправы с неприятелем, обвиняя в том людей, советников и прочих, Жуковский и Пушкин всего более думали о принципе, который восстание положило в свою основу и которым себя оправдывало.

И было о чем подумать. Под знаменем нарушенного принципа народной воли и национальности, Франция, только что провозгласившая этот принцип у себя, стала почти целиком в ряды самых ожесточенных врагов России. Начавшаяся борьба двух славянских племен вызвала там в печати и на трибуне бурю ненависти, угроз и всевозможных обвинений против русского народа и правительства, — бурю, которая сообщилась и ближайшим соседям России. По секрету передавались слухи об опасном положении правительств, конституционных и абсолютных, одинаково истощавшихся в усилиях сдерживать порывы своих народов, которые требовали почти в один голос переделки европейской истории и трактатов во всем, что они сказали в пользу и в интересе России. Не один Пушкин приходил в негодование от этого непомерного озлобления умов, не один он думал, что как бы ни велики были успехи нашей секретной дипломатической борьбы с направлением, — одной этой борьбы еще не было достаточно, и следовало бы вызвать на борьбу с ним голос самого общества. Как ни советовали еще последнему покрывать все яростные нападки его врагов одним горделивым молчанием, но многим, вместе с Пушкиным и Жуковским, казалось, что вмешательство общества в полемику было еще нужнее ему самому, для разрешения болезненных тревог его собственной совести и сознания, чем даже для отражения несправедливых обвинений со стороны. Конечно, выразительных слов: «бунт», «мятеж» — достаточно было для успокоения чувства законности у большинства тогдашней русской публики, но вопрос о нравственном праве употреблять силу оружия против идеи о политической самостоятельности у народа, которого много лет приучали к ней официально, — этот вопрос оставался и затем смутным для значительной части русской интеллигенции. На этот вопрос именно Пушкин и решился отвечать, противопоставляя польской идее и заграничной ее пропаганде другую идею, обнаруживавшую, по его мнению, настоящий исторический и нравственный смысл начавшейся борьбы двух родственных племен. Идея эта имела еще и то качество, что способна была оправдать меры, принимаемые для доставления ей торжества. 5-го августа 1831 года, за три недели до падения Варшавы, Пушкин написал по адресу европейс-

ких и польских врагов наших пьесу «Клеветникам России», которую можно назвать первой политической журнальной статьей, тогда написанной у нас по польскому вопросу,— и это несмотря на ее лирическую форму. Политическая мысль укрылась здесь под крыло Державинской оды и сложила тут свои зародыши, за неимением никакого другого приемника. Замечательно, что ей все обрадовались и, может быть, всего сильнее те, которые не считали возможным и нужным призывать на помощь своему делу независимый голос публицистики. Всем она даровала ключ к благоприятному толкованию смутного и щекотливого вопроса, но главная привлекательная ее сторона заключалась в том, что она как бы возлагала великую народную миссию на непосредственных, активных деятелей войны. Таким образом, настоятельная потребность минуты была удовлетворена, хотя, без сомнения, и в духе того времени. Много раз потом ссылались на мысль Пушкина, что польский вопрос представляет, по преимуществу, домашнее дело славянского мира, от поворота которого в ту или другую сторону зависит направление и будущность славянства вообще; много раз также и разрабатывали эту мысль в различных смыслах. За Пушкиным остается, в конце концов, непререкаемая честь первой попытки подложить нравственную и теоретическую основу под голый факт ненавистного столкновения двух родственных племен.

27-го августа, совершилось столь долго и нетерпеливо ожидаемое падение Варшавы, далеко не прекратившее, впрочем, как известно, развитие племенной борьбы. Пушкин приветствовал событие стихотворением «Бородинская годовщина», которое, вместе с пьесой «Клеветникам России» и стихотворением Жуковского по тому же случаю, напечатано в одной брошюре: «На взятие Варшавы, 1831 г.». Также точно напечатали они в одной и той же брошюре четыре народных сказки, сочиненные ими в Царском Селе, по уговору между собою. В это время они все делали сообща.

Более чем вероятно, поэтому, что и появлению той знаменитой пьесы предшествовал долгий обмен мыслей в дружеском кругу, который образовался около Пушкина в Царском Селе, и который состоял почти весь из лиц, приближенных более или менее к императорскому двору, а потому и знавших многие подробности и секреты политики, скрытые еще от глаз толпы. В кругу этом, между прочим, особенное покровительство и поощрение встретила мысль Пушкина основать печатный орган для отражения наговоров европейской прес-

сы. Сохранился отрывок из пробы Пушкина составить формальное прошение в этом смысле.

«У нас периодические издания не суть представители различных политических партий (которые в России и не существуют), и правительству нет надобности иметь свой официальный журнал; но тем не менее, в некоторых случаях, общее мнение имеет нужду быть управляемо. Ныне, когда справедливое негодование и старая народная вражда, долго растравляемая завистью, соединила всех нас против польских мятежников, озлобленная Европа нападает покамест не оружием, но ежедневной бешеной клеветою. Конституционные правительства хотят мира, а молодые поколения, волнуемые журналами, требуют войны... Пускай позволят нам, русским писателям, отражать бесстыдные и невежественные нападения иностранных газет».

Не дожидаясь однако же этого дозволения и не испросив, так сказать, благословения на подвиг, Пушкин возвысил голос — и успех, как упомянуто, оказался громадный.

Проект издания политического журнала не был вовсе покинут и после появления знаменитого стихотворения, — только, благодаря толкам и советам дружеского круга, в проект замешались теперь еще другие и гораздо более обширные планы, вместе с соображениями об окончательном устройстве общественного положения Пушкина. Действительно, надо было, думали тогда, определить место, которое следует занять поэту в свете, после того как он сделался семьянином, как миновала эра молодых увлечений и фрондерства, построенных на самом снисхождении тех, кого они затрагивали. Двор смотрел на Пушкина с участием, и при всяком важном случае его жизни доказывал это участие несомненным образом, как бы приглашая поэта отыскать сферу публичной деятельности, которая позволила бы ему рассчитывать на признательность, во имя общественных заслуг и достоинства своих трудов. По мысли дружеского круга, следовало выбрать еще занятие, рядом с обычными занятиями поэзией, которые в редких только случаях давали тогда устроенное гражданское положение. Дело было нелегкое. Пушкин не хотел и слышать ни о какого рода занятиях, которые ограничивали бы его независимость, изуродовали бы его талант; или потребовали бы сделок с совестью; он предпочитал лучше оставаться по прежнему «заподозренным» человеком, чем сделаться «выборным» на подобных условиях. Друзья Пушкина разделяли его сомнения, но в поисках за лучшими поприщами для будущей его деятельности и обществен-

ной роли они пришли к заключению, что в русском мире существуют два вакантных места, отвечающих всем наиболее взыскательным требованиям совестливого труженика. Первое из этих мест могло составить удел истинного журналиста, политического писателя, «уполномоченного» разъяснять публике дух, намерения и цели правительства и отклонять от него безумные толки, легкомысленную или превратную оценку его постановлений, обнаруживая их сущность и присущие им идеи. Второе место было еще обольстительнее: оно возводило Пушкина в должность официального историка Петровской эпохи и открывало путь к занятию государственного поста историографа, не имевшего еще своего представителя с самой смерти последнего его обладателя — Н.М. Карамзина. Как ни сильно отзывались еще эти предположения романическим и утопическим характером, но Пушкин с жаром ухватился за них: они отвечали тайным пожеланиям его собственной мысли. Он тотчас же и принялся за положение основ к их осуществлению, и не далее как в июне 1831 года подал уже просьбу генералу Бенкендорфу, в которой заявлял свое желание служить посредником между правительством и публикой, если оно того пожелает, и прежде всего заняться историей Петра I, с правом входа в государственные архивы.

Мы можем привести только черновой набросок этой просьбы. Не имея подлинника и не зная, увидит ли он когда-нибудь свет, полагаем, что и первоначальный, бледный абрис просьбы Пушкина будет все-таки любопытен для читателя. То достоверно — что при окончательной редакции автор документа сохранил большую часть его содержания. Это доказывается ссылкой на письмо в статье, принадлежащей перу высшего чиновника Третьего Отделения, М.М. Попова, который видел и самый документ (см. статью: «Алек. Серг. Пушкин» в «Русской Старине», 1874, т. X, август). Автор этой статьи цитирует из просьбы поэта, совершенно сходно с черновой ее подготовкой, только первое положение ее, где Пушкин жалуется на неполучение своевременно двух следовавших ему чинов и сопровождает цитату укоризненным замечанием от себя: «Знаменитый, уважаемый всею Русью, поэт печалился, что он в служебной иерархии не более, как коллежский секретарь». Тут есть, может быть, и невольное недоразумение. Пушкин, добиваясь права на посещение государственных архивов, не мог забыть, что оно, во-первых, обусловливалось тогда состоянием лица на службе по какому-либо ведомству, и часто находилось, по понятиям того времени, в тесной зависимости от чина, им носимого. Вот какие побуждения управля-

ли им, когда он напоминал о служебной несправедливости, ему оказанной, а совсем не мелкое тщеславие, как говорили еще при жизни поэта многочисленные его враги из Булгаринского лагеря, которые радовались всякому случаю навязать комическую погремушку на простую и очень малочестолюбивую фигуру поэта. Но вот и самый документ:

«Заботливость истинно отеческая государя императора глубоко меня трогает. Осыпанному уже благодеяниями Его В—ва, мне давно было тягостно мое бездействие. Я всегда готов служить ему, по мере моих способностей. Мой настоящий чин (тот самый, с которым я выпущен был из лицея), к несчастью, *будет мне препятствием* на поприще службы. Я считался в иностранной коллегии от 1817 до 1824 г. Мне следовало за выслугу лет еще два чина, т.е. титулярного советника и коллежского асессора. Бывшие мои начальники забывали о моем представлении, а *я им о том не припоминал*. Не знаю, можно ли мне будет получить то, что мне следовало.

Если государю императору угодно будет употребить перо мое для политических статей, то постараюсь с точностью и с усердием исполнить волю его величества. С радостью взялся бы я за редакцию «политического и литературного журнала», то есть такого, в котором печатались бы политические и заграничные новости, около которого соединил бы писателей с дарованиями, и таким образом приблизил бы к правительству людей полезных, которые все еще дичатся, напрасно полагая его неприязненным к просвещению. Осмеливаюсь также просить дозволения заняться историческими изысканиями в наших государственных архивах и библиотеках. Не смею и не хочу взять на себя звание историографа, после незабвенного Карамзина, но могу со временем исполнить давнишнее мое желание написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III».

Ответ не заставил себя ждать и превзошел ожидания Пушкина. 31 июля 1831 г., ему обещано было разрешение на издание газеты, и тогда же — с явной охотой и благорасположением — дано право на посещение и изучение государственных архивов и библиотек, под руководством статс-секретаря Д.Н. Блудова. Несколько позднее и уже после того, как были написаны обе патриотические пьесы («Клеветникам России» и «Бородинская годовщина»), т.е. в ноябре месяце, самым неожиданным образом устроилось и официальное, слу-

жебное положение Пушкина. Его причислили к министерству иностранных дел *сверх штата*, согласно с отзывом начальников ведомства, заявивших о неимении вакантных мест в своем распоряжении; но при этом Пушкину положено было весьма значительное, по времени, содержание, по 5000 р. ас. в год, что отчасти сравнивало его со сверстниками, успевшими обогнать поэта на иерархическом поприще. Казалось, все спешили на встречу желаниям и помыслам Пушкина в Царском Селе, и самые распоряжения, которых он был предметом, носят еще явную печать сочувствия к намерению поэта связать новый, семейный период своей жизни с дельным, обширным патриотическим трудом. Оставалось пользоваться предоставленными ему выгодами и свободой — и довести постепенно оба предприятия, взятые им на себя, до блестящих результатов, какие они обещали и каких он был в праве ожидать от своего труда. Известно однако же, что оба предприятия, на пути своего развития, встретили неожиданные помехи, преимущественно в нравственном, душевном, субъективном настроении их автора, — помехи эти в короткое сравнительное время успели остановить рост Пушкинских проектов, а, наконец, и вовсе упразднить их.

Главной силой, разрушившей планы Пушкина, были именно политические и общественные идеалы его, которые не уместились в рамках, официально заготовленных для них.

Историю падения замыслов Пушкина начинаем с проекта газеты. Не подлежит сомнению, что новый политический орган, задуманный поэтом, связывался у него с воспоминаниями о «Литературной Газете» барона Дельвига. Еще в предыдущем 1830 г. Пушкин мечтал о превращении издания друга в газету политическую и заготовил даже формальную просьбу в этом смысле, часть которой уже известна публике, по выдержкам из нее, напечатанным прежде, в наших материалах для биографии Пушкина, 1855 года. Побуждения, которые он тогда выставлял на вид, требуя дополнения «Литературной Газеты» политическим отделом, значительно разнились с теми, которые теперь легли в основу его нового прошения. Тогда он говорил о материальном и нравственном ущербе, какой терпели русские писатели от монополии «Северной Пчелы», захватившей иностранные известия и пользующейся этой даровой силой для привлечения, так сказать, *невольных* подписчиков и читателей и для распространения между ними своих корыстных, часто клеветнических нападков на врагов. На материальный ущерб, наносимый целому и наиболее достойному классу русских писателей, Пушкин всего бо-

лее и налегал, предполагая, что администрация будет особенно чувствительна к охранению интересов законного труда, честного добывания людьми насущных средств к жизни. Он ходатайствовал о добавлении газеты своего друга подцензурным политическим отделом единственно во имя справедливости, восстановления нарушенных прав писателей и доставления им возможности бороться равным оружием с соперниками, которые теперь занимают привилегированное положение в обществе. Внезапное исчезновение «Литературной Газеты» со сцены журнального мира сделало ненужным дальнейшее ходатайство о расширении ее программы.

Совсем другие требования заявлялись теперь Пушкиным, и действительно, теперь у него не то стояло на первом плане. Он собирался привлечь лучшие, надежнейшие силы нашего литературного мира к общей работе по выяснению существующих порядков русской жизни, по толкованию смысла правительственных мер и распоряжений, по развитию в обществе твердых политических идей — и особенно понятий о своем достоинстве, обязанностях и роли в государстве.

В разные эпохи нашей жизни и многими даровитыми нашими людьми давно уже сознавалась необходимость выйти из тяжелого положения, какое всегда выпадает на долю общества и частных лиц, которым приходится стыдиться тех самых основ существования, которым они покоряются. Весьма честные и благородные умы, с самого начала столетия, заняты были у нас постоянно отысканием нравственного смысла в коренных учреждениях государства — думали о реформе, преобразовании тех из них, которые почему-либо утеряли прежний смысл. Либеральный консерватизм не был новостью на Руси — и причина понятна: с осмысленным и поясненным фактом современного политического быта России как будто становилось легче для совести подчиняться всем его требованиям и естественным последствиям. Той же работе разъяснения, оправдания исторического положения государства и дополнения его, по возможности, новыми элементами нравственного содержания, Пушкин намеревался посвятить, вслед за некоторыми своими предшественниками, и новую политическую газету. Здесь не мешает заметить, что мысли, которые он собирался проводить в ней, были ему самому нужны, может быть, еще более, чем его будущим слушателям и читателям: они, эти мысли, восстановляли его морально в собственных его глазах, разрешали те *болезни совести*, которые сопровождают обыкновенно всякие перемены направлений и убеждений. Мало того — он питал еще и надежду, что идеальным представлением обязан-

ностей, лежащих на тех, которые занимают важнейшие функции в государстве, он привлечет их к высшему пониманию своего призвания и долга, чем и окажет немаловажную услугу современникам. Желая испробовать почву, на которой ему придется действовать, Пушкин представил даже рассмотрению ген. Бенкендорфа и образчики тона и приемов, в каких он намерен излагать выдающиеся события внутри империи, выбрав для этого несколько фактов из ближайшей современной истории[1]. Образчики эти, отчасти взятые им прямо из записной своей книжки, не имеют ничего общего ни по языку, ни по намерению, с рутинным, приниженным и подобострастным способом сообщать полуофициальные известия, какой тогда господствовал в нашей журналистике. Пушкин или дает картинный рассказ происшествия и оставляет его говорить таким образом самого за себя, или разъясняет его, смелым словом убежденного человека. Он собирался стать русским консервативным публицистом на *свой* образец, и его надобно было еще уметь понимать, прежде чем разлагать и ценить сущность его мнений.

Мысль — доставить русской форме политического быта такое же почетное место в области теорий государственного права и политических наук вообще, какое в них занимают наиболее уважаемые и ценимые формы правлений, пришла Пушкину опять как ответ на позорящие обвинения заграничной интеллигенции. Он сделался очень чувствителен к выходкам и диффамациям западного либерализма, направленным на *всю* историю России и на общество. Ему казалось, что отыскать нравственные начала, на которых зиждется наше государство, значит — оградить честь русского ума и народного характера, участвовавших в его образовании. И нет сомнения, что большинство тогдашних писателей, на содействие которых Пушкин и рассчитывал, пошли бы охотно за ним. Кому же не было бы дорого обрести идею и моральную основу в том порядке дел, в том роде жизни, с которыми связано бесповоротно все существование каждого из них; кому не была дорога возможность хотя бы диалектически развить и публично высказать затаенные верования и надежды своей души? Да и кроме того, многие распознавали в намерениях Пушкина еще более возвышенную цель, — именно, цель создать через посредство своего органа и для обращения в публике популярное

[1] Два-три таких образчика, отделенные от материалов и документов, которыми мы пользовались в прежних биографических опытах о Пушкине, напечатаны были в «Библиографических Записках», 1859, № 5, стр. 134, 135 и след.

учение, содержащее философски высокое понимание и определение вообще государственной власти, — они и не ошибались в этом.

Под программой журнала, действительно таилась у Пушкина общественная теория, имевшая в виду доставить государственной власти санкцию мысли и свободного анализа, наравне со всеми другими санкциями, ею прежде полученными со стороны церкви, права и народных убеждений. Не трудно наметить основные черты самой теории, как они сказываются в статье Пушкина о Радищеве, в разборе книги последнего, озаглавленной: «Мысли на дороге», и как они отложились во множестве отрывков, оставшихся после поэта в бумагах его, как просвечивали в устных его заявлениях, долго сохранявшихся его семейством и друзьями.

Теория Пушкина была опять, в сущности, не что иное, как отражение патриотических воззрений В.А. Жуковского, который подчинил им своего друга тем легче, что последний носил в себе зародыш такого направления уже издавна, по свидетельству ближайших его друзей, как, напр., кн. П.А. Вяземского. Вероятно, в Царском Селе оба поэта сошлись ближе в понимании сущности доктрины, которую один из них уже и прежде наметил в бессмертных словах, сказанных им в своей записке: «*Подробный план учения В.К. Наследника*», недавно опубликованной («Русск. Старина», 1880, февраль): «Уважай общее мнение: оно часто бывает просветителем монарха; оно вернейший помощник его... общее мнение всегда на стороне правосудного государя. Люби свободу, то есть правосудие... свобода или порядок одно и то же: любовь царя к свободе утверждает любовь к повиновению в подданных» и проч.

Консерватизм Пушкина совершенно совпадал с такой исходной точкой политических убеждений Жуковского, и оба они думали совершенно одинаково о важнейших явлениях русской жизни. Все духовные стремления общества, думал Пушкин, — все его надежды и чаяния, равно как и требования материального свойства, собираются в правительстве, как в естественном своем хранилище, данном историей. Они тщательно берегутся там до тех пор, пока с наступлением срока, переработанные долгой мыслью и в совете с лучшими умами страны, выходят опять на свет в образе учреждений, в форме создания новых и восстановления старых прав, — возвращаясь, таким образом, снова в народ, но уже становясь ступенью в его прогрессивном развитии. Нет ни стыда, ни унижения беспрекословно подчиняться такой чуткой власти, как бы, впрочем, она ни называлась: абсолютной, патриархальной, деспотической и т.д. Вот в крат-

ких словах сущность консервативной черты Пушкина, которая порождала известные его заявления в том же духе, часто останавливавшие на себе внимание его современников и последующих его ценителей, и которую он собирался развивать в новом своем органе.

Здесь необходимо сказать, что примеры иногда весьма оживленной критики заведенных порядков и официальных мероприятий, которая почасту встречается в записках и в корреспонденции Пушкина от этого времени, нисколько не свидетельствуют об его измене своим убеждениям. Напротив, он чрезвычайно дорожил новыми нажитыми убеждениями даже и после того, как принужден был отказаться от публичной их защиты. Можно доказать фактами, что всякий раз, как грубые толчки и удары со стороны реального мира нарушали стройность его консервативной теории, колебали ее основания и грозили потрясти веру в ее положения, он глубоко возмущался и спешил с горячим обличением всех тех, которые делом и примером своим поднимали на нее руку. Он становился в это время не только раздражителен и дерзок, но и глубоко несчастлив, — словно целость и неприкосновенность теории была ему необходима для возможности собственного существования, спасала его самого от большой умственной и нравственной беды.

Сложнее представляется на вид, с первого раза, другой вопрос, неизбежно идущий вслед за первым. Что же сделалось теперь у Пушкина с его темами о важности передового сословия в государстве, о призвании аристократии служить надежным посредником между народом и правительством, и с другими темами подобного рода?. Как помирил он новую свою консервативную теорию с прежней, которую никогда не покидал совсем, и которой придерживался, как известно, еще в 1835 году, то есть почти накануне смерти? Ответ на вопрос не так затруднителен, как он сначала кажется. Противоречие между двумя учениями при ближайшем рассмотрении сводится на простое недоразумение между двумя однородными силами, которые всегда наклонны к компромиссу и примирению. На *теоретической* почве особенно противоречье легко сглаживается. Не трудно было возвести, например, Пушкину, хотя он никогда не занимался философскими выкладками, оба принципа к высшему единству, и с помощью разных аналогий и диалектики самым естественным образом представить противоположные свои начала составными частями одного и того же целого, одного и того же общественного идеала, весьма способными к совместной жизни. Так именно и случилось с Пушкиным. Враждебные по натуре элементы свободно приютились

в его мысли и мирно процветали в ней рядом друг с другом, взаимно ограничивая и умеряя себя и представляя зрелище теоретической гармонии, какое редко дают те же элементы, когда они произрастают на реальной, исторической почве.

Но каковы бы ни были отношения Пушкина к обоим своим учениям, — несомненно, что для публичной их защиты в журнале требовался некоторый простор мысли, некоторая свобода в оценке явлений и право свободного критического разбора тех из них, которые могут затемнять светлый лик поставляемого на вид идеала. Это было, может статься, еще необходимее для позднейшей консервативной теории, чем для первой, либерально-олигархической, которая, нося на себе слишком явно фантастический характер, ни в каких особенных заботах и предосторожностях не нуждалась. Другое дело — учение о государственной власти. Нельзя же было, в самом деле, призывать публику к лучшему пониманию своего быта, хлопотать о поднятии уровня политических идей в обществе, проповедовать спасительные, ободряющие и укрепляющие истины, употребляя то же самое, полувнятное, пошлое бормотание, которое служило тогдашней печати при передаче ею внутренних и внешних событий. Для успеха распространения новых философско-политических начал между образованными людьми эпохи все-таки требовалось хотя бы подобие мужественной речи, нечто похожее на одушевление человека, проникнутого своим предметом, и желательно было действие бодрого слова, сбросившего с себя старую, обветшалую и изношенную оболочку. Но тут-то и встретились затруднения. Генерал Бенкендорф, заведовавший ходом и направлением общественной мысли и никогда особенно не доверявший благонадежности писателей и журналистов, не нашел и теперь достаточных причин для какого-либо изменения цензурных обычаев времени в пользу нового издания. Он думал, что, испробованный и освященный употреблением, способ понимать и излагать предметы политического характера — совершенно достаточен для русского общества и отвечает вполне всем умственным его запросам. К этому присоединилось у него закоренелое убеждение, что все, слишком возвышенные цели, поставляемые себе русскими людьми и все крупные их замыслы, выходящие за черту общего уровня дел и понятий, служат им только удобным способом скрывать тенденциозные намерения весьма сомнительного свойства. Он и не замедлил обнаружить вскоре эту часть своих убеждений самым недвусмысленным образом.

В 1832 г. явился альманах «Северные Цветы», изданный Пуш-

киным и его друзьями в пользу семейства покойного барона Дельвига. В этом сборнике статей, Пушкин поместил превосходное свое стихотворение: «Анчар — древо яда», которое и сделалось поводом довольно неприятной для автора истории. Под предлогом, что пьеса его, беспрекословно дозволенная к печати обыкновенной цензурой, не была предварительно послана на обсуждение верховной цензуры, как требовал того порядок, генерал Бенкендорф упрекал Пушкина в измене принятым на себя обязательствам, в нарушении честного слова и в обмане. Замечательно, что надзор, молчаливо терпевший доселе подобные же, довольно многочисленные уклонения Пушкина от правила — восстал теперь с горячим обличением и притом в такой форме, которая показалась слишком резкой Пушкину, так что он долго не мог забыть ее и вспоминал еще о ней с горечью, спустя четыре года, в письме к жене из Москвы, в 1836 г., когда состоял уже четыре месяца редактором журнала «Современник»: «Брюллов сей час от меня едет в П.-Б., скрепя сердце; боится климата и неволи. Я стараюсь его утешить и ободрить; а, между тем, у меня у самого душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист. *Будучи еще порядочным человеком*[1], я получал уже полицейские выговоры, и мне говорили: Vous avez trompé, и тому подобное. Что же теперь со мною будет? Мордвинов будет на меня смотреть как на Фаддея Булгарина и Николая Полевого, как на шпиона; черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом! Весело — нечего сказать[2]»

Пушкин, разумеется, принялся тогда отписываться, ссылаясь на прежние примеры и представляя новые доводы в свое оправдание. Он мол не хотел мелкими произведениями своей музы похищать время сильно занятых государственных людей, а все крупные произведения свои неотложно представлял на их рассмотрение и обсуждение и проч. Но, вместе с тем, он очень хорошо понимал, что сущность дела заключается совсем не в нарушении установленных правил относительно появления в свете его стихотворения, а в характере и содержании самой пьесы. Сопоставление различной участи раба и князя, действующих каждый по законам своего положения и призвания, показалось надзору отдаленным политическим намеком. Единственное объяснение несоразмерной с проступком живос-

---

[1] То есть, еще не облеченный формально в звание издателя политической газеты, как предполагалось сделать, в 1832 г. после опубликования программы и условий подписки.

[2] См. «Вестн. Европы» 1878, март, стр. 38.

ти и бесцеремонности упреков приходилось искать в досаде надзора на то, что подобные сомнительные и опасные мотивы поэзии могут еще встречаться под пером автора, после всех благодеяний, на него излитых. А, между тем, пьеса Пушкина не имела ничего преднамеренного и целиком вылилась, без всякой примеси, из одного его поэтического созерцания людей и природы. Все это заставило крепко призадуматься Пушкина. Если по поводу небольшого стихотворения, чуждого всяких намеков и посторонних целей, могли отродиться такие вспышки гнева и негодования, чего же можно было ожидать впредь для будущей газеты от подозрительности надзора? Бодрость Пушкина не устояла при мысли, что ему предстоит каждодневно садиться на скамью подсудимых и разъяснять непонятые надзором слова и фразы. Он упал духом. Когда московские его друзья, обрадованные известием о приобретении им печатного органа в свое распоряжение, просили его о программе и выражали самые сангвинические надежды на успех журнала, Пушкин поспешил охладить их настроение. Насмешливо и с досадой писал он им: «Какую программу хотите вы видеть? часть политическая — *официально* ничтожная, часть литературная — *существенно* ничтожная: известия о курсе, о приезжающих и отъезжающих — вот вам и вся программа... Я хотел уничтожить монополию и успех. Остальное мало меня интересует. *Газета моя будет немного похуже «Северной Пчелы»*. Угождать публике я не намерен, браниться с журналами хорошо раз в пять лет, и то — Косичкину, а не мне. Стихотворений помещать не намерен, ибо и Христос запретил метать бисер перед публикой: на то проза-мякина»...

Черновой отрывок любопытного письма, здесь приведенный, доказывает, что поэт не сразу отказался от намерения редактировать газету, хотя ясно прозревал, какая будущность ей предстоит. Но прошло немного времени, и невозможность дать свое имя изданию, которое должно было оказаться, по условиям существования, его ожидавшим, *немного похуже «Северной Пчелы»*, как он выразился, уяснилась ему вполне. Когда пропали из вида высокие цели и намерения, лежавшие в основании первоначального проекта, какая была надобность еще цепляться за него и посвящать ему свой труд. Пушкин принял намерение сдать обузу дальнейшего ведения постылого предприятия первому человеку, который согласился бы принять на себя роль подставного издателя. Он вскоре и нашел такого человека, да притом так обрадовался своей находке, что порядочно не разузнал и фамилии заместителя. В переписке с женой он постоянно

называл его «Отрыжковым», а, между тем, это было довольно известное и типическое лицо петербургского мира: статский советник, Наркиз Иванович *Тарасенко-Отрешков*.

Н.И. Отрешков успел составить себе репутацию серьезного ученого и литератора по салонам, гостиным и кабинетам влиятельных лиц, не имея никакого имени и авторитета ни в ученом, ни в литературном мире. Он прослыл агрономом, политико-экономом, финансовой способностью, не соприкасаясь с людьми науки и не выходя на арену публичности. Вероятно, в одном из петербургских салонов Пушкину и указали на Н.И. Отрешкова, как на образцового и дельного сотрудника по журналу. Отрешков не усомнился взять в свои руки газету, сделавшуюся предметом мук и отвращения для ее основателя, и вести ее без признака редакторской способности, без литературных связей в обществе и без капитала, нужного, чтобы поставить на ноги сложное предприятие. Пушкин не хотел ни во что вмешиваться. Вышло то, что должно было выйти — переговоры длились и ничем не кончились. Когда позднее, и уже после смерти Пушкина — один из многочисленных покровителей Отрешкова — граф Г.Г. Строгонов, назначенный председателем в опеке по делам Пушкинской фамилии, ввел Отрешкова, вслед за собой, и в опекунскую комиссию, он играл в ней весьма значительную роль. Под непосредственным наблюдением Отрешкова печаталось посмертное издание «Сочинений Пушкина», удивившее даже и тогдашнюю, не очень взыскательную публику, своей беспорядочностью, и он же предлагал, для устройства материального положения семьи Пушкина, меры, которые, без щедрот государя, выпавших на ее долю, конечно, не обеспечили бы прочно ее будущности к существованию, как это случилось. По окончании ликвидации долгов и имущества умершего поэта, Отрешков собрал бумаги, прошедшие через его руки, в течении довольно долгого процесса этого разбирательства, и принес их в дар императорской Публичной библиотеке. Там, в числе других документов, можно видеть и схематическое изображение наружного вида газеты, которую он брался издавать. Это — пустой лист бумаги, расчерченный пером на несколько отделов с оглавлениями: — Внутренние известия, внешние известия и т.д. Вот все, что осталось на свете от газеты и от политической *идеи* Пушкина.

Несколько более сохранилось документов и свидетельств от другого замысла Пушкина — написать историю Петра I, который тоже не осуществился, как и первый, но с тою разницей, что погасал уже медленно и постепенно, с ходом самых работ историка.

С необычайным рвением принялся Пушкин, особенно летом 1832 г., за разбор и чтение документов, касающихся царствования Петра I в государственном архиве, являясь туда каждодневно пешком с Черной речки, где жил. По первым же собранным материалам, он приступил к составлению текста, к спокойному, стройному повествованию о жизни и эпохе государя, точно предварительная критическая разработка свидетельств была уже кончена автором; за то, позабытая вначале, она явилась после в середине труда и расстроила его. Пушкин сам почувствовал, что прямое изготовление исторического текста после беглого взгляда, брошенного на данные, из которых труд должен вырастать — есть дело весьма преждевременное. Почти на каждой строчке своего повествования, он встречался с сомнением или относительно достоверности источника, откуда взят был описываемый факт, или относительно правильной постановки и освещения его. Все такие сомнения он обозначал вопросительными знаками в рукописи и — текст повествования покрыт такими знаками. Они указывали, где должна была произойти новая проверка данных и новое исследование их, в дополнение упущений первоначального поверхностного обзора. Несколько примеров Пушкинского исторического рассказа, пересеченного во всех направлениях такими предостерегающими знаками, и нарушающими как течение его, так и внимание и доверие читателя — собраны были нами в материалах для биографии Пушкина в 1856 г.

Историк однако ж продолжал упорствовать в намерении изготовить сперва текст сочинения для того, чтобы впоследствии разрушить его критической проверкой, и довел свою работу до 1689 года — провозглашения Петра единодержавным правителем государства. Тут он остановился, вероятно, потому, что дальше и нельзя было идти в этом направлении: масса преобразовательных мер монарха, требовавшая настоятельно классификации и тщательного разбора, загромождала дорогу. Пушкин переменил манеру труда; он отказался от эпического рассказа и заменил его самым кропотливым подбором, в хронологическом порядке фактов и указов царствования за каждый год, сопровождая выписки свои примечаниями для памяти, с целью, по всем вероятиям, воспользоваться теми и другими, когда достаточное количество собранного материала позволит приступить к составлению уже настоящей истории.

Вот эти именно примечания Пушкина к указам и событиям эпохи преобразователя — и тон, в котором почасту излагаются они, и составляют единственную существенную часть всего его труда. В

них обнаруживается тайная мысль историка,— та самая, которая неотступно преследовала его и прежде, и которая теперь помешала ему довести до конца свое предприятие и написать задуманную книгу — несмотря на весь его талант и на все его трудолюбие.

Чем яснее восставала перед ним картина деятельности Петра, благодаря самому предпринятому сборнику, тем сильнее укреплялось у Пушкина старое представление о гениальном императоре, как об олицетворении страшной бури, одинаково сметающей перед собой, без выбора и сожаления, все, что ей встречается на пути до тех пор, пока не истощится сама собой ее природная, феноменальная сила. Завзятому типу людей Александровской эпохи, каким был Пушкин, казалась тяжелою ношею даже и благодарность за великие отечественные подвиги, если они совершены с помощью крутых и нравственно-оскорбительных мер. Еще менее расположен был Пушкин, по личному характеру своему, оправдывать реформы, которые шли наперекор некоторым существенным народным особенностям, и возмущался ими, когда они не оставляли в покое частного, безвредного убеждения, или грубо затрагивали наивные, простосердечные верования. Большое расстройство в сознании Пушкина внесено было соображением, что *не вся правда* целиком, и при всяком случае, стояла на стороне грозного реформатора, а между тем меры, какие он принимал для доставления торжества своим ошибкам и погрешностям, ничуть не уступали в энергии и беспощадности мерам, с помощью которых он осуществлял и свои великие предначертания: люди гибли, положения уничтожались, общество колебалось уже в пользу явной исторической невозможности, чему свидетельством остался закон о престолонаследии и друг. Сквозь призму своего установившегося воззрения на Петра I Пушкин видел или думал, что видит, двойное лицо — гениального созидателя государства и старый восточный тип, *«бича божия»*. Рука Пушкина дрогнула. Уже много накопилось материалов для истории в его сборнике и ждало только обработки, а он все не приступал к ней. Он искал способа изобразить лик великого государя согласно со своим собственным пониманием его, и не оскорбляя официального мира, ожидавшего безусловной апофеозы преобразователя, для чего собственно и были открыты ему государственные архивы. Пушкин так и умер, не отыскав способа примирить эти два совершенно противоположные требования, и все продолжал еще собирать материалы, как будто от количества их ожидал совета, помощи и вдохновения в этом деле.

Большая часть заметок и примечаний Пушкина, на которых мы

основываем выводы, здесь изложенные, отличаются чрезвычайно живым, критическим характером. Известно, что посмертное «Собрание сочинений Пушкина» издавалось, по воле государя, почти без участия цензуры; но, прилагая к изданию свою обычную пометку о дозволении печатать (май и июнь 1840 г.), цензура все-таки заявила мнение о совершенной невозможности открыть право свободного обращения в публике многим циническим приговорам и заключениям автора. Места эти и были выпущены по ее настоянию, лишив остальную часть труда почти всякого интереса. Для оправдания цензуры того времени в этом случае достаточно сказать, что, по запальчивому тону и крайне резкому выражению мысли, заметки Пушкина и теперь, по прошествии почти 50 лет со времени их составления, походят скорее на ожесточенные тирады озлобленного человека, чем на вопросы и сомнения ученого. Выбираем из ряда Пушкинских заметок наиболее удобные для сообщения публике понятия об их общем характере:

«*1711 — 1714 г.* У князя Меньшикова на фейерверке на щите надпись: *«Где же правда, там и помощь божия»*; *однако Бог помог не нам*. В сие же время издан тиранский указ о запрещении во всем государстве каменного строения. — *1715*. Петр опять издал один из своих жестоких указов: он повелел приготовлять юфть по новым способам, по обыкновению своему, угрожая за ослушание кнутом и каторгою. — *1718*. Приказывает юфть для обуви делать не с дегтем, а с ворванным салом, под страхом конфискации и галер, как обыкновенно кончаются хозяйственные указы Петра. — *1721*. Указ о возвращении родителям деревень, принадлежащих им и невинным их детям, также и о платеже заимодавцам. NB. Сей закон справедлив и милостив, но факт из коего он проистекает — сам по себе, несправедливость и жестокость. От гнилого корня отпрыск живой. — *1721*. Сенат и синод подносят ему титул Отца отечества, Всероссийского императора и Петра Великого. Петр не долго церемонился и принял его. Сенат (т.е., восемь стариков) прокричали: vivat!. Петр отвечал речью гораздо более приличной и рассудительной, чем это все торжество. — *1722*. Петр был гневен. Дворяне не явились на смотр. Издал указ, превосходящий варварством все прежние. — *1722*. Манифест о праве наследства, т.е. уничтожил всякую законность в порядке наследства, и отдал престол на произволение...»

И так далее. Наиболее резким словом отличаются заметки, касающиеся женитьбы Петра на Екатерине магдебургской; процесса царевича Алексея, где встречается такое утверждение: «Петр хвас-

тался своей жестокостью», процесса несчастных Монсов и обстановки, сопровождавшей смерть реформатора.

Значило ли все это, что Пушкин не обладал надлежащим органом для понимания великой государственной стороны в деятельности Петра I, что он лишен был способности чутья и распознавания великих идей, управляющих поступками гениальных людей? Далеко от этого! Понимание величия задачи, поставленной себе преобразователем, и благоговение перед силой и ясностью, с которыми он проводил ее в народе, Пушкин обнаруживал не раз в течении своей поэтической деятельности. Он не выдержал только восторженного настроения своих стихотворений, посвященных имени Петра, когда ближе подошел к жизненным подробностям его царствования и услышал, так сказать, вопли жертв и шум развалин, падавших под ударами преобразователя, расчищавшего дорогу новому порядку дел и новым идеям. Художническая натура Пушкина мешала ему сделаться трезвым историком. Ему недоставало сухости воображения, необходимой для того, чтобы хладнокровно взвешивать и определять цену роковых событий, не чувствуя страшной, раздирающей драмы под ними, и не смущаясь ею, когда она выступает наружу. Поэтическая способность переноситься всецело в дальние эпохи и жить с ними, как бы в качестве их современника, мешала ему исполнять обязанности историка. Он слишком любил побежденных и проигравших свое дело, слишком возмущался, когда победители кичливо предавались торжеству, хотя бы последнее было вынесено самым историческим ходом дел и необходимостью. В числе его заметок находится одна, весьма важная, которая показывает, что он рад был встретиться на пути своих исследований с соображениями, которые открывали ему возможность войти в роль бесстрастного судьи и резонера гораздо полнее, чем он делал это доселе:

«Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды *ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости*; вторые — нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности или, по крайней мере, для будущего; вторые — вырвались у нетерпеливого, самовластного помещика.

«*NB. Это внести в историю Петра, обдумав*».

Итак, вот та твердо поставленная программа, из которой должен был у Пушкина возникнуть образ великого монарха. Сам собой

рождается при этом вопрос — была ли возможность этой программы, по времени, осуществиться на деле? Прежде всего тут бросается в глаза несколько искусственное деление цельной фигуры преобразователя на две части, имеющие каждая свое особенное выражение. Очень много возражений способно вызвать такое предполагаемое раздвоение политической деятельности у Петра I, так как источник ее, при всем ее разнообразии, был один и тот же — сознание могущества самодержавной власти, вера в дело, заботливость о будущем государства, непреклонная воля. Все это уравнивало перед лицом реформатора все сферы общества и администрации и клало одинаковую печать на все его распоряжения, великие и малые, без различия. Государственные учреждения, несмотря на свое коллегиальное устройство, следили за всяким настроением учредителя и предупреждали его, не веря в свою самостоятельность; в частных, хозяйственных предписаниях могущественного «помещика» легко усмотреть не малую долю благожелательства и мудрости, несмотря на их жестокую форму, которая так возмущала Пушкина. Но оставляя в стороне этот вопрос, следует остановиться еще на другом. Если бы Пушкину и удалось силой большого таланта провести искусно и счастливо параллель своей программы в историческом изложении — кого бы она удовлетворила? — Большинство публики и весь официальный мир ждали от поэта просто лучезарного лика Петра I и, конечно, возмутились бы всяким ярким пятном, которое бы на нем приметили; с другой стороны, даже и позволение на самый осторожный и необходимый, по существу дела, ввод теней в образ монарха Пушкин принужден был бы покупать ценою едва внятных намеков, полуоткровений, недоговоренных мыслей, что лишило бы его труд всякого наукообразного значения в глазах сведущих и компетентных судей. В виду разнообразных и одинаково настоятельных требований, успех историка становился сомнительным, какую бы дорогу, впрочем, сам автор ни выбрал. При таких условиях труда, естественно, что он должен был остановиться у Пушкина — и остановился действительно.

Как бы предчувствуя свою неудачу, Пушкин успел открыть для себя в архивах побочное дело, которое утешило его отчасти за медленный ход главной работы. Часто случается, что исследователь, свободно и доверчиво допущенный ко всем сокровищам богатого книгохранилища, знакомится там с документами, не касающимися прямо его предмета, но в высшей степени интересными. Таким документом, завладевшим всем вниманием Пушкина, оказалось дело о Пуга-

чевском бунте: оно сразу пробудило в нем производительную энергию, которая дремала за составлением все разраставшегося сборника петровских указов и крупных черт его жизни и примечаний к ним. Правда, что это второстепенное, побочное дело прямо перенесло Пушкина в сферу творчества, в ту сферу, где он был полным хозяином и господином своего таланта. Выписывая официальные данные о Пугачевском бунте и переделывая их в простой, чрезвычайно сдержанный и строгий рассказ — Пушкин в то же время воплощал дух эпохи и представлял картину события и жизненные его подробности в мастерском романе,— известной «Капитанской дочке». Эта образцовая историческая повесть зачалась в архивной пыли, выросла на донесениях, промемориях, следственных процессах, снятых ее автором с молчаливых полок, где они так долго покоились, а закончилась в одной из уральских станиц, куда в следующем 1833 году Пушкин отправился через Казань, Симбирск и Оренбург для проверки и осмотра места действий, как своего романа, так и своей истории. Эти близнецы назначены были пополнять один другого.

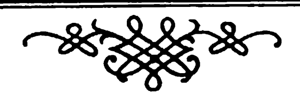
Историю Пугачевского бунта, которую озаглавить Пушкин хотел первоначально народным, генерическим прозвищем всей эпохи: «*Пугачевщина*», нельзя назвать в настоящем смысле слова историей. Это скорее дельная, хорошо составленная *докладная записка*, назначенная для быстрого ознакомления с предметом читателя, который бы поинтересовался им,— чем и объясняется ее хладнокровный, чисто объективный и невозмутимый тон, который так восхищал друзей поэта, и, между прочим, Н.В. Гоголя, когда она явилась в печати. Все краски, бытовые подробности, вся живость изображения этой русской «жакерии» выпали на долю «Капитанской дочки». Известно, каким изяществом постройки она отличается, каким добродушным юмором веет от описания патриархальных порядков того времени и создания типических характеров в духе эпохи...

Роман и историческая записка составили как бы отдых для Пушкина, явились чем-то в роде его *междуделия*, которое однако же еще сильнее напоминало ему самому и всем другим о главной задаче, за ним еще числящейся. Первенствующий его труд не подвигался вперед, даже собственно говоря не начинался вовсе, а нетерпение публики видеть первые его всходы росло с года на год. По рассказам приближенных Пушкина, его особенно тревожила мысль, что долгие сборы его на заложение фундамента истории — будут приписаны, пожалуй, отвращению к герою ее, могут показаться бегством

с поля сражения, или, что еще хуже, дадут повод подозревать его в преднамеренном обмане... Пушкин никогда не терял надежды найти выход из раздвоенного психического состояния, в каком находился по отношению к личности Петра I. Он продолжал свои работы, и еще в предпоследний год своей жизни (1836) уехал в Москву и провел несколько месяцев в тамошнем архиве М-ва Иностранных Дел. Но это было уже только поиском дополнительных сведений, потому что главные подготовительные работы были кончены еще в прошлом 1835 г., как оказывается из подписи на последней странице его сборника материалов: «15 декабря 1835».

Заканчивая наш опыт передачи, по неизданным документам, политических и общественных идеалов Пушкина, не можем обойтись без последней заметки. Идеалы поэта могут показаться теперь несостоятельными в своей сущности, построенными на данных, чуждых русской жизни; утопический, мечтательный их характер может быть обсуждаем и осуждаем более или менее строго, а научная сторона их — не выдерживать поверки и проч.; но человек, имевший подобные идеалы *пятьдесят* лет тому назад, останется вне приговоров и заключений, какие бы ни делали о его ученых и теоретических взглядах. Он всегда останется тем, чем был при жизни — представителем типа гуманного развития в свою эпоху, примером человека, который, при всех обстоятельствах, сохранил живое гражданское чувство, и всю жизнь обнаруживал неустанную энергию в проповеди справедливых, честных отношений межу людьми, за что и подвергался часто обвинению в беспокойном либерализме, — который, наконец, всею душою постоянно желал для своей родины умножения прав и свобод, в пределах законности и политического быта, утвержденного всем прошлым и настоящим России...

Май, 1880 г.



К истории работ над Пушкиным

18 Зак. 1295

I.
ПРОГРАММА И ПЛАН ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ А.С. ПУШКИНА.

1.
Объявление об издании сочинений А.С. Пушкина под редакцией П.В. Анненкова, 1855 года.

Принимается подписка на новое собрание сочинений А.С. Пушкина в конторе «Современника» при книжном магазине И.В. Базунова, на Невском проспекте, у Казанского моста, в доме г-жи Энгельгардт.

Новое собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина будет вмещать все стихотворные произведения поэта и все статьи его в прозе, заключающиеся в последнем посмертном издании его творений, которое появилось в 1838 и кончилось в 1841 году (11 томов). Сверх сего, в новое издание войдут стихотворения, помещенные в старых журналах и не попавшие в предшествующее издание, и значительное количество произведений его в стихах и прозе, никогда еще не бывших в печати. Они найдены в бумагах поэта, и о важности их можно судить по беглому перечету одних цельных, довольно больших произведений, которые украшают настоящее издание. В нем будут помещены: неизданные строфы «Евгения Онегина», дополнительные строфы «Домика в Коломне», перевод в стихах 23-й песни «Неистового Орландо», критический разбор первой песни «Слова о

полку Игореве», продолжение повести «Рославлев» и проч. Первый том настоящего издания будет состоять из биографии поэта, составленной преимущественно по бумагам его и дополненной записками, нарочно приготовленными для сего издания покойным Львом Сергеевичем Пушкиным, П.А. Катениным, Н.И. Павлищевым и соучениками поэта, изложившими свои воспоминания в одной общей записке. Портрет Пушкина работы Уткина, три снимка с рисунков пером, какие по своей привычке делал поэт на рукописях в самую минуту создания, и несколько снимков с отроческого, юношеского и установившегося его почерка будут приложены тоже к первому тому.

В отношении внешней красоты нынешний издатель сочинений Пушкина П.В. Анненков смеет думать, что он сделал все возможное для соединения в новом издании изящества с дешевизной. Как в этом отношении, так и в других, он имел преимущественно в виду дать публике собрание сочинений Пушкина, хотя отчасти достойное его и хотя несколько соответствующее ожиданиям почитателей народного поэта нашего.

Условия подписки следующие: за все шесть или, может быть, семь томов нового полного собрания сочинений Пушкина цена назначается 12 р. сер., а с пересылкою 15 р. сер. Первые три тома выдаются подписчикам непременно в конце марта месяца 1855 года, если не ранее, о чем будет объявлено в свое время, остальные — непременно в течение лета.

В Москве подписка принимается на тех же самых условиях (15 р. сер. с пересылкою и 12 р. сер. без пересылки) в московской конторе «Современника», на углу большой Дмитровки, против университетской типографии, в доме Загряжского, при книжном магазине И.В. Базунова.

Что касается до гг. иногородних и вообще жителей не столиц, то да благоволят они обращаться со своими требованиями прямо к издателю Павлу Васильевичу Анненкову по адресу: в С.-Петербург, в главном штабе, в квартире № 1-й, вход с Большой Морской. Благовременная подписка избавит их от промедления в доставке издания, что неминуемо последует, если ждать появления первых трех томов в продаже. Вместе с тем, гг. иногородние и вообще жители не столиц благоволят, при высылке 15 руб. сер., четко выставлять в своих требованиях адреса, а также имена, отчества и фамилии, для отстранения всякого повода к недоразумению, могущему затруднить безостановочное исполнение их требований.

2.
Объяснение к изданию «Сочинений Пушкина» 1855 года.

Порядок, принятый для распределения стихотворений и статей Александра Сергеевича Пушкина в настоящем полном собрании его сочинений, требует нескольких пояснительных слов с нашей стороны. Минуя произвольные и большею частию неудовлетворительные разделения стихотворений по родам, настоящее издание приняло в отношении их одну только систему хронологического порядка. Как способ указать постепенное развитие автора, границы и ход чужестранных влияний на него, а наконец, и видоизменения самостоятельной творческой его мысли, хронологический порядок заслуживал предпочтения пред другими. Со всем тем, по разнообразию поэтических форм, усвоенных Пушкиным, одинаковое зачисление всех его стихотворных произведений только под года происхождения их делалось невозможным. Небольшое лирическое стихотворение, прерванное поэмой или драмой, за которыми следовал бы быть ряд изящных мелких произведений его, точно таким же образом нарушенный, представили бы неудобство, равно чувствительное, как в типографском, так и в эстетическом отношениях. По этому соображению настоящее издание приведено было к необходимости, строго сохраняя везде основной хронологический порядок, принять еще три отдела для стихотворных произведений Пушкина, но при составлении этих отделов оно уже имело в виду одни внешние формы созданий и притом столь резко противоположные друг другу, что упрек в каком-либо смешении, кажется, мог быть отстранен с успехом. Отделы, принятые на этом основании, таковы: 1) отдел стихотворений лирических в обширном смысле; 2) отдел поэм, повестей, рассказов, народных эпопей и сказок, или эпический, и 3) отдел произведений драматической формы.

Первый отдел — стихотворений лирических — заключает в себе все так называемые мелкие произведения Пушкина, начиная с 1814 года по 1836. «Лицейские стихотворения» образуют в этом отделе одно подразделение, которое обнимает время с 1814 по 1817 год, хотя уже в последнюю половину этого года автор не принадлежал более лицею, но сохранить историческую верность тут не было крайней необходимости. Известно, что даже большая часть произведений следующего 1818 года носит еще заметным образом характер, отличающий лицейские стихотворения. В «лицейское» подразделение, о котором говорим, и отчасти в 1818 год приняты настоящим изданием

21 пьеса автора нашего, напечатанные прежде в старых журналах и альманахах, но пропущенные посмертным изданием его сочинений 1838 — 1841 годов. К ним еще присоединено 7 пьес, совсем еще не бывших в печати, что все подробно объяснено в примечаниях издателя к самым стихотворениям. Примечания эти следуют у нас по окончании каждого года и относятся к каждому из произведений, в нем помещенному, указывая на особенности в языке и отчасти изъясняя историю происхождения пьес.

Второй отдел — поэм, повестей, рассказов и проч. — заключает в себе, в строгой хронологической последовательности, поэтические произведения автора, начиная с «Руслана и Людмилы» (1820 г.) до «Анджело» (1833 г.). Тут же помещен и роман «Евгений Онегин» (1825-1832 гг.). Примечания нашего издания следуют здесь тотчас за каждым отдельным произведением, а собственные заметки поэта, как при романе «Евгений Онегин», так и при других созданиях, отнесены уже в самый текст, в подстрочные выноски. В отношении простонародных сказок, принадлежащих, вместе с «Песнями западных славян», к тому же отделу, примечания издателя следуют уже тотчас за примечаниями автора, не смешиваясь с ними и только поясняя или дополняя их.

Третий отдел — произведений драматической формы — открывается «Борисом Годуновым» (1825 г.) и сообщает затем, в хронологической цепи, весь ряд небольших драм и сцен до «Русалки» (1832 г.). В этот отдел не зачислен только «Разговор книгопродавца с поэтом», но Пушкин сам подал пример печатания его в лирических сочинениях, и вероятно, по тому соображению, что «Разговор» не имеет сущности драматической сцены. Примечания настоящего издания следуют тому же порядку, как и в предшествующем отделе, а здесь сообщаем читателю причины, понудившие к составлению их и предметы, которыми они занимаются вообще.

Критическое обсуждение, какому подвергнуто было в журналах прежнее посмертное издание сочинений Пушкина, достаточно указало недосмотры и упущения его. Первою заботой нового издания должно было сделаться исправление текста издания предшествующего, но это, по важности задачи, не иначе могло произойти, как с представлением доказательств на право поправки или изменения. Отсюда вся система примечаний, допущенная в настоящее издание. Каждое из произведений поэта без исключения снабжено указанием, где впервые оно явилось, какие варианты получило в других редакциях при жизни поэта, и в каком отношении с текстом этих редакций

находится текст посмертного издания. Читатель имеет пред глазами своими, таким образом, по возможности историю внешних и отчасти внутренних изменений, полученных в разные эпохи каждым произведением, и по ней может исправить недосмотры посмертного издания, из коих наиболее яркие исправлены уже и издателем предлагаемого собрания сочинений Пушкина. Многие из стихотворений и статей поэта, особенно те, которые явились в печати уже после смерти его, сличены с рукописями, и по ним указаны числовые пометки автора, его первые мысли и намерения. Само распределение стихотворений в хронологическом порядке находит в примечаниях свое оправдание и подтвердительные данные, которые почерпнуты отчасти из оставшихся бумаг поэта, а отчасти из сборников, бывших при жизни его, где стихотворения его помещаемы были тоже в хронологическом порядке. Таковы: Стихотворения Александра Пушкина. С.-Пб., в типографии департамента народного просвещения, 1826 г., 1 часть, стр. XII и 192; Стихотворения Александра Пушкина. С.-Пб., в типографии департамента народного просвещения, 1829 г., 2 части, стр. 224 и 176, Стихотворения Александра Пушкина. С.-Пб., в типографии департамента народного просвещения, 1832 г., 1 часть, стр. 208; Стихотворения Александра Пушкина. С.-Пб., в типографии департамента народного просвещения, 1835 г., 1 часть, стр. 189; Поэмы и повести Александра Пушкина. С.-Пб., в военной типографии, 1835 г., 2 части, стр. 232 и 221. Вместе с вариантами и филологическими заметками, примечания, в некоторых случаях, представляют и поводы, определившие выбор предмета у автора. Вполне убежденный, что в нынешнем своем виде примечания еще далеко не исчерпывают всей задачи, которую имели в виду, издатель смеет только думать, что опыт критического издания сочинений Пушкина, предпринятый им, не останется без некоторой пользы для изучения отечественного языка и для важных эстетических соображений.

Переходя к статьям в прозе, необходимо заметить, что одинаковое хронологическое распределение их было еще менее возможно, чем в произведениях формы стихотворной. По разнообразию, несоединимости и краткости некоторых статей оно произвело бы здесь смешение, которому вряд ли самая счастливая память и самое напряженное внимание могли бы пособить. Отделы, принятые настоящим изданием, основаны преимущественно на биографических соображениях. Таким образом, первый отдел заключает так называемые «записки» Пушкина. В нем помещены: a) родословная Пушкина и Ганнибаловых; b) остатки настоящих записок (автобиографии)

Пушкина, к числу которых относится и статья о Дельвиге; c) мысли и замечания; d) критические заметки; e) анекдоты, собранные Пушкиным; f) путешествие в Арзрум в 1829 году. К этому отделу следовало бы присоединить и статью «Кирджали», если б не останавливало нас название повести, данное ей самим автором.

Второй отдел заключает повести и романы Пушкина, с остатками повестей не оконченных, в хронологическом порядке. В этот отдел зачислены и «Сцены из рыцарских времен», не смотря на их драматическую форму, но уже известно, что они представляют собственно план создания, которому дан только внешний вид сценического изложения.

Третий отдел заключает журнальные статьи, напечатанные в разных повременных изданиях при жизни автора, и другие, найденные в бумагах уже после смерти его, образуя таким образом два подразделения. В первом (произведения, напечатанные в разных журналах при жизни автора) включено несколько статей, пропущенных посмертным изданием: a) из «Московского Телеграфа» 1825 года — две статьи, не попавшие в посмертное издание сочинений Пушкина; b) из «Литературной Газеты» 1830 года — четыре статьи, пропущенные посмертным изданием; c) из «Литературных прибавлений к Русскому Инвалиду» 1833 года — одна статья, пропущенная посмертным изданием; d) из «Современника» 1836 года (издания Пушкина) четыре статьи, тоже не попавшие в посмертное издание. Второе подразделение вмещает затем все статьи, отысканные в бумагах поэта после смерти его и напечатанные как в «Современнике» 1837 года (издания друзей покойного), так и в посмертном издании его сочинений 1838 — 1841 годов. Из ряда этих статей одна: «О драме», значительно искаженная изданием 1838 — 1841 годов, является совсем в новом виде.

Наконец, последний четвертый отдел заключает «Историю Пугачевского бунта», с приложениями, и одну статью, пропущенную посмертным изданием 1838 — 1841 годов, именно: «Возражения (Пушкина) на критику г. Броневского».

Примечания нашего нового издания в том смысле и направлении, как уже показано, сопровождают прежде всего самые отделы, объясняя подробнее цель их, а затем и все произведения, в них заключающиеся. Вместе с примечаниями к стихотворениям они обнимают, по возможности, всю деятельность автора, оставляя впрочем еще очень многое для последующих исследований.

Затем в рукописях Пушкина отыскано множество отрывков, как

стихотворных, так и прозаических, некоторое число небольших пьес и продолжения или дополнения его созданий. Все эти остатки, принадлежащие, по большей части, к позднейшему его развитию, собраны уже нами, как в «Материалах для биографии Александра Сергеевича Пушкина», так и в приложениях к ним. Читатель уже видел там еще никогда не бывшие в печати произведения, между которыми «Замечания на Песнь о полку Игореве» занимают столь важное место.

Объяснив таким образом порядок и систему, положенные в основании нового сборника, издатель нисколько не скрывает от себя, что найдется еще много упущений и недосмотров, как в примечаниях к произведениям нашего автора, так и в других отношениях. При трудности собирания у нас библиографических сведений, при кропотливой работе, какая нужна была для осуществления предположенного плана, недостатки почти неизбежны. Со всем тем издатель смеет питать надежду, что при системе, взятой для нового издания, всякая поправка сведущей и благонамеренной критики скорее может быть приложена к делу, чем прежде, и всякое новое сведение скорее найти себе приличное место. Арена для библиографической, филологической и эстетической критики открыта. Общим действием людей опытных и добросовестных ускорится время издания сочинений народного писателя нашего вполне удовлетворительным образом.

Одно последнее слово в отношении правописания. А.С. Пушкин имел свое особенное правописание, которое более или менее проявлялось в газетах, журналах и альманахах, куда он посылал свои произведения, а также и в изданиях сочинений, сделанных под собственным его наблюдением. Эти орфографические особенности собраны нами тоже в примечаниях, а вместе с ними и некоторые из тех, которые уже не принадлежат поэту нашему, а употреблены посторонней редакцией его сочинений. Как те, так, и другие, заслуживают внимания: это образцы грамматических колебаний нашего языка, которые следовало сохранить для будущего историка его развития.

1-го сентября 1853 года.

3.
Объяснение к VII-му тому «Сочинений Пушкина» 1857 года.

Представляя публике новый том «Сочинений Пушкина» окончательно довершающий издание его «Сочинений», появившееся в 1855 году, считаем необходимым предуведомить читателя, что этот седьмой и последний том содержит в себе несколько пьес нашего автора, еще не бывших в печати, несколько произведений, уже опубликованных прежде, и довольно значительное количество дополнений к статьям и стихотворениям, вышедшим в свет при его жизни. Мы имели намерение собрать все, что ходит еще по рукам из записок, посланий, экспромтов поэта и может быть сообщено публике, но усилия наши не вполне увенчались успехом. Правда, мы приобрели убеждение, что количество и качество остающихся еще отрывков ни в каком случае не должно быть велико; но сознаемся, что читатель может еще встретиться и после нашего издания с посланием, экспромтом или стихотворною запиской поэта, тщательно сбереженными от известности. Скажем однако же здесь, что всякое издание классического писателя должно соответствовать времени своего выхода и потому неизбежно иметь своего рода ограничения и условия: задача издания состоит только в том, чтоб не быть ниже потребностей и возможностей современности. Предоставляя таким образом будущим издателям поэта все возможные дополнения, мы не хотим откладывать долее сообщение новых и довольно значительных приобретений наших. В полном убеждении, что успех попыток собрать весь текст Пушкина еще долго останется у нас более чем сомнителен, мы приступаем теперь же к изданию седьмого, дополнительного тома, разделив его на две части: a) часть стихотворную и b) часть прозаическую. Каждая из этих частей, по плану нашему, имеет еще свои подразделения. Так, часть стихотворная распадается на три отдела, которые здесь перечисляем: 1) большие отрывки в стихах, не вошедшие в состав последнего издания «Сочинений Пушкина» 1855 года; 2) выпущенные места из стихотворений и поэм; 3) небольшие отрывки, надписи, поэтические мысли, эпиграммы. Часть, содержащую в себе прозу Пушкина, мы делим также на три отдела: 1) статьи исторического и биографического содержания, 2) статьи полемического содержания и 3) чисто-литературные статьи. Всем произведениям обеих частей сообщен, по возможности, хронологический порядок, который укажет читателю настоящие места приводимых статей

и стихотворений в издании «Сочинений Пушкина» 1855 года, где тот же самый порядок был строго наблюдаем. В конце книги приложены подробные алфавитные указатели ко всем стихотворениям и статьям Пушкина, заключающимся в семи томах нашего издания, а также и указатель к «Материалам для биографии» поэта, которые помещены в 1-м томе того же издания.

II.

ЛЮБОПЫТНАЯ ТЯЖБА.

Короткий промежуток времени между 1848 годом и 1854 — годиной сильного разгара Крымской компании, памятен русской литературе по многочисленным тяжбам и процессам, какие она вела с цензурною практикой той эпохи. Почти всегда проигрывая их и выходя из всякого дела еще в худшем положении, чем была, она все-таки не унималась, что объясняется постоянным приливом новых сил к арене ее деятельности, возникновением в среде общества духовных стремлений и нравственных вопросов, чувствовавших нужду заявить о своем существовании. Большая часть подобных тяжб и препирательств происходила по сомнениям о пригодности или непригодности подсудной статьи в данную, текущую минуту, но были из них и такие, которые обнаруживали направление внутренней политики на почве цензурных распоряжений и затрагивали вопросы русской культуры вообще. Можно пожалеть, что тяжбы последнего рода не были доселе рассказаны теми, кто их возбуждал в качестве истцов. К числу подобных характерных тяжб следует отнести ту, которая возникла по поводу издания «Сочинений Пушкина» 1855 года. Один из документов завязавшегося тогда процесса вокруг издания приводится здесь, как любопытный по выводам, которые он дает относительно духа и образа действий низших агентов тогдашней литературной полиции.

Документ этот состоит просто в выдержках из официальной «записки», которую издатель «Сочинений Пушкина» 1855 года получил дозволение, в виде исключения из общих правил цензурной практики, подать в главное правление цензуры. Задача и цели «записки» должны были заключаться в объяснении тех мест из старых и новых, еще не изданных произведений Пушкина, которые возбуди-

ли сомнения цензора (А.И. Фрейганга), их просматривавшего, и приговорены были им к исключению. Дозволению этому, как редкому примеру снисходительности в летописях цензурного ведомства, предшествовал еще, как было слышно, предварительный обмен мыслей в самой администрации надзора над печатью. Попечитель Петербургского учебного округа М.Н. Мусин-Пушкин, одобривший и утвердивший все помарки своего цензора, выражал, по слухам, мнение, что такая поблажка издателю могла бы послужить дурным примером для авторов вообще, постоянно заявляющих нестерпимую претензию знать причины цензурных распоряжений, до них не касающихся. Министр народного просвещения А.С. Норов, получивший литературное образование, склонялся на сторону представления объяснений, а также и другой член комитета, начальник штаба корпуса жандармов, генерал Л.В. Дубельт, который не находил опасности для действующих по печати законов в допущении «записки», ни для кого не обязательной при решении спорных пунктов. Их мнение и одержало верх.

Понятно, какою осторожностью и сдержанностью должна была отличаться записка, если хотела спасти, хотя бы отчасти, пушкинский текст в этой последней и безапелляционной инстанции для исков литературного характера. Дело казалось с первого взгляда необычайно легким. Ни одно место из статей Пушкина, ни один стих из его песен и отрывков, заподозренных цензором и присужденных им к устранению, не заключали в себе и тени злонамеренности, неприличия, какого-либо намека или соблазна, как в том могут убедиться сами читатели по «выдержкам», где все эти места собраны. Но простой, настоящий их смысл был затемнен в глазах цензора, который, между прочим, пользовался репутацией тонкого эксперта по части отгадки тайных авторских намерений благодаря только его привычке встречать всякую незаурядную мысль и сильное чувство вопросом об их происхождении и по своему усмотрению определять, благонадежно ли оно и имеет ли прямые доказательства своей законности. Обличению этой постоянной заботы г. цензора, увлекавшей его далеко в сторону от разбираемого текста, и указанию, до каких неимоверных решений она довела его, посвящена исключительно и вся «записка» издателя.

Но поучительная сторона приводимых «выдержек» из «записки» все-таки заключается не в этом обличении, а в тоне, в приемах речи и в доводах, какие понадобились издателю для того, чтобы заставить себя выслушать и иметь право рассчитывать на некоторый

успех. Исполняя свою специальную задачу — объяснение мыслей, слов и выражений поэта, трактат держится на таком уровне понятий, прибегает к помощи такого рода соображений, что рисует степень развития и умственное настроение людей, для которых он назначался, а также и положение печати за двадцать пять лет назад. Приходилось держаться исключительно того способа понимать предметы, который один мог доставить доводам «записки » силу убеждения и внушить к ним доверенность. Составитель ее ищет аргументов для защиты своих положений и требований не во внутренней правде, которая в них заключалась или могла заключаться, а в той счастливой случайности, что они не противоречат ни одной из господствующих идей в обществе. Вся «записка», таким образом, получила характер и оттенок адвокатской речи, произнесенной в защиту беспомощного клиента, нуждающегося в снисхождении своих судей, и странное впечатление производит теперь вся ее аргументация, когда вспомнишь, что клиентом тут был не кто иной, как Пушкин.

Для полного понимания состава и ценности той ставки, около которой шла эта цензурная игра, должно сказать следующее. При самом возникновении мысли об издании сочинений поэта воспоследовало, как всем тогда было известно, высочайшее повеление, предоставлявшее покойной Наталье Николаевне Ланской, матери и попечительнице детей Пушкина, право на повторение в новом, предполагавшемся издании всех произведений поэта без исключения, напечатанных в посмертном издании 1838 — 1841 годов, которое тоже обязано было своим осуществлением единственно прямому вмешательству и указанию верховной власти. Таким образом главный материал всего предприятия был наготове, и притом уже изъятый от всякого рода браковки. Без охранной грамоты, данной ему вновь помянутым распоряжением, которое сдерживало в границах приличия и разума ревность литературной полиции, не известно, что сталось бы с доброю частью литературного состояния поэта, уже столько лет находившегося в обладании читающей публики. По крайней мере из прилагаемого документа оказывается, что цензор заносил руку и на стихотворения, давно обошедшие в старом издании весь русский мир, и между прочим, на патриотическую песнь «Герой», доказывая тем еще раз, что охрана государственных начал, устроенная на бюрократическую ногу, часто теряет из виду в погоне за призраками, ею созданными, ту самую цель, ради которой она и существует.

Понятно, что стихотворения Пушкина, рассеянные по старым нашим журналам, начиная с 1814 года, и не попавшие в посмертное

издание 1838 года, а также статьи, отрывки и все сокровища его музы, почерпнутые в его рукописях, уже не пользовались благодеянием охранного листа и остались без защиты. О них именно и шло все дело.

В том же положении находились еще и «Материалы для биографии Пушкина», и примечания к его произведениям, собранные самим издателем; но тут уже составитель их знал, при какой обстановке и в каких условиях он работает, и мог принимать меры для ограждения себя от непосредственного влияния враждебных сил. Оно так и было. Не трудно указать теперь на многие места его биографического и библиографического труда, где видимо отражается страх за будущность своих исследований, и где бросаются в глаза усилия предупредить и отвратить толкования и заключения подозрительности и напуганного воображения от его выводов и сообщений.

Можно сказать, и уже было говорено, что дополнение издания вновь открытыми или позабытыми произведениями Пушкина не имело той важности, какую ему придавали в то время. Остатки пушкинского творчества, рано или поздно, все-таки увидали бы свет. Ведь не могли же они пропасть бесследно: появление их составляло только вопрос времени, которое и постаралось бы разрешить эту задачу и, конечно, с большим успехом, большею полнотой и в больших размерах, чем как то оказалось возможным для нетерпеливых собирателей. Достоверно по крайней мере, что, предоставив работу будущим и более свободным эпохам, не встретилось бы печальной необходимости жертвовать стихами, строфами, периодами пушкинского текста для сбережения остального клочка его раздробленной мысли, как это случилось и должно было случиться со многими отрывками и цельными его произведениями при несвоевременном их опубликовании. Торопиться и хлопотать о немедленном их обнародовании было поэтому незачем.

Позволительно усомниться в основательности этих замечаний. Подчинять все многоразличные побуждения к деятельности в жизни спокойному, дельному и бесстрастному умствованию о несостоятельности, их ожидающей несомненно при известных данных в обществе, вряд ли значило оказывать услугу этому обществу. В настоящем случае даже и не видно, каким образом издатель мог бы, опираясь на трезвое понимание эпохи, устраниться от исполнения своей прямой обязанности издателя. Он должен был питать желание ознакомить публику, хотя отчасти, с объемом неожиданно доставшего-

ся ей художнического наследства; он не имел права освободиться от побуждения представить публике сборник произведений поэта на столько полный, на сколько позволяла настоящая минута, и ввести в него все то, что могло весьма мирно ужиться с социальным положением тогдашнего общества. Если даже и при этом он встретил еще препоны на своем пути, он обязан был одолеть их, хотя бы для устранения противников приходилось употреблять оружие, у них же отобранное или позаимствованное. Точно такими же соображениями руководилась и вся тогдашняя печать наша, когда, не зная устали и не обращая внимания на поражения, она беспрестанно предъявляла новые иски к цензуре и вела их теми же способами и приемами, какие употребил и составитель «записки», хотя масштабы тяжб были тут иные. О верности этого замечания могут свидетельствовать оставшиеся еще в живых деятели той эпохи. Вообще следует сказать, что сильно ошибаются те из наших современников, которые представляют себе положение русской литературы в описываемый промежуток времени исключительно и безусловно страдательным и отличавшимся будто бы одною примерною инерцией и выносливостью. Писатели, издатели, труженики всех родов, напротив, много и деятельно работали тогда и притом двойным трудом — по своим специальным задачам, во-первых, и, во-вторых, в борьбе с обстоятельствами, которые застили им свет и заслоняли дорогу, что становилось как бы необходимым дополнением избранной профессии. Глухая война, безнравственная во многих своих подробностях, царствовала по всему пространству интеллигентного мира публицистов, литераторов, ученых, и она-то именно и спасла все зародыши развития мысли, какие существовали в обществе. Если нравственные и умственные силы общества оказались на лицо и даже в значительном обилии тотчас же, как сняты были первые путы, мешавшие их движению, то этот несомненный факт нашей жизни, удививший многих, а некоторых и неприятно, подготовлен был всецело предшествовавшим периодом литературы. Главнейшие ее деятели ни на минуту не сомневались за всю эту эпоху в неизбежном появлении дня свободного труда, которого и дождались.

Переходим к документу нашему, снабжая его отметками касательно участи, которая постигла каждое из осужденных мест пушкинского творчества в окончательной их проверке.

Выдержки из объяснительной записки, поданной издателем «Сочинений Пушкина», 1855 — 1857 годов, главному правлению цензуры в 1854 году.

1.

Места из не изданных пушкинских произведений, вошедшие в состав «Материалов для биографии» поэта и предложенные к исключению г. цензором.

I.

К исключению.

«На об. страницы 69 (по рукописи) не попавшие в печать — по выражению издателя — отдельные стихи из предисловия к поэме «Кавказский Пленник»:

a) Когда я погибал, безвинный, безотрадный,
И шепот клеветы внимал со всех сторон,
Когда кинжал измены хладной,
Когда любви тяжелый сон
Меня терзали и мертвили,
Я близ тебя...

b) Я рано скорбь узнал, постигнут был гоненьем,
Я жертва клеветы и мстительных невежд,
Но, сердце укрепив надеждой и терпеньем...

c) Когда роскошных дев веселья
Младыми розами венчал
И жар безумного похмелья
Минутной страсти посвящал...

Объяснения издателя.

Места эти из предисловия к «Кавказскому Пленнику» совершенно в том же духе написаны, как и настоящее предисловие к нему, которое всегда прилагалось при поэме (и ныне будет приложено). Они не содержат никакого намека на людей, ибо принадлежат к байроническому направлению, которое в то время (1822) было в моде. В биографии издатель еще представляет эти места как образец неудачного желания произвести поэтическое лицо на ложных основаниях и приводит слова Пушкина, который в том сознавался сам, от чего отрывки имеют важное значение для биографии, во-первых, как поучение будущим писателям, а во-вторых, как подробность для картины развития поэтического таланта в самом авторе.

(Отрывки получили дозволение явиться к печати).

II.

К исключению.

а) «На стр. 95 и об. (по рукописи) мнение о Шуйском и сравнение французского короля Генриха IV с Дмитрием Самозванцем:

«Я также намерен возвратиться к Шуйскому. Он представляет в истории странное смешение дерзости, изворотливости и силы характера. Слуга Годунова, он один из первых переходит на сторону Димитрия, первый начинает заговор, и заметьте — он же первый и старается воспользоваться сумятицей, кричит, обвиняет, из начальника делается сорванцом. Он уже близок к казни, но Димитрий с тем великодушием ветрености, которая отличала этого пройдоху, дает ему помилование — изгоняет его и снова возвращает ко двору своему, осыпая честью и щедротами. И что же делает уже стоявший раз под топором? Тотчас же принимается за новый заговор, успевает, захватывает престол, падает и в падении своем уже показывает более воинства и душевной силы, чем в продолжение всей своей жизни.

Димитрий сильно напоминает Генриха IV. Он храбр и хвастлив, как тот. Оба переменивают религию для политических видов, оба любят войну, удовольствия, оба наклонны к необыкновенным предприятиям и оба служат целью многочисленных заговоров. Но Генрих не имел Ксении на совести; правда, что это ужасное обвинение еще не доказано, и я считаю своей обязанностью ему не верить.

«Грибоедов не доволен был Иовом».

Объяснения издателя.

Эти места из писем Пушкина на французском языке о своей трагедии «Борис Годунов» (и из перевода их на русский язык издателем) заключают суждения поэта об исторической трагедии вообще. В правилах о цензуре (статья 10-я) выражено: ...«Всякое общее описание или сведение касательно истории, географии и статистики России дозволяется цензурою, если только изложено с приличием и без нарушения общих цензурных правил.» Письма Пушкина не противоречат предписанию закона, и потеря их была бы значительным пробелом в истории трагедии «Борис Годунов». Уже известно глубокое уважение Пушкина к Карамзину. В описании Шуйского он следует во всем указаниям историка, справедливо назвавшего гонителя фамилии Романовых хитрым царедворцем, захватившим престол, который не ему следовало занять. В характеристике Димитрия Самозванца Пушкин дозволяет себе сделать сравнение с королем Генрихом IV, но только в одном отношении легкости, хвастливости и войнолюбивости. Что касается до Марины Мнишек, то коварное честолюбие ее очерчено ярко Пушкиным, и кажется, нет причины щадить эту женщину, образец западной и польской цивилизации, произведшей подобное существо. Все остальное — беглые исторические очерки, а потом рассуждение о законах трагедии, которые Пушкин полагал только в истине характеров, все прочее считая второстепенным, вот по-

b) На стр. 282 — 284 (по рукописи) во французском письме Пушкина о Борисе Годунове, кроме текста, соответствующего вышеприведенному отрывку, подчеркнуто следующее место:

«Ma tragédie... est remplie de bonnes plaisanteries et d'allusions fines à l'historie de ce temps-là... Quant aux grosses indécences — n'y faites pas attention»

c) Также точно указано к исключению и место о Марине Мнишек и о предке поэта. О первой:

«Après avoir gouté de la royauté — voyez-la, ivre d'une chimère, se prostituer d'aventurier en aventurier, partager tantôt le lit dégoutant d'un juif, tantôt la tente d'un cosaque, toujours prête à se livrer à quiconque qui peut lui présenter la faible espérance d'un trône qui n'existait plus».

О предке Пушкина:

«Гаврило Пушкин est un de mes ancêtres; je l'ai peint tel que je l'ai trouvé dans l'histoire et dans les papiers de ma famille. Il a eu de grands talents. Homme de guerre, homme de cour — c'est lui et Плещеев qui ont assuré le succès de Самозванец par une audace inouie».

чему и сказал в виду классиков и романтиков, воевавших тогда между собою на бумаге: «Si je me mêlai de faire une préface(к «Борису Годунову»), je ferais du scandale»[1], что переведено у издателя: «Если бы я вздумал написать предисловие (к «Борису Годунову»), не обошлось бы без шума». Во всех этих письмах могут подлежать исключению разве два слова для ослабления мысли, в сущности безвредной, именно при описании Димитрия в период: «Димитрий с тем великодушием ветрености, которая отличала этого любезного пройдоху...» Можно было бы выбросить слова: «любезного» и «великодушием».

(Издателю сочинений Пушкина не удалось однако ж пожертвованием двух эпитетов в определении личности Димитрия провести заметку о нем поэта вполне. Из печатного текста писем мы видим, что место, где находилось сравнение Димитрия с Генрихом IV, и где упоминалось имя Ксении, все-таки исключено из издания. В замен, объяснения издателя помогли пройти в печать бойким характеристикам личностей Шуйского, Марины Мнишек, Гаврилы Пушкина. Вместе с ними дозволены к обнародованию и все отрывочные фразы писем, начиная с заметки Грибоедова об Иове и кончая теми, которые видимо испугали цензора только словами, в них заключавшимися: plaisanteries, indécences, scandale. Впрочем мы знаем по чер-

[1] Фраза, тоже предложенная к исключению г. цензором.

новым оригиналам этих самих писем, с которыми публика ознакомилась недавно на Пушкинской выставке, что несколько фраз и незначительных заметок исключено было из них самим издателем, и по весьма понятным причинам. Как бы подействовала, например, на подозрительного судью добавочная фраза Пушкина к замечанию, что надо понимать намеки его трагедии, подобному тому, как это было необходимостью для «наших домашних безделушек Киева и Каменки» (comme dans nos sousoeuvres de Kiow et de Kamenka), или место, следовавшее за фразой: «Грибоедов не доволен был Иовом: И — справедливо. Патриарх был очень умным человеком, а я, по рассеянности, сделал из него простака («Le patriarche, il est vrai, était un homme de beaucoup d'esprit, j'en ai fait un sot par distraction»). В то подозрительное и суровое время для печати они могли бы повлечь запрещение писем Пушкина о «Борисе Годунове» целиком, как произведений сомнительного духа и настроения. А письма эти, конечно, стоили сохранения: это драгоценный пример того, как история и ее главные лица отражаются в уме гениального художника.

III.

Приговоры г. цензора

На стр. 104 (по рукописи), к исключению Пушкинского размышления:

«Искренно признаюсь, что я воспитан в страхе почтеннейшей публики, и что не вижу никакого стыда угождать ей и следовать духу времени. Это первое признание ведет к другому, более важному: так и быть, каюсь, что я в литературе скептик (чтоб не сказать хуже), и что все ее секты для меня равны, представляя каждая свою выгодную и невыгодную сторону. Обряды и формы должны ли суеверно порабощать литературную совесть?»

Объяснения издателя

Исключение этого места может быть только объяснено словами секты и обряды, употребленными тут невзначай, ибо само место относится к спору о классицизме и романтизме, в котором принял участие и Пушкин, помещено именно при описании этого спора и никакого отношения ни к чему другому не имеет. Об угождении вкусу публики упоминает Пушкин пространно, что публика наклонна к классицизму, и что нет никакого стыда для писатели подчиняться этому требованию. Другого смысла никакого тут и быть не можст: так ясно, определенно все высказано. Если действительно слова: секты, обряды не терпимы в отрывке, то слово секты может быть заменено словами «партии» или «школы», а слово обряды словом «уставы» или «правила».

(Отрывок Пушкина был одобрен к печатанию без изменений, как знаем из печатного текста. Ирония предложения заменить одни невинные слова другими, столь же невинными, была почувствована и комитетом... Но какие мысли ходили в голове цензора, когда он указывал на это место, как на предосудительное?)

IV.

К исключению.

На стр. 112 и об. (по рукописи) резкое мнение Пушкина о Державине в письме к Дельвигу:

«По твоем отъезде перечел я Державина всего, — и вот мое окончательное мнение. Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка (вот почему он ниже Ломоносова). Он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии, ни даже о правилах стихосложения: вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо. Он не только не выдерживает оды, но не может выдержать и строфы (исключая чего — знаешь). Что же в нем? Мысли, картины и движения истинно поэтические. Читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника... Державин, со временем переведенный, изумит Европу, а мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем о нем. У Державина должно будет сохранить од восемь да несколько отрывков, а прочее сжечь. Гений его можно сравнить с гением С*. Жаль, что наш поэт слишком часто кричал петухом. Довольно о Державине».

Объяснения издателя.

Это мнение Пушкина о Державине принадлежит к 1825 году. Но здесь издатель просит обратить внимание на одно обстоятельство. Он поместил именно этот отрывок для того, чтоб показать как с течением времени и с накоплением опытности, идей и развития мыслящей способности Пушкин изменял постепенно свои суждения об авторах к лучшему. Все это пространно изложено вслед за отрывком. Таким образом отрывок делается в биографии поучительным примером, как истинно замечательный писатель поправляет собственные свои суждения и предостерегает других от ранних увлечений, кончающихся неизбежно раскаянием. В этом его моральное значение... С этой точки издатель просит и судит его выбор из рукописей, а не отдельно, без связи с главною мыслью и главною задачей его биографии. Совсем другое дело, если бы приведенный отрывок сопровождался у него кичением, желанием ослабить уважение к признанным заслугам или даже равнодушием к прежним славным писателям; все это на обороте в биографии, что может быть подтверждено как свидетельством самого г. цензора, так и начальства, разбиравшего его труд.

(Суждение о Державине явилось в свете не тронутым, но сколько потребовалось труда на изобретение мотивов, которые оправдывали бы смелость представления его на суд цензуры! В патетической речи издателя ему пришлось даже сослаться на чистоту и благонамеренность своих побуждений! И все это по поводу одной заметки о Державине! Дело объясняется существованием тогда общего цензурного мероприятия, по которому не должна была допускаться к обнародованию никакая критическая оценка старых классических писателей, если она может умалить их авторитет. Распоряжение было вызвано доносами на критические разборы литературы В.Г. Белинского, будто бы оскорбляющие народную гордость и помрачающие славу великих мужей России. Издателю «Сочинений Пушкина» предстояло обойти это распоряжение. Он принужден был для этого даже включить, при печатании текста Пушкинского письма, подстрочное примечание, в котором повторяется почти буквально мысль объяснения, верная в том смысле, что в позднейший период жизни Пушкин вообще относился с великим вниманием и большою снисходительностью к старым нашим писателям. Благодаря этим приемам письмо Пушкина прорвалось сквозь изумительное распоряжение, лишавшее общество права оценивать своих писателей, доставило литературе возможность воспользоваться при случае прецедентом, примером отступления цензуры перед собственным стеснительным постановлением и, наконец, ознакомило публику с чрезвычайно метким и остроумным определением Державина, сделанным лет восемнадцать ранее подобного же определения В.Г. Белинского. Фраза: «гений его (Державина) можно сравнить с гением С*» должна читаться:.. «с гением Суворова»).

V.

К исключению.

На стр. 139 и об. (по рукописи) стихотворение Пушкина о собственной его жизни:

«Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, в бедности, в чужих степях
Мои утраченные годы!

Объяснения издателя.

Это истинно гениальное стихотворение составляет одно из украшений русской литературы и принадлежит к роду лирическому, описывающему личные ощущения поэтов. Оно выражает глубокое чувство раскаяния души, потрясенной воспоминаниями своих проступков. В этом роде и теперь беспрестанно пишутся и печатаются стихотворения (разумеется, гораздо меньшего достоин-

«Я слышу вновь друзей предательский привет
На играх Вакха и Киприды,
И сердцу вновь наносит хладный свет
Неотразимые обиды.

И нет отрады мне — и тихо предо мной
Встают два призрака младые,
Две тени милые, два данные судьбой
Мне ангела во дни былые.

Но оба с крыльями и с пламенным мечом
И стерегут — и мстят мне оба,
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах вечности и гроба».
19 мая 1828.

ства), легко получая цензурное одобрение, так как изложение душевных ощущений составляет сущность произведений лирического рода, без чего он обойтись уже не может. Следует заметить высокое нравственное значение Пушкинского стихотворения, в котором он сам оценивает прежнюю свою жизнь по справедливости и видит ее недостатки — залог будущего исправления. Стихотворение также важно для отечественной словесности, как и для узнания души поэта. В этом же роде составлена известная, знаменитая (высочайше уже дозволенная) пьеса его: «Когда для смертного умолкнет шумный день». Предлагаемое стихотворение служит только продолжением его. Издатель почти уверен, что оно, по неимению ясно противоцензурных условий, будет допущено в какомнибудь журнале и тем лишит биографию дорогого приобретения, а его самого — справедливой чести первого открытия.

(Два подчеркнутых стиха в тексте стихотворения, возбудившие сомнение у г. цензора, могли повлечь, по тогдашней цензурной практике, запрещение всей пьесы, чего, к счастью, не случилось) и отрывок прошел благополучно с сохранением и заподозренных стихов).

VI.

К исключению.

На стр.84 (по рукописи),отрывки о бессмертии души (написанные Пушкиным, как произведение Ленского, одного из действующих лиц его романа «Евгений Онегин»:

«Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа,

Объяснения издателя.

Стихи эти представлены Пушкиным как образец тяжелых, нелепых Оссиановских стихов, какими занимался Ленский, действующее лицо в «Онегине». Они написаны с целью пародировать и предать насмешке подобные философствования, а не с целью выставить их на показ, что и сам он, объясняет далее. Для ослаб-

Могилу пережив, уносит мысли
вечны,
И память, и любовь в пучины
бесконечны, —
Клянусь! Давно бы я покинул
грустный мир,
Узрел бы я предел восторгов,
наслаждений,
Предел, где смерти нет, где нет
предрассуждений,
Где мысль одна живет в небесной
чистоте;
*Но тщетно предаюсь пленитель-
ной мечте».*

ления всякой, самой легкой двусмысленности в них следует, может быть, выпустить первый стих и всю пьесу начать со второго.

(В «Материалах для биографии Пушкина», 1855 года эта пьеса, дозволенная к печатанию без выпусков, сопровождается тоже примечанием («Сочинения Пушкина» 1855 года, т. 1, стр. 328), повторяющим сполна доводы «объяснения», чему один пример мы видели уже и прежде. Предложение издателя выпустить первый стих, оказавшееся не нужным, видимо сделано было для того, чтобы сохранить отрывку какой-либо смысл, потому что с устранением трех стихов (они подчеркнуты в оригинале), как предлагал г. цензор, весь отрывок превращался в чистейшую бессмыслицу. В этом случае, как и в других, ему подобных, происходило нечто сходное с выбрасыванием за борт части багажа для спасения корабля, одолеваемого бурей. Сравнение рисует также и положение литературы того времени).

VII.

К исключению.

На стр. 136 (по рукописи), отрывок из письма Пушкина о программе газеты, которую дозволено ему было издавать (в 1832 году):

«Он (Пушкин) получил дозволение на издание газеты, но почти на другой же день писал с досадой: «Какую программу хотите вы видеть? Известия о курсе, о приезжающих и отъезжающих: вот вам и вся

Объяснения издателя.

Смысл этого места не может, кажется, подлежать сомнению, если принять в соображение рассказ биографии. В 1832 году Пушкин получил дозволение на издание газеты, но, по непривычке к делу и своей неспособности быть редактором всеедневной газеты, дозволением не воспользовался. Друзья его ожидали между тем от газеты чего-то нового,

программа. Я хотел уничтожить монополию...Остальное мало меня интересует», и проч.

необыкновенного, и тогда, для охлаждения их расспросов, Пушкин с тою трезвостью ума, которая его оставляла только в несчастные минуты страсти, написал вышеприведенные укоризненные строки.

(Отрывок получил дозволение явиться в печати, но остается загадкой, как мог явиться вопрос о его непригодности к тому?)

VIII.

К исключению.

На стр. 268, 271, 274, некоторые выражения в сказках Арины Родионовны.

«Царь женился на меньшой, и с первой ночи она понесла».

«Один из сыновей уродился чудом, ноги серебряные, руки золотые и проч.»

«Царь пьет из проруби; кто-то его хвать за бороду и не выпускает... Царь взмолился... Задумался бедный царь».

«Царь, (другой, подземного царства) повелевает Ивану Царевичу построить церковь в одну ночь. Царевна, обратясь в муху, является к нему: «Не печалься, Иван Царевич, скинь портки, повесь на шесток да спи, а завтра возьми молоточек, ходи около церкви»... Царевич думал, думал и наконец сказал: «А ну же его! повесить так повесить, голова мне не дорога»... По утру церковь готова».

«Марья Царевна превращает Ивана Царевича в церковь, а себя в священника... церковь ветха, священник стар».

Объяснения издателя.

Все эти места принадлежат к сказкам няни Пушкина Арины Родионовны, со слов которой он их записал, и которые послужили для составления стихотворных сказок, как самому Пушкину, так и В. А. Жуковскому. Все эти выражения, как: с первой ночи понесла, уродился чудом, хвать за бороду (первая фраза воспроизведена целиком в высочайше дозволенной уже сказке Пушкина: «Царь Салтан», а вторая буквально повторена в сказе В. А. Жуковского: «Царь Берендей»), кажется, имеют характер простодушия, отстраняющий всякую мысль о соблазне, и вряд ли могут ввести в искушение даже очень простого человека. Фразу: «скинь портки» издатель, сам исключавший подобные выражения, просмотрел в течении своей работы.

(Обороты и образы народного языка, так развязно вырванные г. цензором из безыскусственной речи Арины Родионовны, благополучно миновали проверку и явились вполне в приложении к «Мате-

риалам для биографии Пушкина», 1855 года (см. т. I, стр. 438), за исключением фразы: «скинь портки, повесь на шесток», уступленной и самим издателем, так как не подлежало уже сомнению, что она обречена будет во всяком случае на изгнание из печатного текста).

IX.

К исключению.	*Объяснения издателя.*
Следующие подчеркнутые стихи в различных отрывках и цельных пьесах Пушкина:	Истинный смысл подчеркнутых стихов в разных отрывках, здесь прилагаемых, не имеет какого-либо двойного или соблазнительного значения, — иначе он, издатель, первый не допустил бы этих отрывков в свою биографию, как он уже сделал со многими другими ему представлявшимися.
a.	a.
«Не женщины любви нас учат, А первый *пакостный* роман».	Автор говорит здесь о вреде раннего чтения романов и употребляет резкое прилагательное «пакостный» (впрочем, весьма верное в отношении французских романов).
b.	b.
«Мой не дочитанный рассказ В передней кончит век позорный, *Как «Инвалид», иль «Календарь»*.	Автор говорит об Инвалиде и Календаре не как об изданиях академии и проч., а как о старых газетах и указателях, не нужных по окончании известного срока.
c.	c.
«В пещере тайной, в *день гоненья*, Читал я *сладостный* коран — Внезапно ангел утешенья, Влетев, принес мне талисман».	Автор здесь набрасывает первый очерк известного стихотворения «Талисман» и заставляет говорить мусульманина, не имея нисколько намерения показать сладость корана и ангелов Магомета, что было бы совершенною нелепостью.
d.	d.
«На место праздных урн и мелких пирамид, Безносых гениев, растрепанных харит, Стоит широкий дуб над важными гробами, Колеблясь и шумя»...	Автор здесь говорит о неприличии языческих памятников над гробницами, и еще надо прибавить, что все стихотворение, откуда взят отрывок, проникнуто у него глубоким христианским чувством.

е.

Выражение об александрийском стихе: «Растрепан он свободною цензурой». (Из «Домика в Коломне»).

е.

Автор говорит об александрийском стихе, вспоминая Буало, — и хваля его, прибавляет, что его стих растрепан, то есть, испорчен свободною цензурой во Франции и усилиями гг. Гюго и др.

(Полученное дозволение на сохранение всех этих отрывков тем особенно важно, что оно сберегло от искажения, при печатании, другое драгоценное открытие в рукописях Пушкина, именно великолепную его думу: «Когда за городом, задумчив, я брожу», что было бы не возможно, если бы указание цензора под литерой *д* было принято во внимание).

2.

Места из стихотворений Пушкина, уже напечатанных в старых альманахах и журналах, предложенные г. цензором к исключению, с объяснениями издателя.

I.

Предварительное объяснение.

Издатель принимает смелость сказать несколько слов о причинах, побудивших его к собранию старых произведений Пушкина для составления возможно полного издания его, которое могло бы служить образцом для последующих. При нынешнем развитии отечественной библиографии, когда усилия многих людей посвящены исключительно на собирание остатков русской старины и всего, что произведено в отечестве по части литературы ученой и словесной, всякое издание без характера библиографического уже не возможно. При таком направлении, свидетельствующем о возрождающихся любви и уважении ко всему своему, строгое исключение старых произведений за некоторую еще юношескую их горячность и даже за некоторое увлечение (если оно только не переступает настоящих границ приличия) лишает издание настоящего достоинства его, полноты, системы и выводов для науки изящного. Самое горькое при этом для самого издателя «Сочинений Пушкина», употребившего на них труд добросовестный, состоит в том, что произведения, им собранные, могут явиться в журналах и сборниках беспрекословно (по неимению явных противоцензурных условий), а ему воспрещены. Он понесет не заслуженный упрек от публики и от критики в нерадении и неосмотрительности, на которые уже не будет иметь права и отвечать, по закону. Не один он занимается теперь, благодаря Бога, отечественным просвещением и собиранием всех его памятников, без вы-

ключения даже и самых малых. Вот почему старые произведения Пушкина уже пять лет появляются в журналах: «Современнике», «Москвитянине», «Отечественных Записках». Многие из них издатель Пушкина отстранил, как неудобные к печатанию, сам, но по крайней мере ходатайствует за те, которые по строгом осмотре, выбрал для представления высшему цензурному начальству. Конечно, если самый тщательный разбор еще не удостоится внимания, то издание будет столь ничтожно, что потребует нового, которое опять будет затруднять управление цензуры домогательствами о вмещении пропущенных стихотворений и статей. Нынешнему издателю, с другой стороны, грозит награда за труд, которой он, конечно, не ожидал. Первый журнал напечатает стихотворения, не попавшие в его сборник, и спросит: где были глаза у собирателя?

Текст Пушкина с определениями и указаниями г-на цензора.

К исключению.

На стр. 3 и об. из стихотворения: «К другу-стихотворцу».

«В деревне, помнится, с мирянами простыми
Отшельник пожилой и с кудрями седыми
В миру с соседями, в чести, довольстве жил
И первым мудрецом у них издавна слыл.
Однажды, осушив бутылки и стаканы,
Со свадьбы, под вечер, он шел немного пьяный;
Попалися ему на встречу мужики:
Послушай, батюшка, сказали простаки,
Настави грешных нас: ты пить ведь запрещаешь,
Быть трезвым всякому всегда повелеваешь —
И верим мы тебе; да что ж сегодня сам?
Послушайте, сказал отшельник мужикам;
Как... вас учу, так вы и поступайте;
Живите хорошо; а мне не подражайте».

Объяснения по поводу указаний господина цензора.

Переходя к заметкам о самих стихотворениях, издатель обязан сказать, что пьеса «К другу-стихотворцу» была первая напечатанная пьеса Пушкина и поэтому известна всему читающему русскому миру. Она появилась в журнале «Вестник Европы» 1814 года. Окончание ее, здесь представленное к исключению, может быть еще ослаблено и лишено всякого неприличного намека выпуском слова батюшка в 8-м стихе.

(Для понимания странной цели предварительного объяснения, которое отстаивало всеми возможными соображениями ту истину, что для полного собрания сочинений необходимо включить в него и произведения автора, найденные в старых журналах, — надо вспомнить еще раз, что позволение на новое издание Пушкина дано было с условием держаться безусловно текста прежнего посмертного издания 1838 года. Так как последнее не заключало себе пьес автора, погребенных в старых журналах и альманахах, то для напечатания таких пьес требовалось уже новое ходатайство и новое дополнительное согласие. Отсюда и горячий, настойчивый тон издателя, убеждающего судей в том, что, по видимому, не требовало никаких доказательств. Само решение их разбирать старую пьесу Пушкина уже было выигрышем, свидетельствуя о тайном сочувствии к плану издателя, чего он и добивался. Пьеса «К другу-стихотворцу» прошла невозбранно, удержав за собою и слово батюшка, но слово «отшельник», вместо священник, так и осталось за штатом. Впрочем, эта замена никого не обманывала. Как она, так и точки в стихе: «Как... вас учу, так» и пр. легко восстановлялись и тогда: священник, «как в церкви вас учу». Притом же издатель напечатал подставное слово: «отшельник» курсивом в тексте и еще упомянул о нем в примечании к стихотворению. «Вестник Европы» 1880 года (сентябрь), перепечатав пьесу без изменений и пропусков из «Вестника Европы» 1814 года, косвенно намекнул тем на любопытный факт, что литературный язык 1814 года был свободнее того же языка в 1856 и называл вещи и предметы настоящими их именами, что уже возбранялось позднее.

II.

К исключению.

На обороте стр. 7 (по рукописи), окончание стихотворения: «Блаженство»:

Счастлив юноша в мечтах!
Выпив чашу золотую,
Наливает он другую;
Пьет уж третью; но в глазах
Вид окрестный потемнился,
И несчастный утомился.
Томну голову склоня,
«Научи, сатир, меня»,
Говорит пастух со вздохом,

Объяснения издателя.

Это стихотворение тоже принадлежит к самым первым произведениям Пушкина и напечатано в «Вестнике Европы» 1814 года. Оно гораздо приличнее многих так называемых лицейских стихотворений, вошедших в состав посмертного издания высочайше дозволенных и ныне к перепечатанию. Все первые опыты Пушкина имеют теперь значение чисто историческое и потому, кажется, совершенно безвредны. Они

«Как могу бороться с роком?
Как могу счастливым быть?
Я не в силах больше пить».
«Слушай, юноша любезный,
Вот тебе совет полезный:
Миг блаженства век лови!
Помни дружбы наставленья:
Без вина здесь нет веселья,
Нет и счастья без любви;
Так поди ж теперь с похмелья
С Купидоном помирись,
Позабудь его обиды
И в объятиях Дориды
Снова счастьем насладись».

важны только тем, что показывают, как от французских подражаний Парни, Грекуру, Шолье и проч. перешел он к серьезным, чисто народным и, по временам, глубоко религиозным произведениям. Для показания этого поэтического хода в развитии поэта преимущественно и собраны они были издателем, и на это указывают, как сама биография, так и все примечания к сим ранним произведениям его музы. К тому же, в более гладкой и искусной форме подобные стихотворения и ныне допускаются к печати обыкновенной цензурой.

(Пьеса получила одобрение к печати, и пуританизм цензора не признан достаточною причиной ее устранения).

III.

К исключению.

На об. стр. 30 (по рукописи), целиком все стихотворение «Элегия».
«О ты, которая из детства
Зажгла во мне священный жар!
. . . .
. . . .
Я звучным строем песней новых
Тебя приветствовать дерзал,
Будил молчанье скал суровых
И слух ничтожных устрашал;
Услышат песнь мою потомки
Средь отдаленнейших веков,
И лиры гордые обломки
Переживут венки льстецов».

Объяснение издателя.

Кроме того, что вся эта элегия, кажется, не имеет ясных поводов к исключению, но она уже была помещена на наших глазах в журнале «Современник» 1853 года, почерпнувшем ее из старого альманаха «Северная звезда» 1829 года. Это не один пример участи стихотворений Пушкина, о которой упомянуто выше.

(Пьеса была пропущена, благодаря этому указанию на противоречия цензурного ведомства с самим собою. Вместе с другими подобными же указаниями, доверенность к его определениям была сильно поколеблена, как мы слышали, в глазах главного правления цензуры. «Современник» оказал услугу изданию, напечатав пьесу прежде всех).

IV.

К исключению.

На стр. 9 (по рукописи):

a.

Окончание Стихотворения «К Н.Г. Л — ву».

«Когда ж пойду на новоселье
(Заснуть, ведь, общий всем удел),
Скажи: Дай Бог ему веселье!
Он в жизни хоть любить умел».

b.

Четыре стиха, напечатанные в первом издании «Руслана и Людмилы» (1820), но не вошедшие во второе (1828):

Ужели Бог нам дал одно
В подлунном мире наслажденье?
Вам остаются в утешенье
Война, и музы, и вино.

c.

Пять стихов «Руслана и Людмилы», таким же образом не введенные из первого издания во второе:

«Не прав фернейский злой крикун!
Все к лучшему: теперь колдун
Иль магнетизмом лечит бедных
И девочек худых и бледных,
Пророчит, издает журнал:
Дела, достойные похвал!»

(Оба выпуска находятся в примечании издателя к «Руслану»).

Объяснения издателя.

Первое из этих мест, кажется, не заключает в себе намерения какого-либо неприличного намека, а вторые два составляют варианты к поэме «Руслан и Людмила», которые издатель просит позволения обозначить по крайней мере одним стихом, если не могут быть допущены в печать вполне.

(Допущены вполне, как и окончание стихотворения «К Н.Г. Л-ву». Приходится опять задавать себе вопрос: какими соображениями мог руководиться цензор, осуждая на изгнание стихи, не представляющие даже и тени чего-либо похожего на вольнодумство? Впрочем далее увидим, что тот же цензор нашел предосудительным и самое предисловие Пушкина ко второму изданию поэмы, имевшее в виду исключительно критиков этого произведения).

3.

Места, присужденные цензором к исключению из прозаических статей и заметок Пушкина, большинство которых тоже не попало в посмертное издание 1838 — 1841 годов.

I.

К исключению.

На об. стр. 12 (по рукописи), в статье «Заметка на сцену из фон-Визина: Разговор у княгини Халдиной» Пушкин, разбирая характер Сорванцова, одного из действующих лиц этой сцены, говорит:

«Он продает крестьян в рекруты и умно рассуждает о просвещении. Он взяток не берет из тщеславия и хладнокровно извиняет бедных взяткобрателей. Словом, он истинно русский барич прошлого века».

Объяснения издателя.

Этот разбор неизданной сцены фон-Визина написан Пушкиным в 1831 году и тогда же напечатан в «Литературной Газете» Дельвига. Сцена вошла в состав Смирдинского издания фон-Визина. Как она, так и разбор Пушкина, известны всем более двадцати лет, да и самое место, кажется, содержит осуждение поступков выдуманного лица и злоупотреблений фон-Визинского времени, не имеющего никаких отношений к настоящему. Такие злоупотребления и тогда преследовались публикою в комедиях и сценах.

(Место восстановлено по приговору комитета, но осуждение его предварительною цензурой опять свидетельствует, что в ее практике заметки, свободно являвшиеся на свет в 1831 году, уже возбуждали тревогу, хотя бы касались и таких явлений, с которыми боролось само правительство).

II.

К исключению.

На об. стр. 67 (рукописи) отрывок из письма Пушкина к Погодину и замечание сего последнего. Поводом для того и другого служило стихотворение: «Герой».

Письмо Пушкина:

«Посылаю вам из моего Патмоса апокалипсическую песнь. Напечатайте, где хотите, хоть в «Ведомостях»; но прошу вас и требую именем нашей дружбы — не объявлять

Объяснения издателя.

Место это требует пояснения. Пушкин написал в 1830 году патриотическое стихотворение «Герой», где удивляется великодушию государя императора, посетившего лично Москву в самое развитие там холеры. Стихотворение напечатано было тогда в журнале «Телескоп», а по смерти автора — в издании его «Сочинений» 1838 года (том IX, стр. 218), с тем примечанием г. Погоди-

никому моего имени. Если московская цензура не пропустит ее, то перешлите Дельвигу, но также без моего имени и не моею рукой переписанную».

Замечание Погодина:

«Я напечатал стихи тогда же в «Телескопе» и свято хранил до сих пор тайну. Кажется, должно перепечатать их теперь. Разумеется, не нужно припоминать, что число, выставленное Пушкиным под стихотворением после многозначительного «Утешься»: «29 сентября 1830», есть день прибытия государя императора в Москву, во время холеры».

на, которое тут изложено. Таким образом оно уже имело и имеет высочайшее дозволение на перепечатку его, да и скрыть благороднейшее чувство удивления к поступку государя, вырвавшееся бескорыстнейшим образом у Пушкина, было бы оскорбительно для памяти последнего.

(Оба текста были, конечно, восстановлены, но промах, почти антиправительственный, со стороны предварительной цензуры поставлен был ей на вид главным правлением, как мы слышали, и много способствовал к устранению ее доводов, которыми она защищала свои приговоры, Такие противоправительственные запрещения, хоть и менее яркие, чем в настоящем случае, цензура делала тогда сплошь и рядом).

III.

К исключению.

На стр. 3 (рукописи), выписка из предисловия к поэме «Руслан и Людмила», напечатанного при втором ее издании (1828):

«Долг искренности требует также упомянуть о мнении одного из увенчанных первоклассных отечественных писателей, который, прочитав «Руслана и Людмилу», сказал: «Я тут не вижу ни мыслей, ни чувства, вижу только чувственность». Другой (а может быть и тот же) первоклассный отечественный писатель приветствовал сей первый опыт молодого поэта следующим стихом:

Мать дочери велит на эту сказку плюнуть. 18 февраля 1828».

Объяснения издателя.

Все это место из предисловия к «Руслану», издания 1828 года, относится к г. Каченовскому, которого Пушкин иронически называет первоклассным писателем, и который постоянно нападал на все произведения Пушкина. Выпуском этого места обезобразится весь отрывок, известный тоже уже более пятнадцати лет и который уже несколько раз был перепечатываем в журналах.

(Отрывок прошел благополучно, но здесь любопытны причины, заставившие издателя отнести пушкинский намек на Каченовского. Вообще трудно сказать теперь, кого подразумевал Пушкин в своей заметке, но если позволить себе догадки, то скорее можно думать, что она относилась к маститому уже тогда и не совсем благорасположенному к поэме И.И. Дмитриеву. Цензор видимо руководим был мыслью, при запрещении отрывка, что первоклассный отечественный писатель, кто бы он ни был, должен состоять под покровительством распоряжения, не позволяющего критических отношений к образцовым писателям, и тогда возникала необходимость отыскать менее знаменитое имя для того, чтобы согласить комитет на удержание пушкинской заметки вполне. Каченовский сделался перед главным правлением цензуры невольною жертвой безнравственной борьбы, которая столько лет велась между писателями и толкователями цензурного устава. К такого рода уловкам и сокрытиям вынуждены были тогда прибегать все редакторы журналов и все писатели, без исключения, что и составляло самую безобразную часть их сношений с цензурой).

IV.

К исключению.

На стр. 216 и 217 следующая отдельная заметка:

«Иностранцы утверждающие, что в древнем нашем дворянстве не существовало понятия о чести (point d'honneur), очень ошибаются. Сия честь, состоящая в готовности жертвовать всем для поддержания какого-нибудь условного правила, во всем блеске своего безумия видна в древнем нашем местничестве. Бояре шли на опалу и на казнь, подвергая суду царскому свои родословные распри. Юный Феодор, уничтожив сию спесивую дворянскую оппозицию, сделал то, на что не решились Иоанн III, ни нетерпеливый внук его, ни тайно злобствующий Годунов».

Объяснения издателя.

Этот отрывок из «Мыслей» Пушкина, напечатанных в «Северных Цветах» 1828 года, во всем схож с тем, что всякий ученик может слышать от учителя истории в гимназическом курсе. Здравомыслие Пушкина еще обнаруживается тут весьма замечательным образом посредством сравнения безумства местничества с безумством какого-нибудь point d'honneur, который, несмотря на предписание рассудка и самого закона, вооружает людей для поединка и смертоубийства.

(Мысль Пушкина от 1828 года не оказалась опасною и для публики 1853 года и была пропущена).

V.

К исключению.

Из возражения Пушкина на статью г. Броневского об «Истории Пугачевского бунта». В этой антикритике Пушкин говорит на стр. 132 (рукописи):

a.

«Политические и нравоучительные размышления, коими г. Броневский украсил свое повествование, слабы и пошлы и не вознаграждают читателей за недостаток фактов, точных известий и ясного изложения происшествий. Например..»

b.

Текст Броневского, приводимый Пушкиным в подстрочном примечании для примера пошлых размышлений своего критика:

«Нравственный мир, также как и физический, имеет свои феномены, способные устрашить всякого любопытного, дерзающего рассматривать оные. Если верить философам, что человек состоит из двух стихий, добра и зла, то Емелька Пугачев бесспорно принадлежит к редким явлениям, к извергам, вне законов природы рожденным, ибо в естестве его не было и малейшей искры добра, того благого начала, той духовной части, которые разумное творение от бессмысленного животного отличают. История сего злодея может изумить порочного и вселить отвращение даже в самих разбойниках и убийцах. Она весте с тем доказывает, как низко может падать человек, и какою адскою злобою может быть преисполнено его сердце. Если бы деяния Пугачева подвержены были малейшему сомнению, я с радостью вырвал бы страницу сию из моего труда!»

Объяснения издателя.

Весь параграф (a) принадлежит к полемике Пушкина с г. Броневским. Место о Пугачеве (параграф b) принадлежит г. Броневскому, и как он приводил места из Пушкина, казавшиеся ему слабыми и ничтожными, так и Пушкин пользуется правом такового же разбора в отношении к своему критику. Для отстранения всякой двусмысленности следует, может статься, выпустить первые два прилагательные и начать статью так: ... «Размышления, коими» и пр.

20 Зак. 1295

(К счастью, никаких выпусков на этот раз не понадобилось, потому что главное правление, дозволившее все место, приняло на себя работу успокоить сомнение представителя цензуры относительно возможности пошлых размышлений политических и нравственных, сомнение которое и было поводом к исключению пушкинской заметки и горячо, как мы слышали, им отстаивалось. Любопытно, что наравне с Пушкиным должен был пострадать и текст Броневского, ибо и его тирада, взятая из критической статьи, напечатанной в «Сыне Отечества» 1835 года, тоже приговорена была к устранению. И судья, и подсудимый одинаково оказывались в неправильном положении перед цензурой. Правда, что этим способом устранялась вообще литературная полемика, которой всего более и боялась цензурное ведомство).

V и последнее место.

К исключению.

В статье: «Российская академия» два места:

а.

Выписка, которую Пушкин делает из журнала: «Собеседник любителей русского слова» 1783 года, где находились вопросы фон-Визина и ответы на них императрицы Екатерины II, и которая гласит:

«Вопрос фон-Визина: Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне имеют, и весьма большие? Ответ: Предки наши не все грамоте умели. NB. Сей вопрос родился от свободоязычия, которого предки наши не имели».

«Сии ответы», прибавляет Пушкин, — «писаны самою императрицей».

b.

Следующее место о Карамзине:

«Пребывание Карамзина в Твери ознаменовано еще одним обстоятельством, важным для друзей его памяти, неизвестным еще для современ-

Объяснения издателя.

Эти два места из статьи Пушкина, напечатанной в «Современнике» его собственного издания 1836 года и, стало быть, уже знакомой всей русской публике, весьма различны по значению своему. Первое (буква а) есть выписка из старого журнала, в котором участвовала, как не безызвестно, сама императрица Екатерина II. На дерзкий и неосновательный вопрос фон-Визина она возразила строго, что заставило, как тоже не безызвестно, самого фон-Визина просить прощения в неосмотрительности своей. Это принадлежит к анекдотам ее царствования, повторенным во многих книжках. В этом месте предполагается даже исключить фразу Пушкина: «Сии ответы писаны самою императрицей», которая уже необходима для понимания предшествующих вопросов, не осужденных цензором. Издатель просит об удержании ее. Что касается до второго места (буква b), то, представляя его благоусмотрению начальства,

ников. По вызову государыни великой княгини, женщины с умом необыкновенно возвышенным, Карамзин написал свои мысли «О древней и новой России» со всею искренностью прекрасной души, со всею смелостью убеждения сильного и глубокого. Государь прочел эти красноречивые страницы, прочел и остался по прежнему милостив и благосклонен к прямодушному своему подданному. Когда-нибудь потомство оценит и величие государя, и благородство патриота...

осмелюсь только прибавить, что вся статья Пушкина состоит из 4,5 страниц, с которыми публика уже ознакомлена, как сказано выше. Выпуск этого места, столь важного для священной памяти благословенного государя и для уважаемой памяти историографа был бы, может статься, замечен читающими. Еще основательнее покажется это опасение, по отношению к обоим местам, если вспомнить, что вопросы фон-Визина и ответы императрицы Екатерины II напечатаны уже целиком в издании сочинений фон-Визина 1852 года, а многочисленные отрывки из рассуждения Н.М. Карамзина: «О древней и новой России» приложены в издании его «Истории» г. Эйнерлингом.

(Не смотря на усилия издателя, старавшегося, как видим, для спасения спорных мест, затронуть самые чувствительные стороны в уме судей, успех на этот раз не вполне увенчал его труд. Выписка из журнала 1783 года с щекотливым вопросом фон-Визина была безусловно отвергнута, всего вероятнее потому, что в отрывке этом упоминалось о больших чинах, хотя при вторичном своем появлении после 1783 года в «Современнике» 1836 года он нисколько не обратил на себя особенного внимания публики. Вместе с ним погибла и фраза Пушкина, так необходимая для понимании сущности дела. Той же участи, вероятно, подверглась бы и заметка о Карамзине, если бы не нашла, как тогда было слышно, горячих защитников в лице одного развитого члена главного правления и самого министра народного просвещения, высоко ценивших смелость и патриотическое одушевление суждений Карамзина о делах своей эпохи. Пушкин был чуть ли не первым человеком у нас, заговорившим публично о «Древней и новой России» Карамзина. Дотоле трактат ходил по рукам секретно, в рукописях, как оппозиционный и, по мнению других, даже агитаторский голос не призванного советчика. Пушкин, на кануне своей смерти, собирался вывести записку Карамзина из состояния подпольной литературы, в котором она обреталась, и предполагал напечатать обширные выписки из нее в «Современнике» 1837 года (мысль его приведена отчасти в исполнение продолжателями «Со-

временника» уже после него). Эти сведения мы почерпаем из статьи, напечатанной в том же издании «Сочинений Пушкина» 1855 — 1857 годов (т. VII, стр. 122 — 123) часть II), которая также и облегчает работу будущих издателей и библиографов по восстановлению полного текста его прозаических статей, указывая на первоначальные, не искаженные еще им редакции, являвшиеся в журналах и альманахах).

Заключение записки издателя:

Представляя все сии 19 мест на обсуждение начальства, издатель «Сочинений Пушкина» решается повторить свое письменное заверение, что он пользуется данным ему на это дозволением единственно из желания составить издание, которое удовлетворяло бы, как все требования цензурные, так и ожидания публики, и могло бы служить образцом для последующих предприятий в том роде.

Таково содержание характерной «записки». Позволяем себе прибавить к ней еще несколько строк.

В результате изложенной здесь тяжбы, подробности которой легко могли прискучить читателю по причине бесконечного повторения одной и той же главной темы с таким же однообразным повторением и реплики на нее, оказалось, однако же, весьма важное приобретение. За исключением двух-трех мест, тексты Пушкина прорвались сквозь волшебное цензурное кольцо, которым были обведены. Успех этот никак нельзя отнести к убедительности или неотразимости доводов, отысканных «запиской». Что значили доводы и доказательства там, где судьба процесса всецело зависела от личных настроений присутствующих, от их воззрений, имевших свою аргументацию и свою логику, которые уже никакому обсуждению не подлежали? Можно с достоверностью сказать, что исход тяжбы был бы совсем иной, если бы в течение ее не обнаружились симпатии самого министра народного просвещения и влиятельной части его канцелярии к делу истца. Не говоря уже о том, что «записка» была ими очень внимательно прочитана, но канцелярия еще дополнила ее своими указаниями и соображениями, которые казались наиболее пригодными в настоящем случае. Мы видели черновую рукопись «записки» с поправками, ссылками на уставы и законодательство, сделанными рукой канцелярского чиновника, и не тайно, украдкой, а, просто, как делаются обыкновенные редакторские поправки в нужной бумаге. Канцелярскою тайной осталось только все происходившее в заседаниях три-

бунала: какого рода прения там завязались около «записки», или их вовсе не было, кто состоял в числе ее защитников и ее противников, даже и то, докладывалась ли «записка» формальным образом, или только служила справкой во время совещаний. Темные слухи оттуда, доходившие до заинтересованных лиц, ограничивались мелочами и ничего существенного не представляли. Достоверно одно, что министр народного просвещения излагал свои мнения в ее духе наперекор своему подчиненному, попечителю учебного округа, который отстаивал помарки цензора почти как политическую необходимость и, выходя из заседания, промолвил с негодованием: «Еще не бывало, чтобы целое ведомство пожертвовано было неизвестно откуда взявшемуся господину». Это разноречие в министерстве было своего рода знамением времени, обещавшим близкое падение обычной цензурной практики. Старая система цензуры, состоявшая в водворении низменности мысли и бесцветности содержания в литературе, дошла до апогея своего развития и стала производить исключительно массы нелепых приговоров и непостижимых запрещений, возбуждавших общий смех. По всему русскому миру читателей ходили анекдоты о решениях, заметках и поправках цензуры, достойных какого-нибудь карикатурного лица в незатейливом водевиле, что и заставило сказать одно очень высокопоставленное лицо (графа Д.Н. Блудова) и в очень влиятельном салоне во всеуслышание: «Наши цензора сродни паясам». Общество потешалось рассказами о шутках, выкидываемых ими, но надо прибавить: оно и негодовало. Система изжила самое себя до безобразия. Этому обстоятельству, может быть, и следует всего более приписать снисхождение, оказанное издателю, и считать возрождавшееся требование на человеческий смысл в управлении печатью лучшим и сильнейшим его помощником в ведении всего дела.

Заведенный порядок однако же не так скоро уступает место другим, сменяющим его порядкам. Издание Пушкина 1855 года в полном его составе висело на волоске вплоть до своего появления. Когда воспоследовала окончательная санкция, дававшая право на выпуск в свет и всех произведений Пушкина, дополняющих старое издание и уже проверенных министерством народного просвещения, возник вопрос, как понимать слова, которыми она сопровождалась: «без всяких прибавок и неуместных умничаний по их поводу». Представлялась возможность применить последнее из этих решений к биографии и примечаниям, собранным в издании, и отказать им в пропуске, за что уже и были поданы голоса; и являлась возможность

отнести решение к критикам и рецензиям, которые могут явиться после издания. Министерство народного просвещения растолковало его в последнем смысле и приняло на себя ответственность за такое понимание его сущности, чем и открыло дорогу в свет труду издателя в полном его объеме.

Вот при каких условиях приходилось работать над изданием Пушкина не далее как в пятидесятых годах...

1880 год.

III.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ПУШКИНА

г. Исакова под редакцией П. Ефремова (1880 – 1881 годов).

Начав просмотр нового издания Пушкина, мы были удивлены, как и многие другие прежде нас, тоном ожесточенной полемики, какую г. редактор открыл с первых же страниц своих примечаний к стихотворениям поэта против старого издания сочинений Пушкина 1855 года, вышедшего под редакцией П.В. Анненкова. Чем дальше следили мы за указаниями, толкованиями, выходками г. Ефремова, тем более убеждались, что вся эта работа унижения старого издания 1855 года без меры и часто без всякой причины не имеет ничего общего с критическим исследованием его достоинств и недостатков, а направлена к тому, чтобы особенно отрекомендовать новое предприятие в том же роде, давно ожидаемое публикой. Все усилия г. Ефремова клонятся к тому, чтобы заставить забыть досадное старое издание, изгладить о нем память в литературе, умалить или вовсе удалить воспоминание о всем том, что оно впервые дало или впервые исследовало. Отыскав правильную точку зрения на библиографические изыскания г. Ефремова, как на бойкую литературную рекламу, нам уже легко становится признать ее достоинства. Реклама отличается замечательною ловкостью, изобретательностью мотивов и неожиданностью заключений, а если она не всегда отвечает истинному положению дела, то кто же станет требовать от рекламы правильной и добросовестной оценки чужого труда? Но, признавая вполне законность литературной рекламы и в настоящем случае искренно желая ей успеха, если она поможет увеличить число читателей и

поклонников Пушкина, мы должны однако же заметить, что есть пределы для рекламы, которые ей не следовало бы переступать в виду даже сохранения своего обаяния. Чего только не наговорил г. Ефремов и на себя, и на предшественников своих в двух первых томах нового сборника на 70-ти и на 42-х страницах своих примечаний, к ним приложенных! Дело доходит у него до азарта и до курьезов, способных смутить самого доверчивого читателя. Он аттестует, например, прежнего издателя «Сочинений Пушкина» 1855 года человеком, крайне небрежно пользовавшимся драгоценными рукописями поэта, которые находились в его руках, поверхностно, а не построчно сличавшим тексты, безграмотно прочитавшим некоторые стихи и проч. (т. I, стр. 509). Поводы к составлению подобного приговора до того мелки, что разлад между ними и непомерно торжественными и суровыми заключениями судьи мог бы привести в недоумение, если бы мы не знали источников этого разлада. Большею частью поводы эти заключаются в описках и опечатках, которые в первом систематическом издании сочинений Пушкина при разборе многочисленных документов, до них относящихся, были почти неизбежны. Впрочем, винить в легкомыслии г. Ефремова нельзя: он знал, что делал, когда резкостью выражения надеялся отвести глаза читателя от ничтожества своих заметок и укрыть за ними собственные свои промахи, которые уже менее извинительны, чем погрешности первоначального издания 1855 года. Также точно нельзя вменять ему в преступление и хвастливое возглашение на весь читающий русский мир о каждой перемене в тексте, о каждой незначительной добавке к нему, какие он почел за нужное сделать: обязанности редактора были бы очень тяжелы, если бы исполнять их скромно, как призвание. Гораздо менее извинительны некоторые суждения и афоризмы Ефремова, похожие на странности. Так, одна мелкая добавка к раннему лицейскому стихотворению Пушкина (о лицейских пьесах всего более и хлопочет г. Ефремов) вызвала у него замечание: «Г. Анненков, хотя имел рукопись, исправленную Пушкиным для издания 1826, но обратил внимание только на поправки поэта, а не прочел всего стихотворения (т. I, 516). По этому определению выходит, что г. Анненков открыл секрет вводить поправки в стихотворения поэта, не читая последних вовсе. Эта удивительная мысль не просто сорвалась с языка у г. Ефремова; он повторяет ее в различных вариантах на разных пунктах своих примечаний: так она ему полюбилась. Рядом с нею можно поставить следующий отзыв. Не находя в одной пустой стихотворной записочке Пушкина к прияте-

лям (из семи строк) последнего стиха, вероятно, и не стоявшего в рукописи поэта, г. Ефремов пеняет г. Анненкову, впервые напечатавшему отрывочек, почему он не упомянул о недостающем стихе (т. I, стр. 553). О чем же было упоминать, когда дело само по себе представлялось достаточно ясным, а надобности в библиографической болтовне для пущей важности совсем не требовалось? Правда, что и здесь встречается оправдание для г. Ефремова. Он не мог подавить в себе рвения бросить еще один лишний раз злобный укор, хотя бы и мало мотивированный, старому изданию 1855 года, которым он, однако ж, в течение работы, пользовался весьма усердно: платить за услугу оскорблением, когда речь коснулась этого издания, сделалось потребностью его нравственной природы. Для удовлетворения ее он оказался способным позабыть на время даже и современную нашу историю и вот что пишет по поводу пьесы Пушкина «Паж, или пятнадцатилетний король», в которой «нашел пропуски, сделанные посмертным изданием», прибавляя к тому: «о чем г. Анненков, имевший подлинную рукопись, вовсе не упомянул, а это, при его обычае постоянно указывать пропуски, сделанные самим поэтом или редакторами посмертного издания и постоянно же умалчивать о цензурных исключениях, дает повод полагать, что строфы эти не явились по особым причинам» и т. д. Можно подумать, что в 1853 — 1854 годах, когда изготовлялось старое издание, молчание о цензурных исключениях исходило просто из обычая, усвоенного редактором, и зависело от его доброй воли! Но стоило ли думать о подобных мелочах?

Критический анализ различных редакций пушкинского текста замечателен еще у г. Ефремова и во многих других отношениях. Ни у одного комментатора произведений знаменитых авторов нельзя найти столько игривости, такого расположения к шутке и фельетонной шалости. Обширная сеть цитат, выписок, поправок его вся пропитана, за малыми исключениями, блестками сомнительного остроумия, фальшивой иронии. Он умеет высказывать длинные замечания тоном водевилиста и может быть по справедливости назван творцом нового рода увеселительной библиографии. По-видимому, приемы эти ему были нужны в виде вознаграждения читателя за пустоту многих его соображений. Нужно ли, например, г. Ефремову указать на ошибку известного библиографа В.П. Гаевского, полагавшего, что одна эпиграмма дяди нашего поэта Василия Львовича Пушкина имела в виду знаменитого его племянника Александра Сергеевича Пушкина, г. Ефремов делает свое указание в следующей фор-

ме: «Сомнительно, чтобы Вас. Льв. (Пушкин — дядя), мог написать эпиграмму на не родившегося еще племянника, ибо она напечатана в 3-й книге Аонид на 1799, а поэт родился только в мае этого года» (т. II, стр. 430). Это прелестное «сомнительно» окрашивает простую заметку в приятный ругательный цвет. В другой раз, по поводу шуточной пьесы Пушкина «Ода графу Хвостову», редактор без всякой причины и какой-либо связи с произведением бросает комок грязи в г. Гербеля, издателя Шиллера и Шекспира в русских переводах (т. I, стр. 569). И сколько таких юмористических блесток разбросано г. Ефремовым по всем частям и составам его труда! Зачем все это, и главное, у места ли в издании классического писателя?

Роли редактора произведений великого отечественного деятеля г. Ефремов совсем не понимает. Он перенес в строгую область библиографических и филологических исследований говор приятелей, личные свои предрасположения и проч., бесцеремонно перемешав все это с прямою своею задачей — восстановления правильного чтения пушкинских произведений. Он точно обрадовался возможности показать себя в качестве публициста, умеющего постоять за свои определения, хотя бы и подсказанные капризом мысли. На почве сравнительной критики текстов и под покровом великого имени художника идет у него мутная волна каких-то страстей и расчетов. У подножья величавого образа Пушкина раздаются задорные крики, шум полемических гипербол, неумеренных слов, которые возбуждают невольно вопрос: в чем же состояла цель нового издания — в добросовестном ли пояснении пушкинских текстов, или в доставлении средств развернуться на просторе бесцеремонному балагурству его редактора?

В числе приемов, употребляемых г. Ефремовым, следует сказать еще несколько слов об упомянутом уже выше постоянном его обычае возводить в литературные преступления простые типографские недосмотры, явные описки, иногда спорную расстановку запятых (т. I, стр. 515, 516). Расчет верен: чем страшнее покажется вина, тем почетнее сделается ее обличение. Во всех случаях, где г. Ефремов встречает промах, часто требующий одной черты карандаша для полного исправления своего, он торопится принять внушительную позу спасителя пушкинской мысли, мстителя за нанесенное ей оскорбление, хотя дело обыкновенно идет о словах, буквах, перестановке фраз и т.п. Ревность о чистоте текста служит тут предлогом для тщеславной потехи. Редактор устраивает себе нечто подобное судейской кафедре, с высоты ее судил весь литературный мир и все публика-

ции о Пушкине за их корректурные, орфографические и издательские прегрешения. Но самая большая часть суровых приговоров редактора опять-таки падает на долю старого издания Пушкина 1855 года; поэтому мы и осуждены поневоле беспрестанно обращаться к его толкованиям на издание 1855 года, так как в них-то именно заключаются наиболее крупные перлы его комментаторской деятельности.

В своих «Материалах для биографии Пушкина» 1855 года г. Анненков приводит цитату в четыре стиха из превосходного стихотворения «Наперсница волшебной старины», им же и найденного и впервые опубликованного. К сожалению, второй стих цитаты он, по недосмотру, написал так: «Мой юный ум напевами пленила» вместо: «Мой юный слух... », как следовало бы и как значится действительно в пьесе, целиком приводимой через несколько страниц г. Анненковым в тех же своих «Материалах». Ошибка в цитате дает г. Ефремову случай показаться в полном блеске библиографической эрудиции своей и приступить к довольно забавному следственному процессу. Он задается вопросом: не было ли двух списков стихотворения, и порешив его отрицательно, переходит к главному пункту обвинения: «Кроме того, г. Анненков, по-видимому, плохо читал или плохо переписывал рукописи поэта для издания, потому что нередко одно и то же стихотворение воспроизводилось в разных местах издания в разных же видах (I, 509). И затем следует указание ошибки. Каким образом на примере одной погрешности в цитате из четырех стихов, отъятой от пьесы, имеющей их 26, г. Ефремов мог придти к заключению, что старое издание 1855 года печатало цельные стихотворения, с одного и того же списка, разно в различных местах, — не надо спрашивать: все это только средство разыграть, под прикрытием якобы серьезного труда, комедию скандального характера. Можно только пожалеть, что она дается на страницах, посвященных деятельности гениального русского человека. Таких фальшфейеров библиографической эрудиции, освещающих пустоту, у г. Ефремова множество. Если бы разобрать всю массу примечаний, собранных им только в двух первых томах своего издания, можно бы удивить читателя тою долей натянутости толкований, искусственных выводов из самых простых данных и посылок, какую они заключают в себе. К счастью его, подобная, столь же обширная, сколько бесполезная работа не скоро найдет охотников. Добраться в указаниях и заметках г. Ефремова до истинного значения фактов, заняться извлечением из этой груды всяких существенных и пустых подробностей какого-

либо серьезного материала для истории нашей печати представляется делом в высшей степени трудным. Кажется, что г. Ефремов даже и рассчитывал на эту трудность и на сопряженную с нею относительную безответственность для себя.

Иногда преувеличения его и непонимание прямого смысла того, что он читает, по истине поразительны. Тот же составитель «Материалов для биографии Пушкина» касается в одном позднейшем своем труде известного общества «Зеленой лампы», членом которого состоял одно время наш поэт, и определяет общество это, как простое оргиаческое, не имевшее никакой политической окраски, занимавшееся преимущественно театральными делами и устраивавшее у себя пиры и зрелища далеко не целомудренного характера. Определение это не понравилось г. Ефремову и отразилось в его уме и понимании следующим образом: «...Анненков неосновательно свел (общество «Зеленой лампы») на степень развратно-грязного и шутовского, смешав его даже с татариновской сектой» (прим. 1, т. I, 559). Ничего подобного не делал г. Анненков, но что нужды? Надо же поместить наперед изготовленное, крепкое слово на предназначенное ему заранее место. В тех случаях, когда по отсутствию документов и предлога к употреблению такого слова оно становится затруднительным, г. Ефремов прибегает к восклицательным и вопросительным знакам. В этом роде весьма замечательна пара знаков удивления, пристегнутая им к словам г. Анненкова о кишиневском послании поэта, 1821 года, В.Л. Давыдову. Одна часть послания, им же г. Анненковым и найденного в бумагах поэта, была приведена им в статье о Пушкине («Вестник Европы» 1874 г., № 1), а от сообщения другой биограф отказался, ограничившись передачей стихов, где поэт извещает о своем говении у Инзова, и заменил все следовавшее затем словами: «и так далее до последних пределов глумления». Передавая эти строки г. Анненкова, г. Ефремов сопровождает их двумя знаками восклицания в скобках (т. I, стр. 558). Что означают они, какому движению мысли г. Ефремова призваны отвечать? Сомневается ли он в том, что в минуты страсти поэт мог нисходить до глумления над очень важными предметами,— на это есть свидетельства, которые г. Ефремов лучше знает, чем кто-либо другой,— или г. Ефремов негодует на непочтительное обозначение словом глумление произведений такого рода, как вышеупомянутое послание В.Л. Давыдову? Нелегко понять редактора нового издания в роли защитника, как и в роли обвинителя. Но все это еще безделица в срав-

нении с тем, что является в других местах под пером редактора нового издания.

Привычка подменять мысли и намерения, встречаемые автором, теми, которые приходятся более по вкусу самого редактора, должна была довести его до неблагонадежных заявлений. Пример такого печального результата библиографических разысканий г. Ефремова мы видим в примечании, которым он сопровождает два знаменитых послания Пушкина «К цензору ». Выписываем существенную его часть целиком: оно дает образчик всей манеры г. Ефремова относиться к своей задаче редактора.

«Два послания цензору», говорит он, — «...в сокращенном виде явились в VII т. издания г. Анненкова, который имел мужество заявить, что они под его рукою стали лучше, ибо очищены им: «Очищенные от намеков, касавшихся современных поэту лиц и событий, они теряют всякий признак сатирического или полемического направления и только могут служить образцом строгого и высокого понимания одного из важнейших общественных служений». Действительно, мы видим цензурную рукопись VII тома и не нашли в этих стихотворениях ни одного цензурного исключения, так что вся честь очистки принадлежит г. Анненкову, который и заглавие им дал «Посланий к Аристарху...» (I, стр. 572).

Читатель уже догадывается, чего надо ожидать в конце от позорного обвинения. По справке, наведенной нами в VII томе издания г. Анненкова, нет не только ничего похожего на заявление, что оба великолепных послания сделались еще лучше от выпусков, в них произведенных, но нет еще и признака нити, которая давала бы возможность связать слова г. Анненкова с тем толкованием их, которое представил г. Ефремов. Редактор старого издания 1855 — 1857 годов очень сдержанно говорил в своем примечании к обоим посланиям Пушкина, которые он первый и успел провести в печать: «Решаемся представить публике эти два послания, писанные в Михайловском уединении 1824 года и хорошо известные почитателям нашего поэта. Очищенные от намеков, касавшихся современных поэту лиц»... и так далее, как в цитате г. Ефремова. Тут, очевидно, выступает намерение успокоить враждебные силы, мешавшие до того появлению стихотворений в печати, и успокоить их указанием на выпуски, — но где же хвастовство искажением текста, будто бы произведенным редактором с целью его улучшения? Мужество, о котором говорит г. Ефремов, гораздо более проявляется у него самого, когда он находит возможность приписать подобные намерения г. Аннен-

кову. Нельзя требовать, чтобы г. Ефремов помнил, с какими условиями печати, теперь уже неизвестными современным писателям, боролся прежний издатель, но одно обстоятельство могло бы, кажется, остановить его внимание. В том же VII-м томе старого издания потребовалось замещение полных имен гг. Булгарина и Греча одними инициалами Б. и Г. в памфлете Пушкина «Несколько слов о мизинце г. Б. и о прочем», хотя их полные имена красовались уже на страницах журнала «Телескоп», где памфлет был впервые помещен. Не скажет же г. Ефремов, что и это изменение произошло по инициативе и вследствие тайного предрасположения издателя к этим почетным лицам прежней русской журналистики? Впрочем, почему бы ему и не сказать этого после всего, что мы уже от него слыхали? Странно только, что литератор, хвастающийся знакомством с мельчайшими явлениями старой периодической нашей печати, не знает истории ее за последнее, ближайшее к нам время. Сохрани он какое-либо понятие о ней, он, может быть, не стал бы удивляться, что послания «К цензору» не могли предстать на суд к наследнику и преемнику, того же самого цензора, о котором в них говорится, под своим настоящим заглавием и потребовали его изменения в послания «К Аристарху». Может статься, он понял бы также, что произведенные выпуски из посланий сделаны по указаниям цензурной администрации, видевшей в этих образцовых произведениях глубокомысленного, патриотического и консервативного характера, не более как противоправительственную сатиру. Что касается до типографской тетрадки, с которой печатался VII-й том старого издания, и в которой г. Ефремов не нашел цензурных помарок, то они не могли там встретиться после предварительного соглашения с ведомством о печати на счет формы, какую следовало придать обеим пьесам для получения права явиться на свет. После всего сказанного спрашивается: имел ли г. Ефремов повод и основание к дикому обвинению?.. Оскорбительно и печально встречаться с подобными явлениями при разборе издания сочинений Пушкина!

Переходим к самим этим сочинениям, то есть, к плану, принятому г. Ефремовым для распределения произведений Пушкина в издании. В виде нововведения он отбросил прежнюю общепринятую редакторскую систему расчленять громадный литературный материал, оставленный Пушкиным, на его естественные, так сказать, очевидные бесспорные отделы в роде отдела стихотворений, поэм и драм и предпочел другую, состоящую в печатании сплошь под одним годом, не разбирая формы произведений, всего, что в этот год было

создано поэтом. В принципе строгая хронологическая последовательность не может встретить возражений, но она имеет тоже свои границы. Редактор должен был подумать о последствиях и неудобствах, какие встретятся при ее абсолютном приложении к делу. И старые издания, принявшие разделение произведений Пушкина на большие группы, ни мало не нарушали хронологического порядка, принятого ими за основу своих изданий, а только облегчали читателю способ классифицировать огромную, многостороннюю деятельность поэта и легче отдавать себе отчет в ней. Здесь видим совсем другое. Прежде всего система редактора не выдержана вполне во всех частях издания, да и не могла быть выдержана. Для этого следовало бы, руководясь одним хронологическим принципом, решиться на помещение рядом со стихотворными произведениями Пушкина и произведений его в прозе, перерезать лирические пьесы рассказами, повестями, трактатами, написанными в один год с ними, а потом начинать снова, под следующими годами, тот же пестрый полонез из всех произведений, стоящих на очереди в данный момент. Пред этим результатом своей системы отступил и редактор, допустив особый отдел прозы Пушкина. В самом зачислении некоторых поэм в ряды пьес одного точно определенного года уже есть несообразность: многие из них, как «Руслан», «Евгений Онегин», «Медный Всадник», «Галуб», писались автором несколько лет сряду, и объявлять их ровесниками каких бы то ни было других произведений значит погрешать неточностью, которую так преследует редактор везде, где ее находит или где ее предполагает. Но главная ошибка этого плана заключается в том, что по милости его смешение важного с неважным, высокохудожественного создания с шуткой и безделкой, не позволяет читателю укрепиться в одном художественном настроении. Для того, чтобы понять, какое противоэстетическое впечатление производит это нагромождение пьес, различных по форме, в одну кучку и друг на дружку, достаточно указать, что под 1825 годом хроника «Борис Годунов», начатая, как известно, еще ранее, помещается рядом с «Графом Нулиным», что тотчас же за «Полтавою» следует пародия: «Ты помнишь ли, ах, ваше благородье», что под 1829 годом поэма «Галуб» красуется между двумя альбомными стишками и т. д. Как бы для довершения смуты и путаницы, редактор присоединил еще к пушкинскому тексту новооткрытые эпиграммы, памфлетные выходки, частные развязные записочки и легкие импровизации поэта, которые г. Ефремов, за неимением никакого другого нового и серьезного материала под рукой, выдает за важные приобретения и

помещает в соседство со всеми высокими проявлениями пушкинского гения. Последствия этих распорядков отразились на издании тем, что оно приобрело в двух еще первых своих частях вид какого-то огромного складочного магазина, какие бывают у оптовых торговцев, где до предметов первостепенной ценности надо добираться через груду остатков, не доделанных или испорченных вещей мастера.

Остановимся на этих новых приобретениях. Если дурно понятый принцип хронологического порядка в издании привел редактора к такому неудовлетворительному результату, то другой и тоже дурно понятый принцип достижения наивозможно большей полноты в издании наделал ему пущих бед. Редактор не подумал, что полнота полноте рознь, и бывает не только не желательная, но и положительно вредная полнота для сборников, та именно, которая способна помрачить установленный, всеми признанный лик писателя или дать ему другое выражение, чем обыкновенно носимое им или приписываемое ему,— разве только это изменение нравственной физиономии автора входит в намерения самого издателя и составляет цель его сборника. Но без такого намерения перехватывать каждое слово, пущенное на ветер поэтом в минуту искусственного воодушевления и записанное его неразборчивыми друзьями, следить за каждою его застольною импровизацией, заниматься, как важным делом, каждою минутною, нецеремонною его шуткой, все это уже представляется заблуждением страстного библиографа, но не делом эстетического вкуса и понимания. Нет сомнения, что увлечения, порывы уклонения Пушкина от прямой своей дороги, в которых он так часто раскаивался при жизни, должны были найти себе место в собрании его сочинений, но не иначе, как отделенные от цикла созданий, стяжавших ему славное имя, и не иначе, как в виде паразитов, открытых на светлом фоне его поэзии, и с целью поучительного примера. Здесь мы видим совсем другое. Благодаря необдуманному исканию полноты, редактор принял их в состав издания на одних правах с самыми возвышенными произведениями поэта, как бы признавая в этих случайных ошибках его гения одну из принадлежностей его творчества[1].

Как бы ужаснулся сам Пушкин, если бы мог предчувствовать при своей жизни, что наступит время, когда каждая строка, сбежав-

[1] Старое издание 1855 года поступило гораздо осторожнее, приняв за правило относить к концу года эпиграммы, записочки, шутки Пушкина, написанные в течение его.

шая с его пера и им позабытая, каждое слово, сорвавшееся с языка и преданное им забвению, предстанут снова на свет без пояснений, часто даже обезображенные поправками, и притом в виде добавки к его жизненному подвигу!.. Известно, что Пушкин сам записал в тетрадях своих некоторые очень резкие и яркие проблески своей пылкой, увлекающейся природы, и записал, видимо, с целью сохранить перед глазами для будущих лет всю прошлую свою жизнь во всей ее наготе. Впоследствии он черпал из этой скорбной хроники потрясающие мотивы для стихотворений, в которых слышался вопль раскаяния, да вероятно, при более долгой жизни, рассказал бы по той же хронике и все болезни и страдания своей души, с ее падениями и возвращениями к свету, в поучение современникам и потомству. Наша задача, как ближайших его потомков, совсем другая; мы не можем следовать примеру Пушкина и приводить печальные документы его жизни просто как документы, не освещая их мыслью и оценкой обстоятельств и среды, из которых они выросли. Зная уже теперь вполне нравственную сущность великого человека, все психические элементы, образовавшие его личность, все благородные стремления его души и непогрешимую чистоту всех его мыслей и поэтических замыслов, мы имеем право и должны сказать, что те низменные проявления раздраженного, буйного и скандалезного творчества, о которых здесь идет речь, Пушкину не принадлежат в обширном смысле слова, хотя бы от них остались несомненные автографы, хотя бы они были записаны собственною его рукой на страницах его тетрадей. Они не выражают ни настоящей его природы, ни его развития, ни даже подлинного его настроения в минуту, когда были писаны. Они ничем не связаны с его действительною мыслью, не имеют корней во внутреннем его мире, не отвечают никакой склонности его ума или сердца. Все они суть детища брожения и замашек его времени, должны считаться эхом того говора и шума толпы, которая следила за ним по пятам всю жизнь, произведениями таланта, неверного самому себе, совести, изменившей собственным своим началам. Почет, оказанный им новым редактором, принявшим их за серьезные произведения пушкинской музы, есть одна из самых крупных ошибок издания.

А почет оказан, действительно, немалый: г. Ефремов нашел возможным ввести в пантеон пушкинской поэзии такие пьесы, как «Платонизм», «Еврейки», «Сиротка», «Иной имел мою Аглаю», «Город Кишинев», присоединив к ним шутки, эпиграммы, записочки в роде «С позволения сказать», «От всенощной вечор идя домой», «Дедушка игумен», «Эпитафия духовнику», «Пародия», «Княжне Хованс-

кой» и проч. Некоторые из них он подверг исправлениям, которые потом сделались притчей у фельетонной нашей печати (и напрасно, скажем мы от себя: переделки эти, каковы бы ни были, все-таки свидетельствуют о сохранившихся еще остатках уважения к публике); а в других заменил особенно резкие слова и стихи точками, — но поправленные и оставленные с одними пропусками одинаково отдают крепким букетом литературного скандала. Перенося их из рукописных частных сборников и школьных тетрадок доброго старого времени прямо на страницы своего издания, посвященные пушкинскому тексту, редактор не подумал, что все старания его замаскировать их содержание тем или другим способом только увеличивают соблазн и силу ядовитых их намеков. Разбирать смысл этих произведений по чертам, какие они сохранили еще на себе, просто значит упражняться в неблагопристойностях. Но если уже дело сделано, то возникает другой вопрос: почему не воспользовались гостеприимством редактора все другие пьесы Пушкина того же рода, которые стоят еще за вышеприведенными и имеют право завидовать своим собратам-близнецам, удостоенным чести занять место в собрании избранных пушкинских стихотворений? Билет на вход тоже принадлежал им по праву и во имя великого принципа полноты, Ведь переделывать их и проводить, на сколько то возможно, в порядочный вид, требуемый печатью, было не труднее, чем при туалете их предшественников. Но тут мы встречаемся с необъяснимою загадкой: загадки всегда являются в деятельности человека, который лишен ясного представления целей, к которым идет. От одной части этих пьес, оставленной за бортом издания, редактор отделывается голословным и весьма спорным валовым приговором, по которому они будто бы Пушкину не принадлежат. Знатоки русской потаенной литературы, видевшие список отверженных им пьес, который приложен был в «Русской Старине» к самому объявлению о выходе в свет нового издания (!) («Русская Старина» 1880, т. XXVIII, июль, стр. 590), заметили однако же, что приложить список не значит еще приложить и доказательство, и что существуют сильные поводы сомневаться в точности этого цинического реестра. Как бы там ни было, но исключив, по своему усмотрению, недостоверные цинические эпистолы и проч., редактор добродушно принял в состав издания некоторые подобные им и уже заведомо Пушкину не принадлежащие, в чем и принужден был сознаться. Так-то обманчива, ненадежна и подвижна болотная почва секретных литературных грехов, на которую с легким сердцем вступил наш библиограф, думая отыс-

кать на ней материалы для сообщения сборнику сочинений Пушкина еще небывалой у нас полноты. В погоне за этим пустым призраком г. Ефремову удалось только представить зрелище, по истине редкое даже и в летописях русского книгопечатания, прославившегося, как известно, своим неряшеством. Словно по приговору какой-то Немезиды является у г. Ефремова ряд невольных противоречий и промахов, покрупнее всех тех, которым он посвятил в своих примечаниях самые желчные, грубые слова, какие только у него находились в распоряжении. Приписав неосновательно Пушкину безобразную балладу «Тень Баркова», он прибегает к вырезке страницы, на которой красовалось это стихотворение, и забывает, к удивлению, исключить в примечании и в алфавите ссылку на него и на страницу, уже не существующую, где оно было приведено (т. I, стр. 511 и 576). В другой раз он публично предуведомляет читателей о точно такой же вырезке и по тому же поводу произведенной им в каком-то томе, прося их вместе с тем перепутанные листы этого же тома с прозаическим текстом Пушкина обменивать на другие более правильные, заготовленные ad hoc («Новое Время» 1880 г.). Но все это, повторяем, может считаться еще мелочью в сравнении с тем, что добытые с такими жертвами и катастрофами блеклые цветы пушкинской секретной производительности редактор вплел в один венок с самыми роскошными, чистыми, благоуханными цветами не умирающей его поэзии. Так, соблазнительные пьесы: «Олиньке Масон» и «Платонизм» идут рука об руку с художественными антологическими: «Дорида», «Дориде»; за непристойною «К Еврейке» следует, через одно стихотворение, «Наполеон»; вдохновенное «К Овидию» соприкасается, поверх двух маленьких отрывков, с циническою «Иной имел мою Аглаю», и вообще контрасты, режущие глаза, встречаются беспрестанно в издании и составляют его отличительный характер.

Могут сказать однако: так было и в жизни поэта, полной контрастами, и редактор не виноват, когда по деспотическому указанию цифр годов свел их вместе и поставил друг против друга. В том и дело, что так не было в жизни, что между Пушкиным, писавшим «Подражания Корану», и тем же Пушкиным, чертившим «Дедушка игумен», лежит гораздо более пространства и времени, хотя они и принадлежат к одному году, чем показывает хронологический сборник, где они разделены одною секундой, нужною чтецу для перехода от произведения к произведению, почему и кажутся как бы слитными, да в добавок и написаны-то они двумя разными Пушкиными, не имеющими ничего общего между собою. Один из них, именно тот,

которого силится воскресить г. Ефремов, нам вовсе чужд и носит известную физиономию своего времени, общую его сверстникам, как выдающимся из толпы, так и тем, которые ничем не отметили своего существования на земле. Только другой Пушкин, тот, который признан единогласно воспитателем русского общества, мощным агентом его развития и объяснителем духовных сил, присущих народу, только этот нам и нужен, а о его двойнике нам достаточно общей характеристики, нескольких сохранившихся о нем преданий да отметки тех нравственных черт и особенностей, которые составляли уже общее достояние обоих видов Пушкина. Важное поучение для современников наших, конечно, несет с собою и этот второй, побочный, так сказать, тип нашего поэта, если его изучить с надлежащей политической и этической точки зрения; но ценить его беседу наравне с тою, которая исходила от настоящего, великого Пушкина, мы уже не можем, а потому и ставить их рядом кажется нам более чем ошибкой. Кто же, кроме детей, будет заниматься тенью, бросаемою человеком, когда перед ним стоит сам человек, и при том какой! В предисловии к своему изданию г. Ефремов выражает сожаление, что не имел в руках рукописей поэта, но мы готовы признать это обстоятельство за большое счастье для русской публики и литературы. Что бы сталось с нравственным образом Пушкина, если бы все откровения, содержащиеся в рукописях, достигли до нас в комментариях г. Ефремова и через посредство того способа относиться к предметам исследования, который им усвоен! Мы получили бы, конечно, не изображение Пушкина, а кое-что другое, под его именем...

Крайнее непонимание поэта, за издание которого он принялся, г. Ефремов обнаружил с особою силой в ужасе и негодовании по случаю двойных числовых пометок, встречающихся на рукописях и стихотворениях Пушкина. Он пишет горячую диатрибу против старого издания 1855 года, указавшего несколько примеров таких двойственных пометок, и обвиняет за них его редактора, не досмотревшего явных противоречий в их цифрах. Не довольствуясь помещением диатрибы в своем издании (т. I, стр. 509), г. Ефремов пересылает ее еще в «Русскую Старину», где она любезно принимается составителем биографического очерка А.С. Пушкина, который отводит ей место в одном из своих примечаний («Русская Старина» 1880, июнь, стр. 320). Но этот монолог г. Ефремова, на обличительную силу которого он так надеялся, сослужил ему предательскую службу: он разоблачил его собственное непонимание особенностей творческой производительности Пушкина и подтвердил с непререкаемою оче-

видностью, что для настоящего понимания мало одного собирания и знания библиографических мелочей, ограниченных, так сказать, произведений русской словесности, примет и внешнего вида ее главных памятников и проч. Далее этого не идет редактор нового сборника. Не говоря уже о странности предположения, что редактор старого издания 1855 года мог выдумать пометки Пушкина, им приводимые, на что намекают иронические слова г. Ефремова: «в одних и тех же рукописях он вычитал разные указания» («Русская Старина», ib.), — но как было не остановиться перед тем фактом, что этот редактор постоянно и с необъяснимым упорством проводит несходные числовые пометки Пушкина, которые иногда расходятся между собою только двумя-тремя днями? Так, при «Полтаве» свидетельствуется о двух пушкинских пометках — 27-е и 29-е октября, при стихотворении «Клеветникам России» — 2-е и 5-е августа, при пьесе «Расставание» — 5-е и 8-е октября и т.д.; чем же может объясниться эта настойчивость в показаниях? Ошибаться сплошь, беспрерывно вряд ли возможно и самому ветреному человеку. Может статься, что г. Ефремов и не написал бы своей патетической диатрибы, если бы принял в соображение общеизвестный, много раз расследованный и утвержденный факт, что Пушкин удостаивал числовыми пометками все случаи и обстоятельства, сопровождавшие какой-либо из его трудов. Он отмечал начало почти каждого своего создания и конец его, также как начало и конец его переписки набело, весьма часто и поправку, сделанную в нем, иногда даже время первой мысли о произведении. Поэт, видимо, имел намерение сберечь про себя и для дальнейших целей своих память о малейших подробностях своей творческой деятельности, подобно тому, как для автобиографии он записывал каждую свою мысль без разбора, о чем уже было упомянуто. Знай это г. Ефремов, он не удивился бы, встретив разные числовые пометки, которые и не могли быть схожи, относясь к различным моментам и случаям производства стихотворений, и не пришел бы в забавное негодование. Гораздо более прав на удивление заслуживает то, что г. Ефремов, пользовавшийся широко старым изданием 1855 года для существенной, объяснительной части своих примечаний, не пожелал на этот раз обратиться к нему за получением недостающих сведений о литературных приемах и привычках Пушкина. Там он нашел бы указание, что существуют еще и загадочные числовые пометки Пушкина, смысл которых очень хорошо понимал их автор, но ключ к которым теперь потерян. Вместо того он указывает на два-три типографских промаха старого издания, на две-три явных опис-

ки, что могло бы заслужить еще благодарность читателей, если бы сделано было не яростно и в более скромном тоне, который приличествовал человеку, представившему и со своей стороны образцы ошибок, вырезок и издательских грехов, весьма замечательные.

Не можем покинуть этого странного недоразумения, не указав, еще одной характеристической черты в полемике, поднятой г. Ефремовым. Пересматривая его примечания, мы набрели на курьез между многими другими, который заслуживает сохранения. Оказывается, что г. Ефремов в собственных своих материалах, в документах, находившихся у него под руками, уже встретил различные числовые пометки Пушкина, нисколько однако же не успокоившие его полемики, и не только что встретил, но и сам засвидетельствовал. Так, стихотворение Пушкина «Зачем безвременную скуку» он сопровождает следующим примечанием: «явилось в печати... только в 1827, в «Московском Вестнике », № 2, и перепечатано в издании 1829, где отнесено самим автором к 1821 году... Между тем, в бывшую Чертковскую библиотеку поступил собственноручный пушкинский оригинал этого стихотворения, тоже без заглавия, но с пометкою: 1-го ноября 1826 г. Москва » (т. I, издание Исакова, стр. 557). Кажется, свидетельство достаточно ясное о том, что Пушкин делал отметки на стихотворениях по соображениям, конечно, весьма важным и основательным для него, но уже темным и необъяснимым для нас. Можно было думать, что, имея перед глазами такой пример, сам г. Ефремов изменит свой взгляд на явление, поминутно встречаемое в рукописях поэта, и постарается вникнуть в него, исправив прежние ошибочные заключения. Вышло наоборот: заключения остались не тронутыми, рядом с фактами, их опровергающими. Так, увидав, что старое издание перенесло известную «Сцену из Фауста» в 1826 год из 1825, под которым она стояла в пушкинском издании 1829 года, г. Ефремов делает строгое внушение редактору за этот перенос, прибавляя: «Не мог же Пушкин в начале 1829 года уже забыть: в 1825 или в 1826 году писал он эту сцену»? (т. I, стр. 414). Очень хорошо! Но как же объяснить после того, что через несколько страниц сам же г. Ефремов указывает на пример забывчивости Пушкина, который пьесу свою «Зачем безвременную скуку» (см. выше) отнес один раз к 1821, а другой к 1826 году. Все подобные несообразности имеют одну исходную точку у г. Ефремова: он ведет кропотливые протоколы всему, что видит его глаз, и уже не дает себе труда проверить виденное мыслью, понять общий смысл фактов и поискать общего их источника в тех случаях, когда они выступают, так сказать, толпой

и со всех сторон. При более внимательном отношении к своему предмету г. Ефремов убедился бы, что о забывчивости Пушкина или неверности его переписчиков не может быть тут и речи, а что есть очень важный вопрос для обсуждения. За разницей числовых пометок поэта скрывается всегда дельная, серьезная причина, а иногда загадочное число заключает в себе весьма любопытный творческий или биографический секрет, открытие которого именно и составляет прямую задачу настоящего исследователя[1].

Извиняемся перед читателями нашими за то, что принуждены были ввести его, так сказать, в лабораторию г. Ефремова, где он занимается выплавкой и выковкой всех тех приговоров, догадок, заключений и обвинений, образцы которых здесь представлены. Нелегко было и самому руководителю пробираться в этом хаотическом смешении дельного и не дельного до истины, до настоящего смысла и значения разбираемых предлогов. Много еще замечательных в своем роде проявлений редакторского самоуправства приходилось при этом оставить не тронутыми на тех местах, где они стоят.

В заключение скажем, что издание г. Исакова имеет весьма поучительную сторону: оно может считаться своего рода знамением времени в том смысле, что вполне обнаруживает сущность направления, принятого одною и довольно значительною частью наших деятелей на почве исторической и биографической литературы. Это цветок, выросший в школе тех археологов и изыскателей, которые, освободив себя от труда мышления, заменили его трудом простого собирания документов, сличения разностей между текстами, перечета отметок, какие существуют на различных актах, и тому подобными предварительными работами, считая их за самую науку исторических и литературных исследований и устраняя, как излишество, критику и оценку приобретенных фактов по существу. Люди эти, сделавшие себе призвание из подбора остатков недавнего прошлого нашего, из механической сортировки крупиц, упавших со стола об-

[1] Поиски за одною точностью, не осмысленною идеей и преследующею мелкие факты, приводят г. Ефремова по временам к комическим выходкам. Таково примечание к лицейскому посланию Пушкина 1815 года «Баронессе М.А. Дельвиг», которой тогда было восемь лет: «Напечатано», говорит он,— «в VII томе издания г. Анненкова, и хотя под стихами написано время их сочинения, но вероятно, или поэт ошибся, или год прочитан неверно, потому что в первом же стихе говорится: «вам восемь лет, а мне семнадцать било». Пушкин родился 26 мая 1799 г. — следовательно, 17 лет ему пробило не раньше мая 1816 г.» (т. I, стр. 518). Совершенно справедливо! Поэт ошибся, не справившись, когда писал пьесу, предварительно с метрическим своим свидетельством; но стоило ли вооружаться справками?

щественных наших деятелей, конечно, имеют право на уважение; но как бы изменилось достоинство их трудов, если бы они не питали глубокого презрения ко всяким попыткам обобщать факты, извлекать из них определение, основываясь на внутреннем их содержании, достигать положительных выводов и заключений, опираясь на мысль, полученную из сущности и духа самих собранных ими материалов! Отвращение, обнаруживаемое искателями этого рода ко всякому порядку идей и размышлений, непреодолимо. Оно преимущественно возникает из того мелкого резонерствующего скептицизма, который признает право на достоверность только за голым фактом, взятым одиноко, а право на звание точного исторического свидетельства — только за подробным описанием формы явления.

Издание сочинений Пушкина, г. Исакова, как в своем составе, так и в заметках своего редактора, есть самое верное и пышное выражение качеств и недостатков направления, о котором идет речь. При полном отсутствии первых, необходимейших условий осмысленного издательского плана оно отличается таким обилием всяческих справок, указаний, сведений, что будущим издателям Пушкина, которые — полагать должно — не замедлят явиться, придется совещаться с ним не один раз. Правда, что им будет предстоять нелегкий труд поправлять в заметках г. Ефремова преднамеренные увлечения и ошибки и пробиваться до зерна его указаний сквозь густой, удушливый полемический туман, в который он облек свои комментарии. Но самым трудным для новых предпринимателей будет, конечно, необходимость возвратить сборнику сочинений Пушкина приличный и серьезный характер, потерянный им в теперешнем издании. При соблюдении этих условий заметки последнего могут очень пригодиться и войти в состав дельной классической книги о Пушкине, которая исполнит свое назначение — служить одинаково как юношеству, так и возмужалым людям источником чистых впечатлений и невозмутимого умственного и эстетического наслаждения.

1880 год.

IV.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ А.С. ПУШКИНА.

Планы социального романа и фантастической драмы.

Посмертное наследство Пушкина, оставленное им в своих тетрадях в виде отрывков и набросков, представляет большую ценность. Вся черновая подготовительная работа Пушкина, его программы будущих поэм, романов, драм, трактатов, первые проблески идей и образов, развитых впоследствии до знакомой публике художественной стройности и выразительности, все это вместе образует такой богатый архив материалов для повести не только о литературной, но и о жизненной, общественной деятельности поэта, что разработка его займет, вероятно, много умов и рук. Сведения и данные, которые можно извлечь из этого архива, не уступают в важности тем, которые получаются при изучении его завершенных и опубликованных созданий. На отрывках и набросках Пушкина лежит та же печать его таланта и то же отражение его задушевной мысли, как и на последних. Программы его не имеют ничего общего с теми брульонами, первоначальными очерками, которые встречаются у многих писателей и которые становятся немыми, бесполезными, а иногда и безобразными свидетелями человеческого труда, пока не пояснены и не поправлены самим произведением, о мучительном рождении которого возвещают. Брульоны и остатки Пушкина в большинстве случаев сами по себе полные картины, хотя, конечно, все образы их представляются еще в виде теней, бескровных призраков и окружены туманом, из которого уже никогда и не выйдут за безвозвратною отлучкой художника, их начертившего. Брульоны или программы Пушкина суть тоже создания своего рода, к какому бы отделу литературы ни относились, имеют ли в виду художественную задачу, или исторический трактат. Пример творческой программы первого рода дан Пушкиным в известных «Сценах из рыцарских времен», о которых будем еще много говорить. Это — полное драматическое представление из средневекового европейского быта, но вместе с тем это только «план», как сцены были и озаглавлены самим автором; пример второго рода творческой программы с целью произведения историко-политического трактата мы имели случай представить в статье «Об-

щественные идеалы Пушкина»[1]. Теперь к ряду уже известных литературных проектов Пушкина прибавляем два новые: программу современного романа из Александровской эпохи (20-х годов) и короткую программу драмы, основной мотив которой взят из католической или, лучше, папской легенды о епископе-женщине, воцарившемся в Риме. Обе программы носят на себе тот, же осмысленный и выразительный отблеск глубокой и ясной мысли, какой присущ большинству программ Пушкина, о чем было говорено.

Начинаем с романа. Время появления у Пушкина первой мысли о романе с лицами и завязкой из прошлого царствования, которое видело и начатки собственной его поэтической и общественной деятельности, определить довольно трудно. Известно только, что пережитая им Александровская эпоха издавна занимала его воображение. Еще ранее 1825 он уже мечтал сделаться летописцем последних годов этой эпохи и начал записки о странном и любопытном времени, в котором рядом шли и процветали самые противоположные направления, люди военных поселений и люди библейского общества, грубые нравы и инстинкты обок с конституционными идеями и т.д. После истребления этих записок почти вслед за их начатием, в том же 1825 году, Пушкин перенес всю свою нежность на «Евгения Онегина», в котором думал сохранить бытовые данные и характерные черты городской и деревенской жизни первой четверти нашего столетия, оставляя до другого более удобного времени намерение заняться изображением самих лиц, близких или дальних знакомцев своей молодости. Пока существовал «Евгений Онегин», этот неразлучный спутник его вояжей и кабинетных трудов, побывавший с ним также точно в глуши провинции, как и за чертой государства, в Армении и Турции, сопровождавший поэта повсюду, где он сам являлся, мысль о романе из эпохи двадцатых годов находила своего рода замену в любимой поэме, которая поддерживала умственные его связи со старым обществом, все более и более отходившим в область преданий, все более и более изменявшимся на его глазах. Как известно, мы не имеем полной поэмы: множество отрывков из разных ее глав и остатки от целой пропавшей ее главы («Путешествие Онегина») показывают однако же до очевидности, что стихотворный рассказ этот, развиваясь с возрастающим художественным блеском и интересом, служил Пушкину вместе с тем и складочным местом для суж-

[1] Напечатана в III-й книге «Воспоминаний и критических очерков» П.В. Анненкова.

дений, афоризмов, заметок о современных явлениях, большею частью очень метких и особенно важных по биографическому их значению. Призвание поэмы с самого начала было двойное — обрисовать общество и высказать по поводу его типов критическую мысль автора. Образчиков этого совместного участия творчества и посторонней ему думы довольно много. Приводим еще один. Он касается явления, уже не нового и во времена поэта, а затем повторившегося много раз позднее. Усталый, надорванный, праздный Онегин становится у него внезапно народолюбцем:

Наскуча или слыть Мельмотом,
Иль маской щеголять другой,
Проснулся раз он патриотом
В Hôtel de Londres, что на Морской.
Россия, Русь мгновенно
Ему понравились отменно.
И решено: уж он влюблен,
Россией только бредит он!
Уж он Европу ненавидит
С ее логической душой,
С ее разумной суетой!
Он едет, он увидит
Святую Русь, ее поля,
Селенья, степи и моря!

2 октября (1830?).

И сколько таких образчиков может открыться еще впоследствии!

Но с 1832 года связи Пушкина с «Онегиным» порываются. В этом году он отдал в печать последнюю главу поэмы и остался, так сказать, одиноким. Ради художественных созданий, возникавших непрерывно с этой эпохи под его пером, не наполняли еще пустоты, образовавшейся после «Онегина». Поэт утерял в нем постоянного собеседника. «Онегин» унес у него благовидный предлог делиться с публикой внутренним своим миром, заметками, вынесенными из жизненного опыта, мыслями, возбужденными явлениями текущей минуты и воспоминаниями своего прошлого. Тяжело и грустно расставался Пушкин со своим другом; на последней VIII-й главе романа лежит несомненно меланхолический, трогательный оттенок сердечного прощания. Она и начинается нежным обращением к Царскосельскому лицею, где поэт услыхал впервые призыв музы и пророчество о своем предназначении на Руси, а кончается скорбным воспоминанием о героине романа, о людях и друзьях, некогда встре-

чавших первую главу поэмы (явилась в 1825 году). Пушкин так сильно чувствовал отсутствие «Онегина», что думал, как известно, возвратиться к нему уже и после того, как полное, законченное издание поэмы в 1833 году завершило все расчеты с ним и прекратило все старые его отношения к труду. Конечно, мысль была оставлена...

Вернуться снова к труду своей молодости поэт уже не мог. Другие задачи и совсем иное настроение художника требовали уже и новых форм создания. Пушкин всецело предался мысли испробовать реальный роман в прозе, в котором поэтический элемент играл бы ту же роль, какую он играет в «Wahrheit und Dichtung» Гете, например, где соединение исторических данных с вымыслом и фантазией так крепко сплочено, что оно еще не поддалось и до сих пор ножу критического анализа силившегося много раз разделить это единство на составные его части. Нам осталось от Пушкина много повествовательных отрывков, романов и рассказов, порванных на первых же главах своих. Если все эти попытки, обещавшие по тону и приемам своим вырасти в шедевры эпического искусства, были им брошены и забыты то единственное объяснение такому пренебрежению заключается, по нашему мнению, в том обстоятельстве, что они не достаточно были широки и не обхватывали область явлений русской жизни в той полноте, какая нужна была поэту. Он мечтал с 1833 года о романе, который отразил бы целиком многоразличные стороны нашего общества за какую-либо часть его исторического существования, не исключая из картины и низших слоев, на которых это общество покоилось. Всего более интересовало его и всего более знакомо ему было общество последних годов прошлого царствования, да он обладал и массой хороших материалов для точного изображения его в художественно-реальной картине: материалы эти слагались из его собственных воспоминаний, из сношений и связей его с действующими лицами того времени, из рассказов бывалых людей, им слышанных, и из личного знакомства со всеми увлечениями, похождениями и волнениями тогдашнего молодого поколения. В 1835 году явился известный роман Бульвера: «Pelham or the adventures of a gentleman, by Edward Bulver-Lytton» (Пельгам или приключения одного благородного господина, соч. Е. Бульвера-Лейтона), имевший большой успех в английской и континентальной публике вообще за ввод в рамку романа очень схожих портретов с важнейших членов английской аристократии и английского парламента, что было тогда новостью, и за характер главного героя — Пельгама, добываю-

щего себе влиятельное место в обществе и правительстве после того, как перебывал во множестве закоулков блестящего светского и грубого уличного порока и разврата и вынес из них знание подкладки, оборотной стороны общественного строя и большую практическую опытность. О романе Бульвера будем еще говорить впоследствии. Пушкин обратил на него свое внимание, заинтересованный его интригой, которая напоминала ему многое из того, что он сам видел на веку своем. Он решился, по следам Бульвера, рассказать кое-что о Пельгамах русского происхождения и воспитания. Плодом этой мысли были программы романа, которые теперь представляем читателям. Нужно ли прибавлять, что он не взял ни одной черты из английского произведения для своего плана, и оно остается только в значении внешнего толчка, данного фантазии поэта? Пушкин скоро перестал и называть своего героя русским Пельгамом, как было начал, перекрестив его просто в нашего доморощенного Пелымова.

Четыре раза приступал Пушкин к изложению на бумаге плана будущего распорядка и действия задуманного им романа, и плодом этого были четыре последовательные программы, расширившие каждая все более и более рамки предприятия. Из них две первые не совсем безызвестны нашей читающей публике: они были напечатаны в «Библиографических Записках» 1859 года (№№ 5 и 6) с цензурного одобрения и с незначительными пропусками, которые здесь восстанавливаем. Для понимания основной идеи романа мы принуждены были повторить их в этом отчете. Две последние, еще не опубликованные и, кажется нам, наиболее важные, освещают многое из того, что едва намечено первыми, и уже помогают различить цели и намерения автора с некоторою ясностью и определенностью.

Вот первые два проекта повести, приведенные «Библиографическими Записками».

I.

«Русский Пелам — сын барина, воспитан французами. Отец его frivole в русском роде. Двоюродный брат его[1]... Пелам в свете — театр, литераторы, картежники. Он свидетель бесчестия одного молодого человека. Его дружба с Ф. Ор. Он помогает ему увезти

[1] Здесь неразборчивая иностранная фраза: она должна содержать намек на то, что этот двоюродный брат есть, как оказывается из последующих программ, побочный сын кн. Х... Это следует помнить читателю, для понимания дальнейшего развития программы.

любовницу, отказывается от игры фальшивой. Брат [то есть, вышеупомянутый двоюродный брат] в игре получает пощечину; дуэль, брат его струсил.

Ф. Ор. увозит девушку; ее несчастное положение — бедность — разврат мужа; она влюбляется в Пелама — связь ее с ним — подозрения мужа. Смерть Ф. Ор.

Пелам влюбляется в женщину высшего общества. Пелам в большом обществе, любовь в большом свете. (Пелам едет в —). Отец его умирает. Пелам в деревне (эпизод жены Ф. Ор.). Соседи, жизнь русских помещиков. Слышит о свадьбе двоюродного брата, едет в Петербург. Брат его делается ему врагом, чернит его в глазах правительства. Он выслан из города (Ф. Ор. доходит до разбойничества — Пелам son confident). Он свидетель нападения [NB: а не наказания, как ошибочно напечатано в «Библиографических Записках»]. Он оправдан самим Ф. Ор.»

Остановимся на этой первой программе. Итак, вот главные черты ее, которые в следующих программах будут только полнеть, крепнуть и резче обозначаться. В родном доме Пелам уже на первых порах встречается с загадкой, с так называемым двоюродным братом своим, мальчиком сомнительного происхождения. Затем, при выходе в свет он тотчас же окружен всею золотою молодежью того времени, в числе которой почетное место занимают и картежники. С одним из них, Ф. Ор., он состоит на дружеской ноге и хотя отказывается поступить в сословие шулеров, но помогает ему похитить девушку и становится его поверенным даже и тогда, когда тот в водовороте удалого кутежа доходит до разбоя. Любовь к девушке высшего общества, куда Пелам тоже попадает, неожиданно и скоро кончается отъездом в деревню: Пелама высылают из города по делу Ф. Ор. В деревне он хоронит отца, ведет жизнь помещика того времени, завязывает связи с соседями и с дворней и проч. Двоюродный брат его, наоборот, степенно женится, становится врагом Пелама, доносит на брата, который между тем оправдался от наветов его и, вероятно, опять является в город, о чем программа однако ж не упоминает, довольствуясь обозначением фактов и упуская вообще их распределение и порядок их постепенного возникновения.

Таков первый набросок плана. При втором приступе к нему Пушкин, сохраняя главную основу романа неприкосновенно, вводит в него новые подробности, которые отчасти дополняют, а отчасти даже и изменяют физиономию первоначальной темы. Связь между обеими программами заключается преимущественно в общей им ис-

тории похождений какого-то светского кутилы, обозначаемого буквами Ф. Ор. Скажем теперь же, что это недописанное имя не должно давать повода к каким-либо догадкам о лице, под ним скрывающимся, потому что в сущности ни до кого не относится. Под ним собраны у Пушкина подвиги и черты множества светских кутил, которыми так обилен был век, и которые, расточая безоглядно свою жизнь и свои силы, нередко доходили до уголовных преступлений. Старожилы еще помнят, как долго ходили по Москве толки об убийстве, совершенном двумя выдающимися светскими молодыми членами высшего общества Алябьевым и Шатиловым, на большой дороге и над несчастным игроком, который, проиграв им значительную сумму денег, хотел избавиться от этого долга чести бегством из столицы...

II.

«Пелам выходит в большой свет (влюбляется) и, наскуча им, вдается в дурное общество.

В обществе актрис и литераторов встречает Ф. Ор и с ним дружится, отказывается от игры наверное, помогает ему увезти девушку.

Продолжает свою беспутную жизнь. Связь его с танцоркой на счет гр. З*.

Дуэль Ф. Ор. с двоюродным братом Пелама.

(Несчастная жизнь жены Ф. Ор. — Ор. доходит до нищеты и до разбойничества. Пелам узнает обо всем — укрывает его у себя)[1].

Пелам влюбляется. Отец у него умирает. Перемена его. Он ссорится с танцоркой.

Он сватается — ему отказывают.

Он едет в деревню.

Разбой —

Донос —

Суд —

Тайный неприятель —

Письмо к брату, ответ Тартюфа.

Узнает о свадьбе брата.

Отчаяние.

---

[1] Круглые скобки поставлены Пушкиным и должны были напоминать, что эпизодическая подробность эта относится к позднейшей деревенской жизни Пелама.

Он (оправдан) освобожден по покровительству Ал. Ор. и выехал из города.

Болезнь душевная. — Сплетни света. — Уединенная жизнь. — Ф. Ор. пойман в разбое, Пел. оправдан — получает позволение ехать в Пб.

Заключение.

«Характеры:

Отец и его любовница. Двоюрод. брат [NB: здесь фраза зачеркнута и сверху надписано: выб...]... Ф. Ор. — Ал. Ор. — Кочубей, дочь его. — Кн. Шаховской, Ежова. — Истомина, Гриб., Зав. — Дом Всевол. [NB: сверху приписано. «Всевол. и О. », то есть, Овощникова]. — Котляревский. — Мордвинов, его общество. — Хрущов. — Общество умных: И. Долг. [то есть, Илья Долгоруков], С. Труб. [то есть, Сергей Трубецкой], Ник. Мур. [то-есть, Никита Муравьев] etc.

Служба, юнкер гв., офицер гв., немец начальник, отставка, долги, Неелов, Шишкин.

Похороны отца etc. Привычка к роскоши. Обеды, литераторы. — Ив. Козлов.

Большое общество. Семья Пашковых etc.

Игроки:

Ор. — Павлов».

[NB: все подчеркнутые слова и круглые скобки согласны с оригиналом].

Из этой второй программы мы узнаем внутренний распорядок, которому автор намеревается следовать в романе. Русский Пелам, после всех своих похождений в столице и после того, как девушка большого света (см. предыдущую программу) отказывает ему в руке, остепеняется — не надолго — и уезжает в деревню принимать дела после умершего отца. К этому именно пребыванию героя в деревне автор приурочивает эпизод о разбое Ф. Ор., последовавшем затем доносе и арестовании Пелама, участие которого в преступлении значительно ослабляется: он только скрыл у себя убийцу, а не был его поверенным при совершении кровавого дела. Вероятно, этому эпизоду деревенского быта предшествовал еще другой, прежде намеченный автором, о связи Пелама со страдалицей, женой Ф. Ор. Покамест Пелам томился в остроге, куда приведен был всего более наговорами двоюродного брата, сделавшегося тайным заклятым врагом его, последний пользуется еще случаем, чтобы присвататься к невесте заключенного и жениться на ней. Пелам успевает однако же

оправдаться, выпущен из тюрьмы, благодаря особенно содействию Ал. Ор., и получает дозволение ехать в Петербург.

Программа тут не кончается. Существеннейшая часть, отличающая ее от всех других, заключается в том отделе ее, который носит заглавие «характеры» и сплошь состоит из одних имен литераторов и лиц, замечательных по своему влиянию в обществе или по репутации, приобретенной на разных поприщах деятельности различными способами. Отдел этот ясно намекает на мысль Пушкина провести под покровом романа собственные свои воспоминания и суждения о том времени, в которое поместил свой рассказ, обнаруживает намерение воскресить под предлогом описания жизненной обстановки Пелама собственные свои записки, некогда им истребленные. Тут всего более занимательны и любопытны были бы мнения и воззрения человека 1818 — 1825 годов на вожаков, на признанных передовых деятелей эпохи и на те странные личности, которые добывали себе громкую известность энергией беспутства и порока. Всякий согласится что под пером Пушкина отдел вырос бы в документ значительной важности для историка, в страничку из художественного исследования русской культуры, понятий, образа мыслей и жизни тогдашнего общества. Отдел этот, по своему реальному характеру, как галерея портретов с натуры, должен был составлять, по всем вероятиям только подробность, фон или грунт пушкинского произведения; по крайней мере мастера повествовательного рода обыкновенно предпочитают видеть лиц с историческими именами в качестве свидетелей рассказываемого происшествия, а не пособников и зачинщиков его. Что касается до настоящих героев романа, тех, которые у Пушкина создают его интригу и деятельно участвуют в развитии событий, то здесь у места будет сказать, что эти герои вымышленные, хоть и очень близко напоминают собою черты некоторых корифеев тогдашнего светского быта; в самых программах видны слои приспособления их к рассказу, работы авторской фантазии за ними, что значительно подрывает веру в них, как точных копий с какого-либо действительно существовавшего оригинала. Вообще близость к вымыслу, опасное соседство с чистым творчеством мешает подобным полуисторическим и полуизобретенным лицам служить пояснением или подтверждением какой-либо частной жизни или биографии, что однако же нисколько не препятствует им иметь глубокое значение и содержание, как представителям известного периода в развитии общества. Предостережение наше не покажется лишним особенно в виду сокращенных имен и прозваний героев пуш-

кинского романа, который возбуждает охоту отыскивать под ними имена и прозвания известных деятелей прошлой эпохи, знакомых нам по преданиям и слухам. Всякая такая работа подбирания фактов и свидетельств для оправдания наших догадок, подозрений и гипотез была бы бесплодною потерей времени. Причина ясна. Писатель, заслуживающий это название, никогда не имеет дела целиком с частным лицом или целиком с подробностями его жизни; от частного лица он отбирает только черту, общую ему с современниками, а от подробностей его жизни — только те, которые могут быть обработаны для задуманной картины, при чем все остальные биографические данные человека изменяются и искажаются писателем по нужде производства до неузнаваемости. Художественные романы из современной нам или ближайшей к ней эпохи иначе и не пишутся. Имена героев пушкинского романа, скрытые под начальными буквами их фамилий, ни к кому отдельно применяться не могут и далеки от намерения разоблачать чьи-либо семейные тайны. Собственно они назначаемы были служить автору памятными значками для создания вполне независимых и свободных типов, когда наступит нужная для того минута, и исполняют в программах его ту самую роль, какую играет, например, отдельный музыкальный мотив, вызывающий в уме всю пьесу, или обломок стиха, напоминающий мгновенно целое стихотворение, от которого он отпал.

Переходя снова к программам, мы приводим две последние и увидим, что они уже распадаются теперь на три отдельных плана для трех историй, тесно связанных между собою: на историю Ф. Ор., историю Пелымова (таково новое имя героя) н на историю его брата, с добавлением истории еще одного петербургского щеголя З*, «un élégant, Zav.».

III.

«История Ф. Ор. Un mauvais sujet, des maitresses, des dettes [то есть, пустой малый с любовницами и долгами]. Он влюбляется в бедную ветреную девушку, увозит ее; (первые года роскошь) впадает в бедность, cherche des distractions chez ses premières maîtresses, devient escroc et duelliste [то есть, ищет утешения у старых своих любовниц, становится мошенником и дуэлистом], доходит до разбойничества, зарезывает Щепочкина, застреливается (или исчезает).

История Пелымова. Он знакомится с Ф. Ор. Dans la mauvaise société [то есть, в дурном обществе], помогает ему увезти девушку,

отказывается от фальшивой игры, на дуэли секундантом у него — узнает от него об убийстве Щ., devient l'exécuteur testamentaire de Ф. Ор. [то есть, делается душеприказчиком Ф. Ор.], попадает в подозрение (он дает ломбардный билет Щеп.)[1]. Обращается к Ал. Ор. из крепости.

История брата его. Он зарывается в канцелярии, отрекается от своей матери, делается врагом Пелымову, выходит в люди (в секретари Чуполея), преследует тайно своего брата, сватается за его невесту — и женится на ней.

Мать его (княг. Х.) расточает деньги Все* для Норового, которого обыгрывает шайка Ф. Ор. и который получает пощечину, etc.

Нат. К* — вступает с Пелымовым в переписку, предостерегает его, etc.

Une danseuse [танцорка]. Пелымов с нею знакомится, находит у ней Ф. Ор.

Пелымов воспитан у отца 7-ю французами, немц. швед., англич. Отец им не занимается, но любит. Ссорится с ним за Норового. Отец назначает ему 1,000 в год и выгоняет его. Умирает в нищете — сын его хоронит.

Бат. [NB: по зачеркнутому «Пелымов» — и вероятно, Батурин — стихотворец] pour vivre traduit des vaudevilles [то есть,для пропитания себя переводит водевили] — Шах., Еж... etc. etc».

Не заключая никакой отмены против предшествующих программ,— разве назвать отменой перенос сцены разбойничества и того обстоятельства, что Пелымов уже содержится теперь в крепости,— настоящая программа отличается одним дополнением. Все лица в ней получили имена, большею частью вытянутые из настоящих русских фамилий, и два раза Пушкин оставил не переделанными прямые имена лиц, с которых предстояло снять портреты. Светская девушка — предмет страсти Пелымова — называется Нат. К*; мать двоюродного брата, от которой он отрекается,— княгиня Х. Но повторяем: все они, ясно обозначенные или слегка намеченные, служили бы только материалом для образов и фигур, знакомых всему свету, но с которыми никто не встречался, словом — для типов.

Мы имеем даже и пример такой переработки частных явлений в картины с общим значением. Одна часть этой самой программы и

[1] Фраза в скобках написана поверх зачеркнутой: «он носит часы Щеп.»; через строчку опять целая фраза, тоже зачеркнутая: «уезжает в деревню, смерть отца его, эпизод крепостной любви».

соответствующие ей части прежних получили у Пушкина нечто похожее на начало осуществления в последовательном рассказе. Мы разумеем те два отрывка, которые впервые даны были посмертным изданием сочинений Пушкина, под общим заглавием «Старинные русские странности». Отрывки носят еще и отдельные оглавления, а именно, первый — «Отрывки биографии Н*», второй — «Записки М*», но оба составляют одно целое и писаны по указаниям наших программ, черты которых сохраняют вполне, сообщая им вместе с тем уже широкое значение бытовых картин. Первый отрывок рисует в крупных чертах причуды богатого самодура-помещика, вояжирующего по России с волторнщиком из иностранцев впереди и с громадным обозом за собою, состоявшим из учителей, мадам, дураков, карлов, борзых собак, псарей, роговой музыки, провизии, мебели, кухни и проч. Он и должен был разориться и умереть в нищете, как говорят и программы. Второй отрывок еще в большей мере следует внушениям их, чем первый. В нем изображаются мать ребенка Пелымова, водворение в доме посторонней женщины, видной бабы уже не первой молодости, которая тут называется Анной Петровной Вирлацкой (княгиня Х... программы), появление там же расшаркивающегося мальчика в красной курточке с манжетами, которого приказывают мальчику Пелымову называть братцем (двоюродный брат, Наградский четвертой программы), затем ссоры, драки, шалости между ними, которые заставляют Вирлацкую уговорить отца, чтобы он послал Пелымова по пятнадцатому году за границу в университет, для окончательного образования, что и делается. Отсылаем читателя к отрывкам, прибавляя к этому, что на четырех-пяти страничках, занимаемых ими обыкновенно в изданиях, Пушкин высказал так много свойственного ему спокойного мастерства и творчества, что каждый читатель, который пробежит их еще раз после всего сказанного теперь, легко поймет, какую утрату понесла русская публика от не сбывшегося намерения поэта написать социальный роман в том же духе и с теми же художническими приемами. Между прочим, нельзя забыть человека, рассказы которого о своей родне и о фамильных преданиях своей семьи так много занимали Пушкина, почтенного П.В. Нащокина. Оба отрывка, о которых говорим, передают множество подробностей, сообщенных поэту этим неизменным, любимым другом его, как в том были убеждены все, впервые открывшие их в бумагах Пушкина. Не даром и поэт постоянно, в продолжение многих лет, начиная с 1822 года, письменно убеждал скромного друга изложить на бумаге свои воспоминания, не даром также просижи-

вал с ним, когда бывал в Москве, целые сутки, слушая его исповеди, и даже предлагал себя, из желания помочь литературной неопытности собеседника, а отчасти его лености, в аккуратного писца, который под его диктовку станет передавать связно его отрывочные воспоминания. Так казались они ему нужны и любопытны!

Четвертая, дополнительная программа, следующая теперь, свидетельствует однако же, что, по мысли Пушкина роман не следовал бы рабски за одною домашнею историей, выбранною для его завязки, а собрал бы вокруг нее много других таких же домашних историй из других кругов общества и был бы сводом преданий, полученных с различных сторон. Программа вводит новую личность — петербургского дэнди Зав*, и Пушкин занимается ею с тою же подробностью, как прежде занимался личностью удалого молодца, которая проходит через все три предшествующие программы. Иногда даже может показаться, следя за обоими героями, что в конце концов автор имел намерение передать этой новой, элегантной личности ту роль, которую прежде играл ее антипод, бешеный и грубоватый Ф. Ор. Но так как предположение это встречает большое затруднение в невозможности допустить перевод своеобычных подвигов последнего на более изящное и мягкое лицо, то приходится думать, что новая личность назначалась у Пушкина для одновременного представления двух разных типов одного и того же разгула, порожденных одною и тою же общественною средой. Словно для большего выражения этой разницы значительная часть программы изложена по-французски.

IV[1].

«I. Воспитание. Смерть матери. Явление кн. X... с Наградским; мои ошибки с ним, его сплетни. Гувернеры. — Жизнь отца. Il reçoit bonne compagnie en fait d'hommes et mauvaise en fait de femmes [то есть, он принимает из мужчин порядочных людей, а женщин плохой репутации]. Я выхожу в службу и свет.

II. Светская жизнь петербургская. Получаю часть моей матери; балы, скука большого света, происходящая от бранчивости женщин; по примеру молодежи удаляется в холостую компанию, дружится с Zav. (Ф. Ор.)[2].

---

[1] Программа уже разделена на главы, из которых половина этой первой уже получила и отделку, как выше показано.

[2] Имя прежнего героя, поставленное в скобках, или показывает, что Пелымов встретил его у Zav., или что автор думал заменить его лицом последнего.

III. Общество Zav. — les parasites , les actrices, sa mauvaise réputation, il devient amoureux. Пелы... est son confident [то есть, прихлебатели, актрисы, он приобретает дурную славу, влюбляется. Пелымов, его поверенный][1].

IV. Enlevement. P* devient aux yeux du monde un mauvais sujet. C'est alors qu'il est en correspondance avec N. Il reçoit sa première lettre au sortir de chez la Istom. qu'il console du mariage de Zav. [то есть, Похищение. Пелымов делается в глазах света пустым малым. В то самое время начинается его переписка с Н* — Нат. К. прежних программ. Он получает первое ее письмо, выхода от Истоминой, которую утешает в женитьбе Zav.].

V. La porte de Чок. lui est refusée, il ne la voit qu'au théâtre. Il apprend que son frère est secretaire de Чок. [то есть, дом Чок.— Чуполея прежних программ — ему заперт. Он видит ее только в театре, узнает, что брат его состоит секретарем при Чоколее].

VI. Vie splendide de Zav. Il donne des diners et des bals. Embarras domestiques. Créanciers, jeu [то есть, роскошная жизнь Zav., дает обеды и балы. Домашние затруднения. Кредиторы, игра].

VII. Норовой et son duel [то есть, его дуэль].

VIII. Scène chez le père [то есть, сцена с отцом, упомянутая прежде, как и дуэль Норового].

IX. Explication avec Zav. [то есть, объяснение с Zav.].

X. P. rompt avec Zav. [то есть, Пелымов разрывает связи с Zav.].

NB: здесь после перерыва Пушкин опять возвращается к старому действующему лицу Ф. Ор. и продолжает программу, но с другою нумерацией:

I. Continuation des amours de P. [то есть, продолжение любовных похождений Пелымова].

II. La femme de Z. Le mari devenu Ф. Ор. Ses nouveaux compagnons: leurs exploits. Ils arrètent dans la rue P* Ф. OP. le reconnait et tourne la chose en plaisanterie [то есть жена Зав.; муж делается Ф. Ор. Новые его товарищи; подвиги их. Они останавливают Пелымова на улице, Ор. узнает его и обращает все дело в шутку][2].

---

[1] В обеих главах некоторые черты из отношений Пелымова к Ф. Ор. переносятся на Zav., подтверждая догадку, что автор колебался в окончательном выборе одного из них для романа.

[2] С боку этой главы написано рукой автора: «1e chapitre après la catastrophe» (поместить главу вслед за катастрофой). В начале ее есть какая-то путаница. По привычке Пушкин написал «Zav — brigand», зачеркнул, надписал «La femme du Z.

III. Maladie, delaissement et mort du père de P* [болезнь, одиночество и смерть Пелымова отца].

IV. Situation du frère [положение брата].

V. Assassinat [убийство].

VI. . . . .»

Собрав все программы пушкинского романа, сличив их и проследив по ним, на сколько было возможно, мысль Пушкина, мы имеем уже несколько оснований для приблизительного заключения о завязке и содержании, какие автор намеревался развивать в нем. Конечно, выводы наши никогда не получат характера полной достоверности, так как черты пушкинских программ могут быть, по усмотрению каждого, группированы в различные узоры и картины, но однако же в программах этих есть, так сказать, неподвижные, твердо поставленные факты и данные, которые позволяют уловить, как нам кажется, главную идею романа, по крайней мере в некоторых ее подробностях, почти без опасения ошибки.

На основании именно этих неизменных данных, кажется, позволительно придти к заключению, что дело в не написанном романе шло бы преимущественно о сыне пустого, расточительного и вскоре обнищавшего русского барина. Сын этот, «Пелымов» романа, лишившийся в малолетстве своей матери, встречается на пороге жизни с опекуншей, которая поселяется в самом доме его отца, куда приводит за собою и мальчика неизвестного происхождения. Таинственный приемыш, которого рекомендуют Пелымову под именем двоюродного братца, воспитывается вместе с ним. С первой же встречи они обнаруживают чувство неприязни друг к другу, уже предвещающее в них будущих заклятых врагов. Пелымова отправляют за границу и вскоре возвращают оттуда для определения на службу в гвардейский кавалерийский полк. Иначе складывается судьба двоюродного брата. Пелымов, сделавшись полноправным обладателем значительного имения своей матери, без расчета и осмотрительности предается при вступлении в свет всем соблазнам и наслаждениям его, завязывает путные и беспутные знакомства и увлечен ими на край пропасти, в уголовное преступление, на границе которого толь-

Le mari devenu Op.». Тут пропущено слово «ami» или другое синонимическое этому, и фраза должна читаться: «муж делается другом Op.». От смешения обоих имен героев в мысли автора у него иногда смешиваются их определения. Так, мы выпустили в предшествующей программе и в характеристике Op. неожиданное упоминование о З: «un élégant, un Zav.».

ко и останавливается. Спасенный посторонним вмешательством, он обнаруживает способность понимать нравственное убожество своей жизни, испытывать тоску и страдать совестью. Осторожнее и решительнее действует двоюродный брат. Он также на первых порах погружается в омут света, но оттолкнутый товарищами, скоро усмотревшими бедность и мелкоту его характера (великодушность и готовность отвечать за свои поступки были между ними обязательны), мгновенно повертывает в другую сторону. Он становится деловым человеком, служакой, бюрократом и вырабатывает из себя тип образцового молодого человека, très comme il faut, с блестящею будущностью впереди. Тогда и завязывается между ним и Пелымовым та жизненная дуэль, которая должна была составить перипетии романа и кончиться неизбежно поражением ветреного, беспечного, но внутренне благородного и честного кутилы. Двоюродный брат употребляет все усилия, чтобы очернить Пелымова в глазах света и правительства, способствует его заключению в тюрьму или крепость, наконец, перебивает у него невесту и женится на ней. По мысли Пушкина, эта домашняя история должна была развиваться в среде всего общества столицы, окруженная всем людом без исключения: актрисами, танцорками, литераторами, государственными лицами эпохи, салонами влиятельных мужей, такими же эксцентрического характера и теми, в которых золотая молодежь расточала достояние многих поколений своих предков; наконец, свидетельницами этой истории должны были сделаться и дома высшего светского круга, где Пелымов помещает между прочим и свою первую истинную любовь, не говоря уже о массе уличных героев, эпикурейцев низшего разряда, которые составили бы ее свиту. Рамка повести, судя по программам, захватывала целиком общественную летопись нашу в промежуток времени от 1818 по 1825 год. Пушкин не обошел при этом и возникновения нового явления на Руси без внимания: программы его упоминают о той части молодежи, которая, будучи окружена всеми изысканными удобствами культуры и развитой общественности, жила строгою, почти аскетическою жизнью мыслителей и гнушалась забавами своих сверстников. Пушкин собрал некоторые имена представителей этого критического и оппозиционного кружка под особою рубрикой «общество умных». Было бы очень любопытно видеть, что осталось у него в уме и воображении от этих избранных личностей в 1835 году, и как он тогда судил о них. Да и не один столичный мир, со всеми его корифеями, входил бы в рамку повествования; Пушкин собирался еще оттенить мир этот картинами

деревенской помещичьей жизни, «крепостной любви», похождениями в глуши сел и деревень, которые не менее столицы давали простор разгулу и буйной фантазии и не менее ее вызывали слез и страданий. Все это вместе взятое составило бы, конечно, у Пушкина изображение нравственной физиономии русского общества во вторую, последнюю половину царствования Александра I и сделало бы из романа поэта социальный роман великого значения и достоинства.

Со всем тем остается еще один не разрешенный и довольно трудный вопрос: какую основную мысль проводил новый роман, какие качества дали герою его Пелымову право так сильно занимать воображение поэта в продолжение целых двух лет, какие цели поставлял себе автор, соображая постройку и расположение своего произведения? Нельзя же полагать, что он имел только в виду нарисовать картину нравов известного времени не прибавляя к ней от себя ни одного слова. Еще менее позволительно думать, что Пушкин ограничился бы простым изображением борьбы и соперничества между двумя пошловатыми родственниками. Некоторый ответ на эти вопросы дает нам вышеупомянутый роман Бульвера «Pelham, or the adventures» и проч. Конечно, не мелодраматический склад этого посредственного произведения английского писателя приковал к нему внимание Пушкина: оно написано с начала до конца во вкусе чудовищного французского романтизма тридцатых годов и исполнено невероятных запутанных приключений героя, всегда торжествующего над людьми и обстоятельствами. Но роман приобрел значительный успех в своем отечестве, а затем и на континенте Европы, благодаря тому, что ранее Диккенса дал несколько народных английских типов, хотя еще очень бледно изображенных, представил несколько портретов из руководящих кружков английской аристократии, хотя и не мастерски написанных, но без прикрас и искусственных поз, какими живописцы по ремеслу снабжали их, вообще благодаря попытке автора окружить реальными характерами нелепо придуманное и усиленно вздутое происшествие, о чем мы уже говорили. Известно, что основу романа составляет криминальное, разбойничье дело, которое дает автору случай ввести своего героя-обличителя в самые глухие трущобы Лондона, показать его в обществе завзятых уличных негодяев, выкинутых на свет, пьяными тавернами, посмотреть на него в среде всех страшных элементов английского пролетариата, а затем изобразить того же героя посреди блестящих политических салонов, под кровом богатых земельных

лордов и в сношениях с мелкими честолюбцами, рыскающими на подобие шакалов вокруг парламента в ожидании мест и добычи. Пельгам чувствует себя как дома промеж всего этого разнообразного люда: он — *свой* в мире джентльменов Альбиона и в мире его нищих. Но не этими чертами он привлек внимание Пушкина, а одною симпатическою чертой характера, которая сроднила его с мыслью поэта и окрепла в ней до того, что возбудила намерение противопоставить английскому Пельгаму русского человека с тою же самою психическою особенностью. Пельгам обнаруживает именно способность нисходить в глубокую тину порока, не мараясь сам, и возвращаться из нее нравственно чистым; он словно заговорен от прикосновения грязи к своему моральному существу, как некоторые сказочные богатыри наших легенд слыли заговоренными от прикосновения пули, и выходит из всех искушений и падений со свежим, нетронутым чувством, с простым и чистым сердцем. Эту черту героя, едва намеченную Бульвером, собирался, по нашему мнению, развить Пушкин далее и подробнее в русском его снимке. Правда, что тайна этой необычайной выдержки у английского оригинала заключается в том, что Пельгам имеет важную жизненную задачу, которой посвящает всего себя: он пробирается в общественные деятели; грубые и изящные пороки, постыдное или благородное выражение страсти одинаково служат ему, наделяя его опытом, делая его необходимым для всех, закаляя его характер и приготовляя из него в будущем *политическую силу*, уже всеми предчувствуемую заранее. У русского его близнеца не могло быть и помина о такой цели: он должен был опираться на одну свою благодатную природу, без всякой поддержки со стороны предвзятой идеи, хотя такая идея существовала у самого Пушкина. Задачи творчества и художественные цели доставляли ему не менее сильную нравственную опору, чем политические расчеты Пельгама, и вынесли его из водоворота света и житейских бурь вполне светлою, незапятнанною личностью. Но положение Пушкина было исключительное...

У лица, созданного Бульвером, была и еще черта, понимаемая вполне, может быть, тоже одним Пушкиным из всех его современников. Бульвер довольно поверхностно, вяло и вскользь упоминает, что Пельгам отличался еще упорным, усидчивым кабинетным трудом. Все урывки от времени, занятого исканиями, похождениями, удовольствиями света, английский Пельгам, по сказанию его летописца, посвящал учению по строго обдуманному плану, содержа в глубочайшей тайне от друзей и знакомых свои занятия и выставляя

перед ними на вид одно желание добиться славы непогрешимого дэнди. Покамест окружающие его думают, что он отдыхает после своих подвигов в салонах и вертепах мошенников, собираясь на новые, Пельгам, крепко запершись в кабинете, сидит за фолиантами, учеными трактатами и проч. Открытие его секрета было бы для него равносильно личному, нанесенному ему оскорблению. Он пуще всего на свете боится, чтобы кто-либо не заподозрил в нем серьезный склад ума, не открыл у него качеств солидного образования, и употребляет на утайку своих познаний и достоинств более хитрости и настойчивости, чем другой на прославление тех, которых не имеет. Пельгам готовится сразу, когда наступит надлежащая минута, удивить и подчинить себе самые непокорные умы. Конечно, мудрено было Пушкину найти вокруг себя на Руси что-либо подобное этому английскому типу, — разве вздумалось бы ему поискать некоторые задатки его в себе самом; но в замен дальнее, ослабленное подобие его находилось, так сказать, под рукой у поэта. Более простое, более мягкое и даже более понятное отражение честно шумной, благородно странной, беспокойной жизни Пельгама представлялось в лице верного друга Пушкина, детски доброго, доверчивого и впечатлительного П.В. Нащокина, о котором уже упоминали. С него, по нашему мнению, и намеревался Пушкин взять главные, основные черты лица и фигуры «русского Пельгама». Действительно, по количеству необычайных похождений, по числу связей, знакомств всякого рода, по ряду неожиданных столкновений с людьми, катастроф и семейных переворотов, испытанных им, друг Пушкина, на сколько можно судить по преданиям и слухам о нем, очень близко подходит к типу «бывалого человека» Бульвера, уступая ему в стойкости характера, в дальности и в полноте внутреннего содержания. За то он еще лучше отвечал намерению Пушкина олицетворить идею о человеке нравственно, так сказать, из чистого золота, который не теряет ценности, куда бы ни попал, где бы ни очутился. Редкие умели так сберечь человеческое достоинство, прямоту души, благородство характера, чистую совесть и неизменную доброту сердца, как этот друг Пушкина в самых критических обстоятельствах жизни, на краю гибели, в омуте слепых страстей и увлечений и под ударами судьбы и несчастия, большею частью им самим и накликанными на себя. Пушкин высоко ценил нравственный характер друга и любил слушать его тихую, скромную речь, которая постоянно обнаруживала честность его природы и светлые инстинкты души, сохраненные им на зло людским изменам, предательствам и оскорблениям. На все это

есть много доказательств в переписке поэта. Наиболее существенное доказательство тех же самых положений оставил нам однако же автор «Переписки с друзьями», Н.В. Гоголь. Недавно опубликовано его письмо к П.В. Нащокину (см. «Руский Архив» 1878 г., № 1). Строгий моралист наш, требовавший христианских доблестей от каждого человека, Н.В. Гоголь не усомнился предложить Нащокину место воспитателя и руководителя детей в богатом петербургском доме негоцианта Д.Б. Бенардаки. Нет сомнения, что Н.В. Гоголь, коротко знавший мнения и суждения Пушкина о близких ему людях вообще и о Нащокине в особенности, действовал в этом случае под впечатлением слышанного им отзыва поэта о московском друге. Личные сношения и наблюдения еще подтвердили отзыв поэта и укрепили Н.В. Гоголя в мысли, что человек, подобно Нащокину, испытавший бури жизни в такой степени, какая не часто встречается на тихих морях русского гражданского существования, и не потерявший при этом теплоты чувства и веры в человечество, исполнит роль педагога лучше всякого кабинетного ученого, побледневшего на теориях воспитания. Письмо Н.В. Гоголя подробно развивает тему, что опыт, вынесенный таким своеобразным педагогом из его сношений со светом, сам по себе составляет уже науку, и весьма важную при воспитании детей, которым предстоит та же дорога в свете, и которые могут поучаться на живом примере, как сберегать моральные основания в его шуме. Можно бы прибавить к этому, что подобному наглядному преподаванию своего рода не мешает даже и соображение, что опыт и понимание света оказались бесплодными для устройства жизни самого учителя.

Здесь кончаем заметки о приведенных нами программах Пушкина. Читатель, может быть, простит эту долгую остановку на плане не состоявшегося, не написанного еще романа, приняв в соображение, что она становилась необходимостью при желании проследить все литературные замыслы поэта перед концом его поприща, упразднившего их навсегда.

Эти же слова применяются и к плану большой фантастической драмы, оставленному Пушкиным, к которому теперь и переходим. Здесь поэт наш уже покидает область русского, реального, так сказать, творчества и переносится в другую, в область западных народных сказаний и представлений, где и прежде чувствовал себя совершенно полноправным гражданином. Натурализацию эту он купил инстинктивным художническим пониманием духа, умственного склада, психеи тех иноземных племен, к которым обращался за мотивами

для своих произведений. Новая предполагаемая драма назначалась видимо умножить собою отдел драматических очерков и сцен, навеянных Пушкину жизнью и творчеством западной Европы. Известно, что на заимствованиях этого рода Пушкин созидал картины и образы глубокого содержания, ярко отражавшие, с одной стороны, нравственные особенности и культуру того народа, где происходит действие драмы, а с другой — обнаруживавшие в каждой такой специальной культуре элементы общего значения. По многим чертам программы можно заключать, что теми же родовыми признаками пушкинских заимствований отличалась бы и новая драма, не смотря на свой фантастический характер, каким и должна была окрашиваться одна из самых странных легенд Европы, легенда о папессе Иоанне. Выбор Пушкина имел однако ж в основании соображения реального характера. Но прежде чем подробнее говорить о причинах такого выбора, следует привести программу Пушкина, что и исполняем здесь. Она писана по-французски и уже подразделена поэтом на акты.

«Acte I.

«La papesse — fille d'un honnête artisan, étonné de son savoir. La mère vulgaire n'y voyant rien de bon. Gilbert (отец) invite un savant à venir voir sa fille — le prodige de famille. Préparatifs où la mère est seule à faire tout.

Jeanne devant saint Simon. Le savant (le démon du savoir) arrive au milieu de tout ce monde invité par Gilbert. Il ne parle qu'avec Jeanne et s'en va. Commérages des femmes — joie du père — soucies et orgueil de la fille. Elle fait tout pour aller en Angleterre étudier à l'université[1].

Acte II.

Jeanne à l'université, sous le nom de Jean de Mayence. Elle se lie avec un jeune gentilhomme espagnol (amour,jalousie, duel — *en recit*). Jeanne soutient une thèse et est faite docteur.

---

[1] Акт I. Папесса — дочь честного ремесленника, изумленного ее познаниями. Пошловатая мать не ожидает ничего доброго из этого. Жильбер (то есть, отец папессы) приглашает ученого человека побеседовать с дочерью — чудом семьи. Приготовления. Мать одна только и работает за всех.

Жанна перед св. Симоном. Ученый (демон знания) является посреди множества людей, наприглашенных Жильбером. Он говорит с одною Жанной и уходит. Пересуды женщин — заботы (NB: во французском тексте Пушкина видимо пропущены слова «de la mère») матери, гордость дочки. Последняя добивается, чтоб ее послали в Англию обучаться в университете.

Jeanne prieur d'un couvent; règle austère qu'elle y établit. I.es moines se plaignent.

Jeanne à Rome; cardinal. Le pape meurt; elle est faite pape[1].

Acte III.

Jeanne commence à s'ennuyer. Arrive l'ambassadeur d'Espagne — son condisciple. Leur reconnaissance. Elle le menace de l'inquisition et lui d'un éclat. Il penêtre jusqu'à elle. Elle devient, sa maîtresse. Elle accouche entre le Colisée et le couvent de... Le diable l'emporte»[2].

Вот какая страничка нашлась в тетрадях Пушкина. С первого раза можно подумать, что поэт хотел посвятить ее драматизированному шуточному рассказу во вкусе французских fabliaux или в кощунской манере Рабле, Боккаччио, Вольтера; но, пробежав далее несколько строк программы, убеждаешься, что тут развивается очень серьезная мысль. Пушкин имел в виду совсем не осмеяние или оскорбление великого западного института папства, под кровом которого Европа только и находила успокоение для своей мысли, а напротив, относится к нему, как к поруганной святыне в своей программе. Задача ее состоит в другом. В простом мещанском семействе, с тщеславным отцом и простоватою матерью, является чудо-ребенок в лице девушки Жанны, удивляющей народ пытливостью ума и наблюдения, ранними познаниями. Слои мещанского быта вообще беспрестанно выкидывали из себя на западе недовольные, критические умы, проверявшие основы гражданского и нравственного существования обществ. Старые, исторические порядки общежития боролись с ними тюрьмами и кострами, но те из реформаторов, которые успевали избежать их, переделывали мир. В чем же состояло призвание Жанны, не имевшей за собою ни великого подвига, ни плодотворной

[1] Акт II. Жанна в университете под именем Жана Майнцского. Она завязывает сношения с одним молодым дворянином испанцем (любовь), ревность, дуэль — *все в рассказе*). Жанна защищает диссертацию и провозглашена доктором.

Жанна — настоятель монастыря. Строгий устав, который она водворяет там. Монахи ропщут.

Жанна в Риме — Жанна кардинал. Умирает папа; она провозглашена папой.

[2] Акт III. Жанна скучает. Является испанский посланник — прежний товарищ ее. Они узнают друг друга. Она грозит ему инквизицией; он грозит обличением. Он пробирается к ней; она становится его любовницей. Она разрешается от бремени между Колизеем и монастырем... Диавол уносит его (то есть, уносит ребенка, как следует догадываться по смыслу).

идеи? Легенда о папессе, в основании которой, как уже сказано, не лежит ни малейшего исторического факта, видимо, обязана возникновением своим *народному* вопросу, жившему в массах, и который может быть выражен так: если люди с развратными и даже злодейскими наклонностями могут сделаться избранниками Божьими и занимать самое святое место на земле, не теряя, благодаря одному этому месту, ни власти над душами, ни авторитета над совестью народов, то не все ли равно, кто бы его ни занимал? С юмором, свойственным вообще народному творчеству, легенда возводит на это место женщину и не чувствует позора, делая из престола первосвященника ложе для ее страстей и падений, так как он прежде служил таким же точно ложем для людей другого пола. Собственно легенда не есть еще протест против самого папства, но она уже возвещает его. Так понял ее и Пушкин, и собирался обработать в этом смысле.

Любопытно следить по программе за чертами полуреального и полуфантастического характера, которыми поэт думал овладеть своею темой и выразить ее сказочное и вместе жизненное содержание. Чувствуется невольно, что волшебный и бытовой элементы приняли бы в его руках такое химическое соединение, что составили бы одно конкретное тело. Так, демон принимает у него образ святого пустынника св. Симона для утверждения в Жанне ее стремлений к славе и могуществу посредством *знания*. И слова ложного святого, хотя и не упомянутые в программе, ясно отзываются в энергическом домогательстве честолюбивой Жанны на скорый отъезд в университет. Внушения ложного святого или демона были не что иное, как голос ее собственных помыслов. После приключений в университете с испанцем Жанна, на подобие своей соименницы Жанны Орлеанской, налагает на себя обет вечного целомудрия, умерщвляет свое сердце, становится суровым приором монастыря и, под покровом наружной святости, облекается в кардинальский пурпур и, наконец, восходит на папскую кафедру. Все черты программы до такой степени просты, ясны, правдоподобны, не смотря на странность положений, что кажутся сокращенными указаниями в какой-то главе из достоверной истории, в роде, например, истории о восшествии на престол Сикста V. В третьем акте программы является уже чисто фантастический элемент, но в виде как бы естественного продолжения драматического действия и жизни, им перерываемой. Ко двору Жанны является посланником испанец, бывший ее товарищ по университету и знающий ее секрет. Она борется с ним отчаянно, пока простое, грубое насилие со стороны сластолюбивого и мало благочестивого

испанца не раскрывает ее слабую женскую природу. Жанна делается любовницей своего оскорбителя и рождает между двумя памятниками языческих и христианских воззрений, традиции которых в ней самой борются, между Колизеем и римским монастырем (Латеранским?), а диавол уносит этого ребенка, как свою законную добычу. Остается еще вопрос, о котором программа умалчивает совершенно. Зачем нужно было диаволу это чадо греха, и не сделал ли он из него лица, которое могло бы служить дополнением к драме, оставшейся покамест без вывода и заключения?

Читатель призван будет далее сам судить, какую степень вероятности и убедительности имеют наши доводы и предположения, на основании которых мы пришли к твердому убеждению, что из диавольского ребенка должно было образоваться лицо, пущенное Гете во всемирный оборот, именно — пресловутый Фауст, и притом не в качестве доктора философии и теологии, а в качестве предполагаемого изобретателя печатного станка. Драма Пушкина, кажется нам, не могла ограничиться тремя вышеприведенными актами, а должна была еще показать, переступая через пространство и время, в близком будущем, мстителя за оскорбление всех нравственных начал и народной совести. Мститель этот не мог иначе явиться, как в олицетворенном образе типографского искусства, которое, возвышаясь над частными протестами, упразднит самую средневековую науку целиком, потрясет народные верования, на ней основанные, и расшатает многовековой церковный престол, воспитавший и оберегавший их всех под своим кровом.

Программа драмы, которою занимаемся, сопровождается еще любопытною припиской, обращенною поэтом уже к самому себе. «Si c'est un drame», говорит приписка — «il rappellera trop le «Faust»; il vaut mieux en faire un poème dans le style de «Cristabel» ou bien en octaves»; то есть: если составить из этого драму, то она будет сильно напоминать Фауста; не лучше ли изложить дело в поэме и в стиле «Кристабеля» или написать октавами?[1] По-видимому, это заявление

[1] «Кристабель» («Christabel») есть название поэмы Кольриджа, английского поэта двадцатых годов, принадлежавшего к известной группе шотландских лэкистов. Она передает в отрывочном, фрагментарном виде и в ультраромантическом и распущенно-гениальном тоне разные, наиболее чудные сказания из средневекового мира, стилю которых и подражает. Она нравилась особенно изысканным вкусам любителей словесности, пресыщенных чтением поэм и романов, которые и называли произведение Кольриджа дьявольски-изящным и возмутительно-прекрасным; но оно также нашло и поклонника в лорде Байроне. Качества и форма «Кристабеля» обратили на себя и внимание Пушкина, когда понадобилось осуществить одну из самых фантастических легенд тех же средних веков.

самого автора программы должно бы устранить всякую догадку о возможной участи Фауста в будущей драме; но при ближайшем рассмотрении оно вместо того подкрепляет догадку. Могло ли явиться у поэта намерение положить возможно большее расстояние между гетевским произведением и своею темой, если бы при составлении программы образ средневекового легендарного героя, осуществленного немецким художником, не витал постоянно перед глазами Пушкина? Как бы родилось опасение слишком близко подойти к созданию Гете, имея в руках воспроизведение народного сказания, совершенно различного по духу, содержанию и целям с задачами немецкой драмы, и в котором Фауст ни разу не упомянут и не введен в среду действующих лиц, если бы не было потаенного присутствия того же героя в намерениях автора? Имя знаменитого сказочного доктора явилось в приписке Пушкина потому, что оно существовало в его мысли, а желание избежать неприятной с ним встречи — потому, что оно прежде входило в творческие расчеты поэта. Правда, пушкинский Фауст нисколько не походит на гетевского: это был собственный, домашний, так сказать, Фауст нашего поэта. Он отличается от своего первообраза тем, что у Пушкина является в последней формации, совсем не человеком, измученным своею мыслью и сознаньем напрасно потраченной жизни на ее развитие, а просто гением открытий, изобретений, научного прогресса, который знаком был и средним векам, но еще более знаком нашему времени. О таком представлении Фауста здесь не место распространяться. Теперь мы представляем только объяснение вышеприведенной заметки Пушкина и, в подкрепление нашего о ней мнения, ссылаемся на другое произведение поэта, уже напечатанное и всем хорошо известное — «Сцены из рыцарских времен», где Фауст должен был явиться в дальнейшем не состоявшемся их продолжении с тем же выражением и в тех же функциях, какие автор хотел ему предоставить по своей собственной, оригинальной мысли и в драме, нас занимающей.

Не нужно, полагаем, напоминать русским читателям этих превосходных «Сцен». Для ясности последующего нашего изложения достаточно в немногих словах привести существенные их черты. У богатого ремесленника вырастает сын — менестрель, занятый веселою наукой стихотворства более, чем отцовским ремеслом, и мечтающий о привольном житье в рыцарских замках, о дамах и девицах, которые будут дарить его шарфами и увенчивать цветами. Отец выгоняет его из дома, передает все имущество своему подмастерью, но прежде еще благодетельствует из корыстных видов бедному ал-

химику Бертольду, который стоит на кануне открытия великого научного секрета и обещает разделить выгоды открытия с тем, кто последний даст ему средства докончить опыты. Между тем Франц пробирается в рыцарский замок в качестве конюшего к его обладателю и товарищу его по школе, рыцарю Альберту, в сестру которого страстно влюбляется. Униженный и оскорбленный ими, как непокорный и зазнавшийся слуга, он покидает замок, становится во главе сельского народного восстания и объявляет войну владельцам, баронам и феодалам. Шайка Франца скоро рассеяна рыцарями, и его самого везут в знакомый замок на виселицу. На кануне казни пирующие господа заставляют менестреля потешать их в последний раз своими песнями, но гордая Клотильда, дама сердца бедного поэта, умиленная его бесстрашием и его поэзией, выпрашивает ему прощение. Приговор к виселице заменен приговором к пожизненному заключению в башне замка. Здесь и кончаются «Сцены».

Прежде всего тут бросается в глаза близкое, как бы родственное сходство между программой о папессе и этими «Сценами» в главных, основных их мотивах. Как там, так и здесь, городское мещанское сословие порождает две беспокойные, честолюбивые личности, разрывающие все связи с родным кровом и окружающей их обстановкой и смело бросающиеся в безграничное море жизни, с надеждой завоевать себе новое положение. Но одна из этих личностей — женщина, выбирающая орудием для удовлетворения своих тщеславных замыслов науку и знание; другая личность — поэт, доверяющий силе своего творческого таланта для достижения всех тайных пожеланий своих. Обе личности эти, едва-едва намеченные поэтом, чрезвычайно ярко выражают однако ж различие своих характеров в выборе путей и средств, которыми думают освободиться из своего приниженного сословного состояния, но не смотря на то, в них чувствуется присутствие одного и того же психического двигателя, слышится общность душевных настроений. Искони веков знание и поэзия опрокидывали перегородки, устроенные бедною политическою мыслью для того, чтобы удержать каждого человека на раз определенном ему по рождению и происхождению месту. Избранники, отмеченные печатью знания или поэзии, не однажды свободно проходили через заставы, положенные кодексами и законодательствами с целью затруднить дорогу пылким и непокорным умам в жизни. У папессы и у менестреля вековая привилегия равнять людей, присущая науке и гению, породила убеждение в их праве занимать любое место на свете и находить границы своим вожделениям и посяга-

тельствам только в самих себе, а не в посторонних помехах и соображениях... Сходство нравственных положений обоих нововводителей, Жанны и Франца, увеличивается тем обстоятельством, что и она, и он одинаково имеют друга детства, школьного товарища, предназначенных служить орудием их гибели. И сластолюбивый вольнодумный испанец, и пустой горделивый рыцарь Альберт намечены, как в программе, так и в сценах, одним, так сказать, карандашом, по одному и тому же шаблону. Они призваны изображать тот эгоизм привилегированных сословий, который овладевает людьми с самых ранних лет и превращает их, тотчас за порогом школы, в оберегателей выгодного им порядка дел. Задачей их становится преследование тех гениальных проходимцев которые врываются силой в их сомкнутые ряды и нарушают вообще спокойное течение обычной заведенной жизни. Самые физиономии Жанны и Франца, не смотря на упомянутую уже разницу в жизненных целях, усвоенных обоими героями, и на разность их пола, поражают еще у Пушкина разительным сходством своим по отношению к сущности их природы. Бледные очерки этих фигур, данные поэтом, на столько однако же ясны, что позволяют распознать их выражение и мысль, в них заключенную. Сосредоточенная в себе, аскетически-мужественная Жанна погибает не на костре, как ее соименница Орлеанская, а в объятиях любовника; женственный менестрель Франц становится народным вождем, представителем поруганных прав человечества и в этом качестве осужден на гибель. Обоих сбивает с их путей и уничтожает в корне все их цели и замыслы общая им слабость — любовь. Это одно и то же лицо в двух видах, это — близнецы, сестра и брат, порожденные цельною мыслью, к которой поэт наш подходит только, в двух своих пробах, с противоположных сторон, не нарушая ее единства, бросающегося в глаза при внимательном ее осмотре.

Кроме всего сказанного, у нас есть еще и документ, осязательно, так сказать, свидетельствующий о родстве обоих драматических проектов. Мы видели, что «Сцены из рыцарских времен» кончаются пожизненным заключением Франца в башне феодального замка, но в мысли Пушкина «Сцены» имели еще продолжение, как оказывается из маленькой программы, которая до них касается. Этот небольшой и очень любопытный отрывок Пушкина гласит следующее:

«Un riche marchand de draps. Son fils — poète — amoureux d'une jeune demoiselle noble. Il fuit et se fait écuyer dans le château du père (de la demoiselle) — vieux chevalier. La jeune demoiselle le

dédaigne. Le frère arrive avec un prétendant. Humiliation du jeune homme. Il est chassé par le frère, à la prière de la demoiselle.

Il arrive chez le drapier. Colère et sermon du vieux bourgeois. Arrive frère Berthold. Le drapier le sermonne aussi. On saisit frère Berthold et on l'enferme en prison.

Berthold en prison s'occupe d'alchimie. Il découvre la poudre. Revolte des paysans fomentée par le jeune poète. Siège du château. Berthold le fait sauter. Le chevalier — la médiocrité personnifiée — est tué d'une balle. La pièce finit par des refléxions et par l'arrivée de Faust sur la queue du diable (decouverte de l'imprimerie — autre artillerie»[1].

Итак, вот какое содержание предназначено было этим «Сценам» по первоначальной программе Пушкина, хотя сами они еще составляют только «План», как были и озаглавлены, и притом, по нашему мнению, далеко не разработанный им вполне и не окончательный. Перемены, введенные поэтом против старой темы в свой новый «План», легко перечисляются: пропал старый рыцарь, владелец замка; о заключении Франца в башню нет и помина, а вместо него попадает в заключение алхимик Бертольд. Для дальнейшего развития плана, если такое имелось в виду у поэта, следует предполагать, что Франц освобожден из башни, может быть, и Клотильдой, побежденною его даром песен; что он снова воздвигает народное восстание против феодалов и теперь находит уже подле себя страшного, могущественного пособника в лице брата Бертольда, который сдержал обещание поделиться результатами своего открытия с семейством поэта. Но оставляя в стороне всякого рода предположения, мы приходим уже к одному достоверному заключению. Последнее слово обеих программ, как о папессе Жанне, так и о менестреле

[1] В переводе: «Богатый торговец сукнами. Сын его — поэт — влюбляется в молодую благородную девицу. Он бежит из дома и определяется конюшим в замок отца девицы, старого рыцаря. Молодая особа пренебрегает им. Является брат ее с женихом. Унижение молодого человека. Брат выгоняет его из замка по просьбе сестры.

Возвращение к торговцу. Гнев и выговоры старого буржуа. Появляется брат Бертольд — он и его бранит. Брата Бертольда схватывают и засаживают его в тюрьму.

Бертольд в тюрьме. Он занимается алхимией и открывает порох. Возмущение крестьян, поднятых юным поэтом. Осада замка. Бертольд взрывает его на воздух. Рыцарь — олицетворенная посредственность — убит пулей. Пьеса заканчивается размышлениями и прибытием Фауста на хвосте диавола (открытие книгопечатания — этой артиллерии своего рода).

Франце, основная мысль, их породившая, заключалась в легендарном, символическом изображении двух великих изобретений, заключивших эру средних веков и открывших «новую историю» — пороха и книгопечатания, мифического алхимика-монаха Бертольда и мифического доктора Фауста. Они встречаются на развалинах феодального замка испытавшего на себе первое приложение новой силы, и владелец которого убит первою пулей, выпущенною на свет Божий. Фауст принесен на торжество науки, терпения и пытливого человеческого ума диаволом, который, по нашей догадке, как видели, подобрал его младенцем в Риме. Пушкин вспомнил об этом ребенке, покинутом им в конце одной программы, и перенес его в конец другой, на что уполномочивал его и общий характер их духа и содержания. Обе драмы последними заключительными сценами своими дают разуметь, что, по мысли автора, они должны были составлять двухчленную хронику, развивающую одну и ту же тему — разрушение старого мира изжившего вполне все свое содержание, налагающего руки на признанные свои святыни (первая часть хроники), оскорбляющего человечество надменностью и безнаказанностью своей пустоты и своего разврата (вторая часть хроники). И Бертольд с губительною зернью, и Фауст с типографским станком были тут на месте. Новое поколение, способствующее падению и гибели старого мира, все-таки вскормлено было тем же самым миром, а потому и носит на себе еще следы его немощей, которые составляют, не смотря на всю отвагу и решимость поколения, его бессилие в борьбе с жизнью. Измена своему призванию и слабости святотатственной Жанны, пустые увлечения и мечты Франца остались им по наследству от прошлого. Программы Пушкина показывают, что только два лица не принимают никакого участия в развитии драм, свободны от страстей и волнений людей, в них действующих, и как бы приберегают себя для довершения процесса разложения, начатого другими. Это — два великих исследователя, которые и призваны окончательно упразднить как дерзких, но несостоятельных борцов, так и предмет их ненависти и столкновений, строй общества. Они только и могут обновить мир, потому что стояли вне его и выше его; мысль поэта довольно ясна и нисколько не затемняется вмешательством диавола или нечистой силы, которые тут имеют совершенно невинный, иносказательный смысл. Мы совершенно свободно допускаем гипотезу, что в намерении поэта было показать и монаха Бертольда, и греховное дитя Фауста одинаково воспитанниками диавола или демона мысли и науки, и притом одинаково выращенными в суровом уеди-

нении. Оба они встречаются как старые друзья, ведь люди одного и того же закала, и демон, поставивший их лицом к лицу, как должно полагать, в равной степени коротко и хорошо знакомы еще с детства.

Какие бы возражения и замечания ни вызвали в последствии наши догадки и выводы (а отвлеченные соображения, основанные на духе произведения, а не на фактах, всегда их вызывают), но можно надеяться, что одно из наших положений встречено будет уже общим согласием. Никто, полагаем, из ознакомившихся с содержанием пушкинских программ, здесь приведенных, не усомнится признать, что в них заключен богатый материал для какого-то капитального произведения, задуманного поэтом. Обширные пространства для мысли и воображения открываются при одном разборе этих отрывочных слов, этих очерков, едва захватывающих края образов и представлений; предчувствие чего-то могущественного и поражающего сопровождает читателя, когда сквозь сетку недописанных фраз мерцает перед его глазами легендарный и бытовой средневековый мир, символические и реальные элементы сказания в удивительном, как бы натуральном соединении. Что бы вышло из всего этого? Как ни празден вопрос по своему существу, он невольно зарождается в уме при всяком соприкосновении с планами и намеченными идеями Пушкина.

Не выходя из области драматических опытов Пушкина, подобный же вопрос возникает и в виду того всем известного реестра драм, им написанных и только задуманных, который он сам составил. В реестре этом встречаются заглавия пьес, навсегда, кажется, пропавших для нашей публики. Таковы заглавия, возвещающие несуществующие пьесы: «Ромул и Рем», «Берольд Савойский», «Влюбленный бес», «Димитрий и Марина», «Курбский». От замыслов поэта, которые скрывались под ними, не осталось в тетрадях его ни одного клочка бумажки, ни одного листика, которые способны были бы бросить какой-либо свет на сущность и содержание этих будущих произведений его гения. К немногим из заглавий можно еще подойти с некоторым, правдоподобным изъяснением. Так, сцены: «Димитрий и Марина», «Курбский» позволительно признавать начальными очерками тех сцен, которые введены были потом автором в хронику «Борис Годунов»; так, еще загадочный «Берольд Савойский», на историю и происхождение которого потрачено было много гипотез, еще поддается заключению, что это не кто другой как монах-алхимик Бертольд, нам уже знакомый; но затем остальные драматические очерки, упоминаемые в реестре и не получившие обра-

ботки и осуществления при жизни поэта, осуждены навсегда представлять из себя вид молчаливых сфинксов, не отвечающих ни на какие расспросы. Еще одно слово. Знаменитый перечень пушкинских драм, о котором говорим, явился в печати нашей не совсем в полном виде. «Материалы для биографии Пушкина», 1855 года, впервые его опубликовавшие устранили из него два заглавия, которые необходимо привести теперь для того, чтобы дать полное понятие о разнообразии и характере литературных проектов Пушкина. Одно из этих устраненных заглавий носило имя «Иисус», другое после него — «Павел I». Не вдаваясь ни в какие рискованные заключения по поводу этих имен и соединенных с ними литературных проектов, заключаем статью повторением общего мнения русской публики, не раз ею выраженного: пуля, которая унесла Пушкина на тридцатьвосьмом году его жизни, убила многое из того, что пережило бы, может быть, несколько поколений, а может быть, и целые исторические периоды.

1881 год.

СОДЕРЖАНИЕ.

Научное издание

П. В. Анненков
Пушкин в Александровскую эпоху

Составитель
Гарусов Александр Иосифович

Ответственный за выпуск *М. В. Шибко*
Художественный редактор *Г. И. Мацур*
Корректор *Н. И. Рулева*

Подписано в печать 25.06.98. Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 22,5. Усл. кр.-отт. 23,0. Уч.-изд. л. 20,8. Тираж 7000 экз. Заказ 1295.

Общество с ограниченной ответственностью «Лимариус». Лицензия ЛВ №171 от 30.01.98 г. 220050, Минск, ул. К. Маркса, 40.

Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика в типографии издательства «Белорусский Дом печати». 220013, Минск, пр. Ф. Скорины, 79.